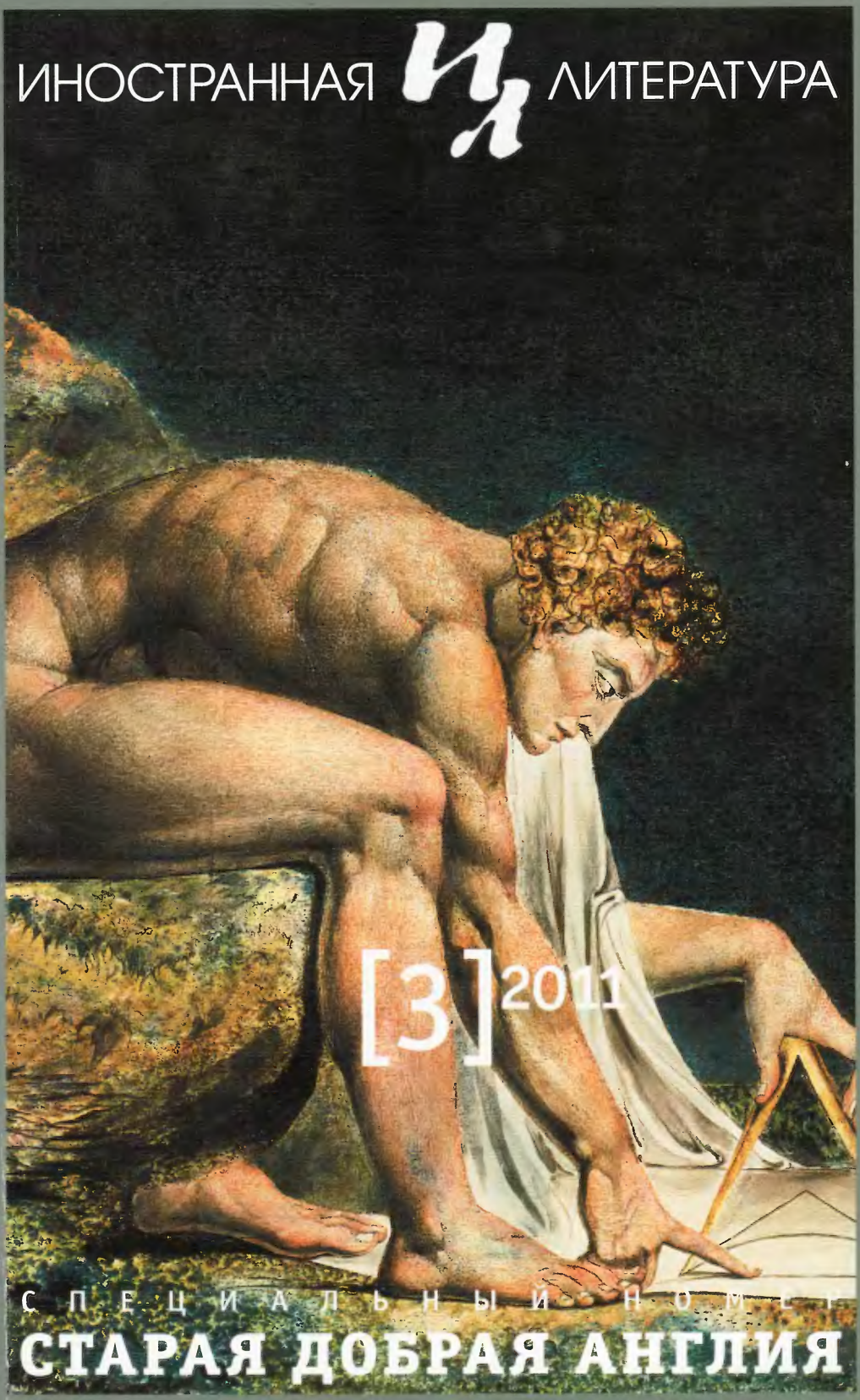
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[3] 2011

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

СТАРАЯ ДОБРАЯ АНГЛИЯ

Основан в 1955 году

[3]
2011

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Старая добрая Англия

Уильям Шекспир

3 Алексей Цветков, Алексей Бартошевич *Очередная попытка.* О новом переводе "Гамлета".

15 Галина Смоленская *Филипп Хенсло – первый театральный антрепренер*

Уильям Блейк

26 Уильям Блейк *Стихи разных лет.* Переводы Марии Фаликман, Валентины Сергеевой, Алексея Круглова, Светланы Лихачевой, Григория Кружкова. Вступление Анны Гениной

34 Питер Акройд *Человек по имени Уильям Блейк.* Перевод Светланы Лихачевой

41 Филип Пуллман *Чем я обязан Уильяму Блейку.* Перевод Алексея Круглова

51 Саша Дагдейл *Радость.* Три монолога. Перевод Марии Фаликман

Уильям Вордсворт

79 Уильям Вордсворт *Прелюдия, или Становление сознания поэта.* Фрагменты поэмы. Перевод Татьяны Стамовой. Вступление Елены Халтрин-Халтуриной

Чарльз Диккенс

94 Чарльз Диккенс *Современная наука поимки воров.* Очерк. Перевод и вступление А. Ливерганта

Уинстон Черчилль

105 Уинстон Черчилль *Изречения и размышления.* Перевод и вступление А. Ливерганта

Кристофер Ишервуд

122 Кристофер Ишервуд *Мемориал.* Семейный портрет. Перевод Е. Суриц

Джон Бетджемен

261 Джон Бетджемен *Стихи.* Перевод и вступление О. Мишутина

БиблиофИЛ

267 *Среди книг* с Михаилом Ясновым

271 *У книжной витрины* с Михаилом Визелем

274 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Библиография

277 *Английская литература на страницах "ИЛ". 1995–2010*

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2011

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

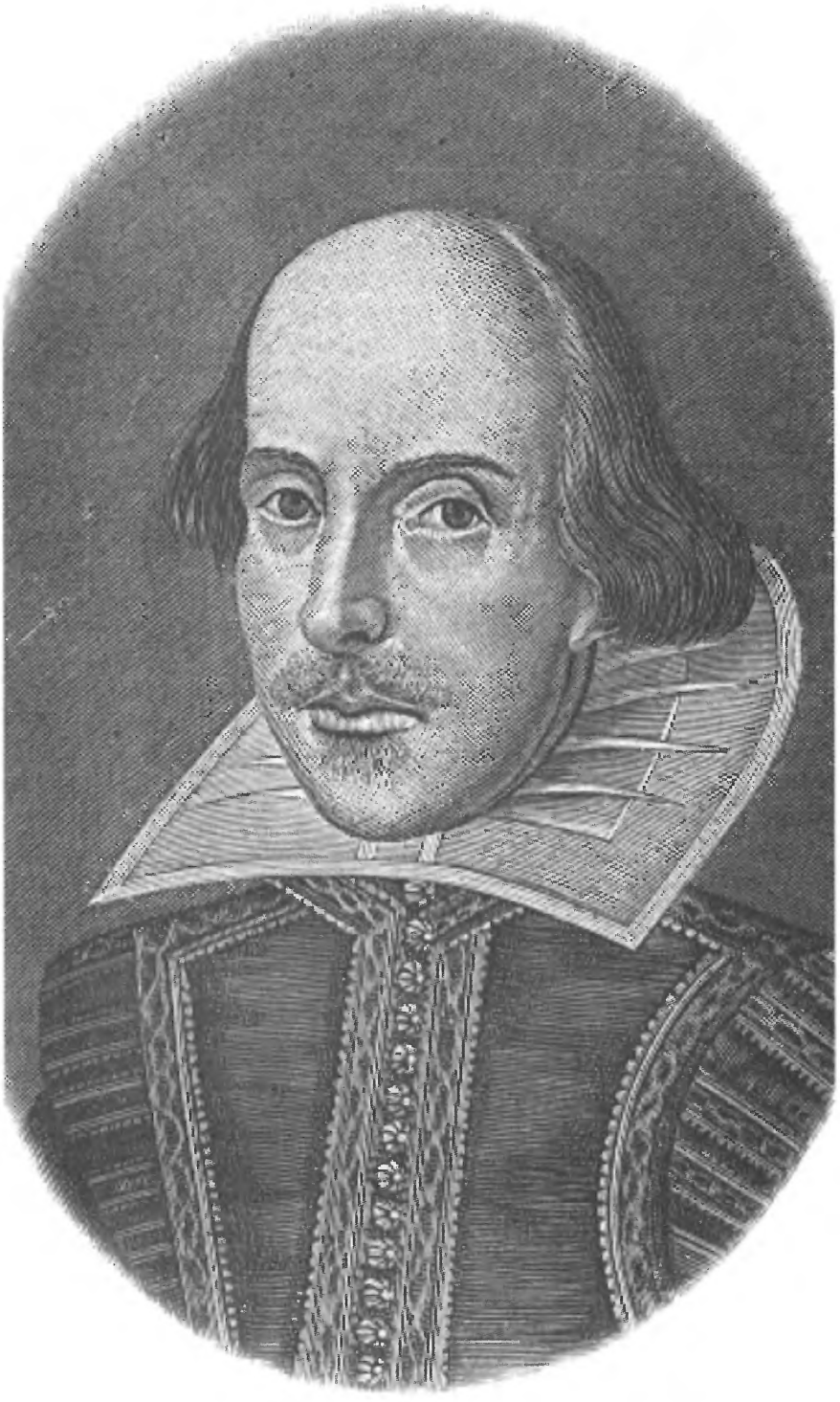
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Ю. А. Ларикова
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
Л. Г. Харлап
С. С. Шабуцкий

BRITISH COUNCIL

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" и Британского Совета



Алексей Цветков, Алексей Бартошевич

Очередная попытка

О новом переводе "Гамлета"

Сергей Гандлевский. Я имею честь и удовольствие представить собравшимся новый перевод "Гамлета", сделанный превосходным поэтом Алексеем Цветковым, а поговорить с переводчиком на данный предмет я попросил более чем известного ученого Алексея Вадимовича Бартошевича. Я же веду эту встречу на правах сотрудника журнала "Иностранная литература". Книга должна вскоре выйти, там под одной обложкой два новых перевода – цветковский "Гамлет" и "Макбет" в переводе другого превосходного поэта – Владимира Гандельсмана, которого, к сожалению, сейчас здесь нет. Нынешняя встреча организована "Новым издательством", выпускающим книгу, и журналом "Иностранная литература". Слово Алексею Цветкову.

Алексей Цветков. Я скажу несколько очевидных вещей: почему, собственно, я стал переводить "Гамлета", который переводился уже раз двадцать, как минимум. Переводческая работа – это никогда не законченная работа. В русской переводческой практике есть такая печальная традиция, что раз, допустим, Диккенс переведен, то он у нас уже есть. У нас, конечно, его нет, потому что Диккенс, как и Шекспир, существует только по-английски, только на своем языке. Все, что мы можем сделать, – это добиться посильного приближения, чтобы сделать автора доступным русскому читателю, а в случае Шекспира – и театральному зрителю. Всегда на любом переводе лежит отпечаток, во-первых, своего времени, во-вторых, конкретного переводчика. Как бы добросовестно, как бы компетентно он свое дело ни сделал, он это сделал на языке своего времени. Никто из нас, переводчиков Шекспира, не пытается имитировать Шекспира в переводе просто потому, что в русском языке для этого средств нет. Такого языка, который был во времена Шекспира, в России в ту пору просто не существовало – русской литературы тогда в полном смысле не было. То есть мы переводим на язык более или менее своей эпохи, как если бы мы были современниками Шекспира. Когда я делал свою работу, я держал в уме два наиболее известных перевода: это перевод Лозинского и перевод Пастернака. Насколько я могу судить, перевод Лозинского сделан точнее, но там, к сожалению, есть некоторые стилистические недочеты.

Перевод Пастернака сделан более художественно, но с меньшим вниманием к подлиннику и, очевидно, худшим знанием английского языка. Пастернак отчасти старался это выдать за вольную фантазию на тему "Гамлета", но для тех, кто сверялся с оригиналом, очевидно, что это написано не Шекспиром. Я попытался по мере сил избежать недостатков и вольностей Пастернака и художественных огрехов Лозинского, не знаю, насколько мне это удалось. Кроме того, я попытался учесть одну важную вещь: текстологию. Русский человек, когда ему в руки попадает Шекспир, сразу начинает говорить что-то вроде: "А почему она вот так, а почему он вот так?" Толкование — не задача переводчика, задача переводчика — перевести и, по возможности, насколько ему позволяет знание языка и образование, вникнуть в текстологию. Текстология Шекспира огромна, она безбрежна, и я абсолютно не претендую на то, что я ее объял, но главная проблема ясна: "Гамлета" как такового не существует — существуют три версии по числу изданий и существуют своды, компиляции. Так вот, компиляцию надо брать авторитетную, то есть составленную людьми, пользующимися известностью в шекспироведении, которые сделали это с хорошим знанием и пониманием источников. Я взял за основу не просто какое-нибудь школьное или популярное издание, а издание Фолджеровской шекспировской библиотеки в Вашингтоне, которая не издает полных собраний Шекспира, как "Arden" или другие, но — отдельные пьесы, компилированные и с хорошим комментарием.

Сейчас я, наверное, что-нибудь представлю. Первым — монолог Гамлета — это когда пришли актеры, и один из них прочел историю про Гекубу:

...Теперь один.
Какой же я прохвост и низкий раб!
Не жутко ли, что этот лицедей
В фантазии, в своей поддельной страсти
Так душу подчинил воображенью,
Что как бы врос в свой образ без остатка,
До слез в глазах, до ужаса в лице,
До срывов голоса, и каждый штрих
Послушен замыслу. А повод кто?
Гекуба?
На кой она ему и кто он ей,
Чтоб слезы лить? И что бы сделал он,
Имея повод к действию и страсти,
Как у меня? Он затопил бы сцену
Слезами, опалил бы речью уши,
Сводя с ума виновных, ужасая
Свободных и в соблазн вводя невежд,
Он изумил бы зрение и слух.

Тогда как я, безвольный негодяй,
Витаю в тучах и ни слова молвить
Не в силах, даже в пользу короля,
На чье имущество и жизнь злодейски
Простерли руку. Разве я не трус?
Кто скажет мне "подлец" и двинет в челюсть?
Кто вырвет бороду, швырнет в лицо?
Оттянет нос? Впихнет мне в глотку ложь
До самых легких? Бросит мне упрек?
Ха!
О, Боже правый, поделом, ведь я
Лишь голубок, в ком мало нужной желчи
Карать порок, не то бы я давно
Откармливал стервятников окрестных
Начинкой негодяя. Да, подлец –
Бессовестный, неверный, похотливый!
О, мщение!
Ну я ли не осел? Смельчак не я ли?
Сын гнусно в гроб сведенного отца,
Кому велели мстить и ад, и небо,
Переливаю злость в слова, как блядь,
И руганью, как кухонный мужик,
Врачую душу. Горе мне, позор!
Ворочайтесь, мозги! Я вот слыхал,
Что в ходе представления злодеев
Иной из равновесья эпизод
Так выбивает, что они потом
В своих злодействах сами сознаются.
Убийство безъязыко, но найдет
Свой орган речи. Пусть актеры завтра
Сыграют перед дядей нечто вроде
Отцеубийства. Послежу за ним.
Возьму с поличным. Если побледнеет,
Дальнейшее понятно. Эта тень,
Что мне явилась, бесом быть могла,
А бес завлечь горазд. Возможно, он
Там слабость разглядел во мне, а слабость –
Его конек, он властелин над ней,
Нашлет проклятие. Нет, я найду
Потверже довод. Пьеса – вот, сынок,
Для королевской совести силок.

Следующий монолог, который я прочту – это известный монолог "Быть или не быть". Тут я хочу сделать еще одно замечание: моя задача, как я ее видел, заключалась не в том, чтобы сочинить что-то вольное на тему "Гамлета", а сделать это с максимальной точностью, которая называется "эквилинеарность". Это значит "соблюдение". У Пастернака временами бы-

вает вместо девяти строк пятнадцать, хотя это ничего не добавляет к красоте оригинала. И даже при его поэтической технике, которую у Пастернака смешно отрицать, никакого труда ему бы не составило сделать вот именно так... ну, вот он почему-то этого не делает. Кроме того, у Шекспира есть строки, где не соблюдается размер, есть строки-кусочки, неполные строки. Все эти вещи я стараюсь соблюдать. Я это говорю потому, что у Шекспира ямб монолога начинается не с обрыва, а с начала строки:

Так быть — или не быть? Вот в чем вопрос:
Достойней ли в душе служить мишенью
Пращам и стрелам яростной судьбы
Или противостать морям тревог
И пасть, противостав? Скончаться, спать
Спокойным сном и увенчать кончиной
Тоску и тысячу природных язв,
Которым плоть наследник — вот о чем
Мы только грезим! Умереть, уснуть,
Быть может, видеть сны — но здесь загвоздка,
Какие смертному посмертно сны
Приснятся вне телесной оболочки?
Мы в тупике, подобный оборот
Чреват крушением всей долгой жизни.
Кто снес бы времени позор и розги,
Гнет подлости, презренье гордеца,
Отвергнутую страсть, лень правосудья,
Чиновный раж, всю череду обид,
Отмеренных достойным от ничтожеств,
Коль выход — в обнаженном острие
Кинжала? Кто бы кротко нес поклажу
Усталой жизни, корчась и кряхтя,
Когда бы страх посмертного безвестья,
Неведомой страны, из чьих пределов
Возврата нет, не убивал бы волю,
Не звал терпеть знакомую беду,
А не спешить навстречу неизвестным?
Так нас рассудок превращает в трусов,
Так слабость умозренья истребляет
В нас всей решимости врожденный пыл,
И дерзость всех поступков, как в потоке
Теченье, разбивается на струи,
Теряя имя действия. — О, нимфа,
Офелия, сочти в своих молитвах
Все прегрешения мои!

А теперь монолог Клавдия, когда тот остается один и пытается отмолить свои грехи, а Гамлет в это время получает возможность его убить, но не хочет убивать после покаяния.

Моих деяний смрад восходит к небу,
На нем печать предвечного проклятья —
Братоубийство. Не идет молитва —
Хоть воля и намеренье остры,
Вина сильней и волю одолеет,
И, как зачинщик двух совместных дел,
Ни к одному не в силах приступить,
Бросаешь оба. Чертова рука —
Пусть вся от крови братской заскорузла,
Тебя ли не отмоет дождь небесный
До снежной белизны? На что и милость,
Как не затем, чтоб миловать злодейство?
Что есть молитва, не двойная ль сила,
Нас от паденья предостерегать
Иль падшего прощать? Тогда молюсь.
Грех в прошлом. Но какая же молитва
Подстать? "Прости мне подлое убийство"?
Нельзя, коль я уже заполучил
Все, для чего затеял преступленье:
Корону, Данию и королеву.
Как быть прощенным, не вернув добычи?
В юдоли нашей проклятой порой
Преступник развращает правосудье
И делится награбленным с судьей
Для подкупа. Но неподкупен суд
Небес. Его законы коренятся
В его природе, вот где мы должны
Представить язвы своего злодейства,
Все без утайки. Как же быть? Пытаться
Раскаяться? О, смертный мрак души,
Что тщится выбраться из бездн греха
И вязнет глубже. Ангелы, на помощь!
Колени — оземь. Ты, стальное сердце,
Расслабься мягче нежных мышц младенца.
Все может обойтись...

И последний отрывок, это когда Гамлета отправляют в Англию, и он видит: идет на Польшу войско Фортинбраса. Он просит спутников обождать чуть-чуть и произносит этот монолог:

Как все против меня вступает в сговор
И гонит мстить! Что значит человек,
Коль все достоинство его природы —
Еда и сон? Животное, не больше.
Возможно ли, что тот, кто создал нас,
С предвиденьем и памятью вручил нам
Способности и разум божества

Для праздной траты? Даже если это
Забвенье скотское, или отсрочка
Трусливая в избытке умозренья,
В котором мудрости едва на четверть,
А трусости на три? Я не пойму,
Зачем живу, чтоб молвить: "Сделай так!"
Ведь повод есть, и сила есть, и средства
К поступку. А примеров всюду тьма.
Допустим, это доблестное войско
Изнеженного принца, чья гордыня
Божественным возбуждена огнем.
С презрением, наперекор испугу,
Торопятся, пренебрегая смертью
И всей своей судьбой, — чего бы ради?
Яичной скорлупы! Величье жеста
Не в достоверном поводе к отваге,
Для мужества хорош любой пустяк,
Коль ставка — честь. И кто же я тогда?
Отец — загублен. Мать — с пятном позора,
Смятение в рассудке, кровь кипит,
И все насмарку. Видеть со стыдом
Презренье к гибели у стольких тысяч,
Которым за мираж, за отблеск славы
Не жалко лечь в могилы — за клочок
Земли, где даже строй не развернуть,
Где места не сыскать для погребенья
Всех павших. Полно! С этих пор
Одна месть в мыслях — или в крови.

Алексей Бартошевич. Вообще, строго говоря, я не филолог, не специалист по переводу, я занимаюсь историей театра. И я занимаюсь историей Шекспира в постановках разных веков, включая наш собственный. И в качестве человека, связанного с театром, я должен сказать, что тот перевод, который вам сегодня представлен, по-моему, в высшей степени интересен с театральной точки зрения. Что я имею в виду? Я думаю, что у многих вызвало не то что недоумение, но удивление то, как переведено начало самого знаменитого на свете монолога. Не "Быть или не быть", а "Так быть или не быть". Я попытаюсь прокомментировать эту строчку, как я ее понял. Во-первых, это самое слово "так" очевидно создает ощущение некоторого процесса, продолжения хода мысли. Обычно же монолог понимается или читается как некоторая остановка в действии, когда выходит главный артист на сцену, становится в эффектную позу и начинает "Быть или не быть". И вот это самое "так" мне кажется очень уместно. С другой стороны, что, может, даже важнее, в театре шекспировского времени (это маленький театроведческий комментарий) монологи чи-

тались в публику. Представления о том, что у Станиславского называется "публичным одиночеством", не существовало. В сущности, Гамлет спрашивает *у публики*: "Быть или не быть?" Он прямо выходит на диалог со зрителями, которые окружают его не по ту сторону рампы, не "там, где-то" в торжественной темноте зрительного зала, а он видит их лица вокруг, страшно близко к себе. Лица окружают его со всех – ну не со всех, с трех – сторон. И, мне кажется, вот этот самый контакт со зрителями, к которым этот монолог обращен, это самое слово "так" очень подчеркнуто его задает. Я с большим удовольствием читал этот перевод в целом и мог бы привести довольно много примеров, насколько эта работа связана с задачами сценическими. Приведу еще один, совсем крошечный, пример. Совсем не уверен, что это приходило в голову переводчику, но разве это имеет значение? Это сцена Гамлета с Розенкранцем и Гильденстерном, знаменитый прозаический монолог "С недавних пор я потерял...", Гамлет говорит о том, что в его душе произошло в последнее время и как эта храмина-Земля стала скоплением вонючих грязных паров и так далее. В этом тексте есть одна вставочка. "Look you", – говорит Гамлет. Переводчики переводили это по-разному. "Видите ли" – у Лозинского, насколько я помню. Понятно, что у Лозинского это отдавало ощущением иронической окраски: эта, видите ли, храмина, а он знает, что это неправильно, что это не храмина, не небесное вещество, воплощающее гармонию, а скопление вонючих грязных пороков. Как это сделано в этом переводе? Не "видите ли", а "вон, взгляните". Это может показаться странным и, видимо, не приходило в голову переводчику, но вспомните строение "Глобуса", для которого, собственно "Гамлет" и писался. Тогда кое-что станет яснее и в этом месте перевода... Для самого автора, Шекспира, текст существовал если не целиком, то, по крайней мере, на девяносто процентов как чисто театральный. Шекспир писал не пьесу, Шекспир писал спектакль, Шекспир был драматургом с режиссерским мышлением, в сущности, из его текста можно вычитать спектакль, можно вычитать премьеру в "Глобусе", и не в ремарках, потому что ремарок очень мало, и не было нужды в них: Шекспир был сам актером, актером этой труппы, и сам в этой пьесе играл, и так далее, – не в ремарках, а в том, что называется скрытой ремаркой. Если читать шекспировский текст с этой точки зрения, то вы получаете необыкновенно сильное впечатление чисто театрального свойства. Когда значки на бумаге вдруг начинают проступать, как в тайнописи. Происходит, как у Булгакова в "Театральном романе", когда он сам не понимает, как текст превращается в пьесу, и на столе в его нищей комнате вдруг возникает коробочка, в которой начинают двигаться персонажи. Так вот, эта самая коробочка, только тут это не сцена-коробка, а открытая сцена

"Глобуса", возникала и перед Шекспиром. И он сочинял вариант не вообще театрального представления, но театрального представления, живущего в этом месте, в это время, в этом театре, для этой публики. Вернусь к "Вон, взгляните" по поводу небосвода, усыпанного золотыми звездами, а дело в том, что над головой актера, игравшего Гамлета, был нарисован этот самый небосвод. Стало быть, он обращался к небосводу не только в космологическом, но и одновременно в конкретно-театральном смысле. И это "Вон, взгляните", предполагающее сценический жест, – очень метко с точки зрения театра. Я мог бы довольно долго об этом говорить, но не буду. Лучше послушаем публику и вопросы, на которые переводчик постарается ответить, а я, что смогу, дополню. Что я хочу сказать – не только в последние годы, но почему-то особенно в последние годы происходит целый обвал переводов "Гамлета". Каждый год появляется не один, не два, а восемь-десять, штук пять уж точно новых переводов. Я не хочу пытаться искать причины, почему это происходит, хотя на самом деле в России такие вещи происходили, в сущности, со времен Полевого всегда, хотя и не в таком радующе-кричащем количестве. Что это за загадка? Ну, самый банальный ответ в том, что "Гамлет" для русского сознания – это вещь особая, и прочее, и прочее... Надо сказать, что появление каждого нового перевода "Гамлета" вызывает, можете мне поверить, немедленную реакцию людей, знающих английский язык и не знающих английский язык, интересующихся проблемами перевода и не интересующихся, интересующихся или не слишком проблемами интерпретации классики (перевод – одна из форм этой интерпретации). Достаточно открыть Интернет, чтобы в этом убедиться. При этом столько бранных слов, сколько написано по поводу "гамлетовских" переводов, не звучит по поводу ничего другого. Как будто человек, который перевел "Гамлета", касается какой-то больной точки. Происходит что-то вроде взрыва, и мне кажется, что за этим стоит не желание защитить Шекспира, а какое-то оскорбленное самолюбие. Не буду это комментировать, скажу только вот что. Я нашел в этом переводе, который сейчас издадут, массу деталей, которые мне показались неточными, странными, но, по-моему, правильная позиция не в том, чтобы искать недостатки и тыкать пальцем в несовершенства, а в том, чтобы попытаться оценить перевод вот с какой точки зрения: сколько в нем нового, интересного, современного и отвечающего современному же взгляду на текст. С этой точки зрения, мне кажется, перевод Алексея Цветкова в высшей степени интересен, хотя в то же время включает в себя что-то вроде вызова, и поэтому нас совершенно не должно удивлять, что наряду с восторгами и вполне справедливыми хвалами он может услышать и какую-то резкую критику. Весь вопрос, для чего эта критика делается. С моей точки зрения,

если взвешивать за и против, если говорить о том, представляет ли этот перевод современный взгляд на текст этой пьесы, в какой степени этот перевод достоверен с той точки зрения, с какой достоверность вообще возможна, когда мы ведем речь о тексте, который сам по себе уже есть интерпретация. Потому что если вы берете самое академическое, самое почтенное издание Шекспира и указываете пальцем на какую-нибудь строку в этом тексте, вы все равно не можете быть уверены в том, что эта строка принадлежит самому Шекспиру. В текст первоиздания, даже если он печатался с достоверной рукописи (что бывало далеко не всегда), попадали актерские отсебятины, ошибки переписчика или наборщика, описки самого автора и так далее. Со всем этим редакторы должны как-то справляться, принимать текстологические решения, откликаясь при этом на решения, принятые прежними редакторами. Современное издание есть уже интерпретация и даже интерпретация интепретаций предшественников, это есть следствие многолетнего труда комментаторов, текстологов и издателей. Поэтому сама категория достоверности (я совсем не призываю к какому-то "что хочешь, то и вороти") требует, в свою очередь, очень осторожного отношения. Всякий перевод предлагает серию личных решений, принятых этим переводчиком, то есть является его, переводчика, версией пьесы. Весь вопрос — в мере и вкусе. Отдает банальностью, но другого ответа быть не может.

Если же говорить о переводе Алексея Цветкова в целом, то он хорош.

А. Ц. У меня замечание "в pendant": помимо сценических интерпретаций, есть еще и кинематографические. Для меня очень важным примером такого рода была постановка Кеннета Брана, одна из самых несокращенных — протяженностью в четыре часа. И вот там есть интересная интерпретация монолога Гамлета: говоря, он (поскольку в кино сцены нет и зала нет) подходит к зеркалу. И там он практически шепчет. Это не мелодекламация, к которой мы привыкли, а такой вот шепот, и понятно, что мысль вытекает из головы и течет: "так", да? Обрыв строки мне казался здесь просто очень неправильным.

А. Б. У меня тоже комментарий по поводу Кеннета Брана: с моей точки зрения, это один из самых пустых фильмов по этой пьесе, которые мне известны. Брана в этом фильме придумал массу занятных забавных деталей, включая ту, о которой вы сказали. Только вы не сказали еще об одной вещи. Ведь он шепчет монолог зеркалу, за которым прячется Клавдий, потому что зеркало одностороннее, и Клавдий видит его страшно близко. Придумано лихо, но эта куча замечательно придуманных деталей не должна заслонять самого главного: того, что в этом фильме нет Гамлета. Нет Гамлета потому, что Кеннет Брана — прирожденный Лаэрт, а тому, кто рожден Ла-

эртом, никогда не сыграть Гамлета. Брана со студенческих лет стремился сыграть Гамлета и с железной своей волей, отнюдь не гамлетовской, а лаэртовской, он эту идею пробивал. Он играл Гамлета в школе, он играл Гамлета в "Шекспировском театре", потом сделал фильм по "Гамлету". Но Лаэрт так и не стал Гамлетом. И мне кажется, что если видеть в этом фильме некоторый образец, то это не вполне удачный образец, а то, что он такой длинный, делает его довольно скучным.

С. Г. Теперь, наверное, время перейти к финальной части нашего собрания: вопросы нашим героям и, по возможности, ответы...

Николай Караев. Эстония, еженедельник "День за днем".

Какой подход вы избирали в переводе, когда имели дело с какими-то вещами, которые уже вошли в русский язык на уровне фразеологизмов, вроде "На какой почве свихнулась? — На нашей, датской", "Вся Дания — тюрьма" и т. п.? Вы их повторяли или искали какие-то свои пути?

А. Ц. Двоякий. Я их обычно игнорировал. Как мне казалось точнее, так я и переводил. Но когда я видел, что где-то есть совпадение, то к чему попусту версифицировать? Чтобы отличаться от Пастернака или Лозинского? Я не заглядывал в них, но какие-то вещи совпали, это естественно, это значит, что мы видели одно и то же.

Н. К. И второй вопрос. Как уже сказал ваш уважаемый оппонент, неизбежно возникнет ситуация, когда к вашему переводу будут придираться построчно. Вот из того, что я услышал, в финале монолога "Быть или не быть", там "With this regard their currents turn away // And lose the name of actions...", у вас "turn away" — "разбивается на струи", это довольно своеобразная интерпретация. Я не прошу вас оправдываться, я хочу узнать, как вы будете реагировать на такие придирки вообще.

А. Ц. Естественно, если эти придирки будут адресованы в серьезной форме, я на них отвечу. Я не считаю свой перевод совершенным. Если кто-то сделает лучше, то выиграет от этого Шекспир. Моя задача состояла не в том, чтобы одолеть всех предыдущих переводчиков, а чтобы принести максимум от Шекспира современному русскому читателю и зрителю. Если мне это удалось — то это замечательно, в той мере, в какой мне это удалось. Если кому-то удастся лучше, я буду только счастлив.

Н. К. А как же знаменитая максима, что "переводчик в поэзии — соперник"? Вы ощущали себя соперником Шекспира?

А. Ц. "Соперником Шекспира" — я даже не могу себе такого представить. Я атеист, но для меня если есть бог — то это Шекспир. Но мне казалось, что такой человек, как Пастернак, при всем к нему уважении, он, может, недостаточно понимал, с кем имеет дело, что это — неповторимое событие в истории

человеческой культуры. Соперничество было в том смысле, что я думал – нужен более современный перевод и нужно избежать тех дефектов, которые были в предыдущих. Может, я своих нагромоздил... Кто-то следующий, кто будет переводить, будет иметь в виду мой перевод и как-то пинать меня.

А. Б. Где-то в конце семидесятых Осия Сорока сделал свой замечательный, потрясающий перевод "Короля Лира". И вот я с большим энтузиазмом принес тогда своему учителю, Александру Аниксту, этот перевод, просто поразивший меня глубиной решения текста. Принес: "Вот! Появился! Новый замечательный перевод 'Короля Лира'!" Александр Абрамович ответил тогда: "Какого ляда им еще нужно, когда есть Пастернак?" Я помню, как поражен был этой совершенно несвойственной Аниксту архаической позицией, это примерно то же самое, что сказать: "Зачем ставить 'Три сестры' после Немировича-Данченко?", хотя никто не сомневается, что это был один из великих спектаклей XX века. Что касается Пастернака, то я не очень разделяю, Алексей, ваших взглядов – ни на его переводы, ни на его отношение к текстам. Но, к большому сожалению, Пастернак сделал многое, чтобы олитературить, выгладить свой перевод, при том что и в этом, выправленном, виде его перевод остался замечательным памятником русской культуры того времени. Но судить пастернаковского "Гамлета" надо по первому варианту этого перевода, который был сделан для Мейерхольда, по его заказу, Пикассо должен был быть художником постановки, Шостакович – композитором. Пастернак сделал перевод, но, когда он его сделал, уже не было ни театра Мейерхольда, ни самого Мейерхольда. Тогда Немирович-Данченко взял перевод и стал его репетировать...

С. Г. Я думаю, что не только вежливость велит нам поаплодировать. Спасибо большое.

Аплодисменты.

Галина Смоленская

Филипп Хенсло – первый театральный антрепренер

Искусство – прекрасное дитя в блистающих доспехах – выступит навстречу дракону коммерциализации и победит его.

Анри Ван де Вельде

ВЕСНОЙ 1989 года во время строительства на южном берегу Темзы рабочие, рывшие котлован для очередного офиса, обнаружили превосходно сохранившийся фундамент здания шекспировской эпохи – театра "Роза". Нетрудно представить себе восторг англичан, особенно историков театра. Эта находка стала поводом вспомнить еще один, чудом сохранившийся исторический памятник той эпохи, напрямую связанный с хозяином театра "Роза" Филиппом Хенсло. Его дневники, или правильнее было бы их назвать – счетные книги.

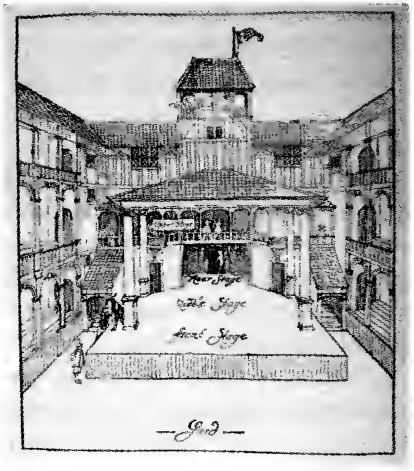
Театральный антрепренер Филипп Хенсло был дельцом не хуже и не лучше других. Он занимался всякого рода коммерцией и аферами, включая ростовщичество и владение публичными домами. Увидев, что театральное дело имеет большие перспективы, он почуял выгоду от создания театров на правом берегу Темзы и не ошибся.

Лондонский мост. Гравюра К. Дж. Фишера. Из серии "Виды Лондона". 1616 год.

В 1587 году он строит театр "Роза", который сразу завоевывает симпатии публики. В нем выступает лучшая по тем временам труппа Лондона – "труппа лорда-адмирала" со знаменитым трагиком Эдуардом Алленом во главе.

© Галина Смоленская, 2011

Хенсло был человек практический, свой бизнес он вел на основе строгого расчета. Уже одно количество построенных им театральных зданий позволяет говорить о важной роли Хенсло в развитии лондонского театра эпохи расцвета. В 1587 году строится театр "Роза", в 1594-м — "Ньюингтон Батс", в 1600 году "Фортуна" и в 1614-м "Надежда" — театр, который вырастает на месте существовавшего здесь же еще с середины XVI века амфитеатра "Медвежий садок", где проходила излюбленная лондонцами травля животных.



Театр "Фортуна".
Реконструкция Уолтера Годфри. 1907 год.

Мы упомянули счетные книги Филиппа Хенсло. Для историков театра они имеют огромное значение, многочисленные исследователи называют их "драгоценным источником", "портретом театральной эпохи". Хенсло не только записывает свои расходы и доходы. Здесь находятся ценнейшие сведения о реквизите его театров, о костюмах и декорациях, здесь же — личная переписка. Особый интерес представляет деловая корреспонденция, например, записи о партнерстве Хенсло с Чолнеем[1] при создании театра "Роза", или контракт с Питером Стритом о строительстве театра "Фортуна" по образцу "Глобуса". Тут же приводятся списки актеров, занятых в спектаклях, списки действующих лиц в пьесах, сведения о гонорарах драматургов, образцы контрактов. Вот сокращенный вариант одного из актерских контрактов:

1. Упомянутый Роберт Доус (в дальнейшем для краткости Он) обязуется играть с той труппой, какая будет назначена упомянутыми Филиппом Хенсло и Джекобом Мидом, в течение трех лет от настоящей даты с оплатой в размере одного целого пая согласно обычаю актеров.

2. Он обязуется во всякое время в течение указанного срока посещать все те репетиции, которые будут происходить перед публичным спектаклем. В случае если Он опоздает на назначенную (репетицию), то обязуется уплатить <...> двенадцать пенсов, а если не явится до окончания указанной репетиции — два шиллинга.

3. Если в день, когда пьеса будет назначена к представлению, Он не будет одет к началу спектакля в три часа пополудни и свидетельством шести актеров той же труппы не будет доказано противное, Он обязуется уплатить три шиллинга.

1. Партнер в строительных работах при возведении театральных зданий.

4. Если Он окажется пьяным в то время, когда Он должен играть, и это будет подтверждено свидетельством четырех актеров указанной труппы, Он обязуется уплатить десять шиллингов.

5. Если Он не явится на спектакль без удостоверения или объяснения своей болезни, Он обязуется уплатить двадцать шиллингов.

6. Если по окончании пьесы Он покинет театр с костюмом на себе или унесет какую-нибудь собственность, принадлежащую упомянутой труппе, Он обязуется уплатить штраф в размере сорока фунтов.

7. Упомянутые Филипп Хенсло и Джекоб Мид имеют законное право использовать театр, предназначенный для выступлений упомянутой труппы, в один из каждых четырех дней по своему выбору под травлю медведей и быков <...> с уплатой упомянутой труппе за каждый такой день по сорок шиллингов.

Филипп Хенсло был, как сказали бы сегодня, финансовым директором "труппы лорда-адмирала". Он сдавал ей свои помещения, покупал пьесы. Хенсло мог быть спокоен, ведь в труппе у него существовало доверенное лицо — Эдуард Аллен, который закрепил свое положение тем, что в 1592 году женился на падчерице Хенсло и стал участником всех театральных предприятий. Ему принадлежала доля во владении театрами "Фортуна" и "Надежда".

Эдуард Аллен. Главный актер труппы лорда-адмирала. Неизвестный художник. 1600 годы.

Разбогатев, Аллен купил на свои актерские заработки и доходы от вложенных в театральные здания средств поместье в Дулвиче, куда переселился, оставив сцену. Здесь он основал Колледж даров Господних, которому завещал картины, библиотеку и архив. В Дулвиче и сохранились записи Хенсло.

Два слова об истории манускрипта. В начале книга использовалась братом Филиппа Хенсло — Джоном. Он записывает сюда свои доходы и счета от плавильных шахт в Эшдаун-Форесте, которыми владеет. Эти записи датированы 1576–1581 годами.

Вероятно, после смерти Джона (в 1592 году) книга оказывается в руках Филиппа, который ведет ее как счетную книгу для деловых и более приватных записей до 1604 года регулярно, а затем следуют эпизодические записи до 1609 года. Позднее, но, несомненно, еще при жизни Филиппа Хенсло, книга переходит к Эдуарду Аллену, и в конце концов становится частью библиотеки Колледжа даров Господних в Дулвиче.

Манускрипт представляет собой фолио из 242 страниц, размером приблизительно 13 с четвертью на 8 дюймов. В основном документ очень хорошо сохранился, но уголки некоторых страниц потерты, а некоторые страницы вырваны, например, 69 и 70. Вероятно, какая-то часть материалов о театре была утрачена.

Условно содержание можно разделить на три части: записи Джона Хенсло о плавильных шахтах; личные записи Филиппа Хенсло о покупке собственности, рецепты лекарств (весьма увлекательные и любопытные сведения, безусловно представляющие интерес с точки зрения исторического портрета эпохи); и, наконец, собственно театральные счетные книги. Большей частью это финансовые отношения с агентами, с труппами актеров, в основном с "труппой лорда-адмирала", а также записи, связанные со строительством театральных зданий и содержанием театров.

Театральные записи, в свою очередь, можно структурировать следующим образом: это ежедневная выручка от спектаклей с 19 февраля 1591 года по 5 ноября 1597 года (впоследствии записи велись понедельно до 1600 года); записи расходов "труппы лорда-адмирала" с октября 1597-го по 1604 год с перерывом; детальный список выплат Хенсло в связи с постройкой и ремонтом театров "Роза" и "Фортуна", дополненный различными записями, например, о найме новых актеров, оплате драматургов и так далее.

Первым исследователем, которого заинтересовал манускрипт, был Эдмонд Малоун. В 1790 году он изучил и опубликовал те части книги, которые ему были наиболее интересны при работе над историческим очерком об английской сцене ("Historical Account of the English Stage").

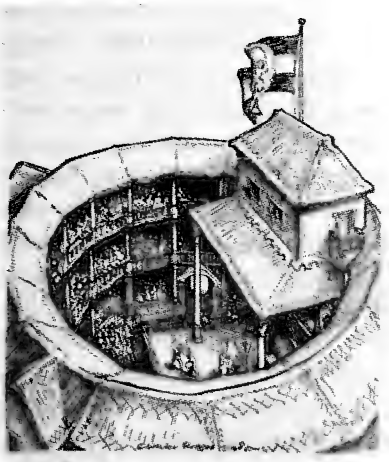
Позднее, в 1795 году, эта версия с его заметками и комментариями была переиздана и хранится сегодня в библиотеке Дулвича.

Ее использовал Кольер для своей "Истории драматической поэзии". И он же в 1845 году печатает книгу отдельным изданием под названием "Дневники Хенсло". В 1881-м это издание помещено в каталог манускриптов библиотеки Колледжа даров Господних в Дулвиче.

И наконец, в 1902 году Уолтер Грэг получил разрешение подготовить новое издание дневников, которое вышло в свет в 1904-м, а в 1908-м было дополнено вторым томом с детальными комментариями и интерпретациями материалов в счетных книгах.

Уолтер Грэг воссоздал на основе дневников историю английской сцены с 1584 по 1613 годы, и это сегодня один из основных источников по истории театра тех лет. Впоследствии его материалами пользовался Чэмберс для своей "Истории елизаветинской сцены".

В 1616 году Хенсло умирает. А в 1621-м сгорает его театр "Фортуна". Сгорает, как и многие такие же деревянные театраль-



На сцене "Глобуса" дают Шекспира...

ные постройки того времени. Точно так же, как и знаменитый шекспировский "Глобус", с которым всегда конкурировали труппы Хенсло.

А в конце XIX века в России молодой исследователь Шекспира С. А. Варшер на основе дневников Филиппа Хенсло создает удивительно живописную и остроумную реконструкцию одного из спектаклей "Глобуса". Несомненно, некоторые сведения Варшера устарели, но это нисколько не умаляет художественной ценности его блестящей, беллетристической иллюстрации театральной истории английского Возрождения:

День в английском театре[1]

На обширной топкой площадке, у самого берега Темзы, возвышается грубая шестиугольная башня, частью бревенчатая, частью сколоченная из досок; кверху она постепенно суживается и представляет таким образом усеченную пирамиду[2]. Башня не покрыта: только у одной из шести граней торчат над стеною две остроконечные кровли, прикрывающие сцену; между ними развивается красный флаг; это значит, что ворота театра уже открыты для публики; когда все места будут заняты или когда представление окончится, флаг опустят. Кругом башни обведен тинистый, зловонный ров с перекинутыми, осклизшими от грязи мостиками. На двух противоположных концах строения — широкие ворота для входа публики внутрь театра. Над самыми воротами, на карнизе, стоит колоссальная, грубо размалеванная статуя Геркулеса: он держит над головою земной шар, а на нем надпись: "Totus mundus argit histrionem", то есть "Весь мир играет комедию". По обеим сторонам двери гигантские тесовые щиты свешиваются с высоких мачт, водруженных в болотистую землю: огромные ярко-красные буквы, наляпанные су-

1. Статья принадлежит перу слишком рано (на тридцать пятом году) скончавшегося и многообещавшего историка литературы Сергея Абрамовича Варшера. Была напечатана по постановлению Историко-теоретической секции Театрального отдела Народного Комиссариата по Просвещению в 1920 г. Статья дается в сокращении. (*Прим. Г. С.*)

2. Надо заметить, что вполне достоверного изображения "Глобуса" мы не имеем. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. автора предисловия к статье Варшера В. К. Мюллера.*)

риком, так и бросаются в глаза. "Здесь все правда; историческая пьеса" – так озаглавлено новое произведение Шекспира. Представление обещается грандиозное, великолепное: "все костюмы новые; одну из главных ролей будет играть сам Ричард Барбедж", одно имя которого приводит толпу в неистовый восторг – для народа это такой же кумир из актеров, как Шекспир из драматургов. "На сцене, – продолжает афиша, – будут стрелять из пушки" – еще одною причиной больше, чтоб ожидать на сегодня чего-то совсем необыкновенного, чрезвычайного. Афиша знает это и за чрезвычайность представления объявляет на сегодня двойные цены. Но что такое двойные цены в театре, где многие места стоят только три копейки![1] Еще часа три до начала представления, а огромная площадь перед театром уже буквально запружена массою народа.

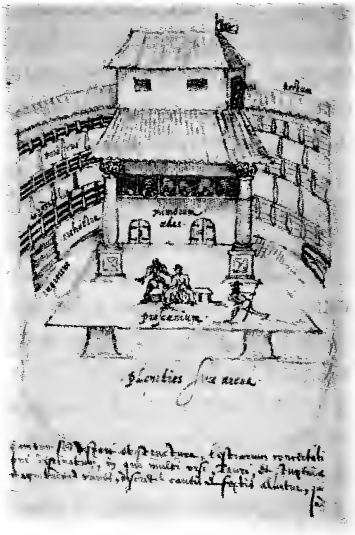
Давка и беспорядок: все увязают в грязи, падают, бранятся и неудержимо рвутся вперед и вперед, спеша заплатить свои гроши и войти в широкие ворота гостеприимного "Глобуса". Кассир, в живописном черном платье, с трудом успевает опускать медные монеты в разрез на крышке кованого сундучка, на всякий случай прикрепленного цепями к сцене. Полицейские давно уже отошли к стороне: они чувствуют себя бессильными. В воздухе стоит смешанный гул голосов, восклицаний, божбы, ругательств. А тем временем начинается движение и на противоположной стороне башни, у других дверей, через которые пройдут в театр актеры, писатели, записные театралы и вообще привилегированная публика. И здесь тоже спешат запастись местом заблаговременно: более всего хлопочут о том, как бы успеть захватить скамью или трехногий табурет – иначе придется располагаться на полу.

У входа в толпе бойко продаются литературные новости, летучие сатирические листки. "Новости из ада! Кому новостей из ада? – предлагает один разносчик. "Семь смертных грехов Лондона!" – выкрикивает другой. "'Новейший Альманах!' – на два гроша остроумия!" "'Венера и Адонис', сочинение Вильяма Шекспира!" Многие запасаются этими листками, чтоб скоротать скучное время ожидания. Театр понемногу наполняется. Внутри он представляет круглую арену, наподобие цирка; она разделена на две неравные части: большую – партер и меньшую – сцену; партер сверху открыт, сцена защищена крышей. Двери для "чистой" публики ведут прямо на сцену, которая несколько возвышена над землей и снабжена досчатым[2] полом, устланным рогожами; это крупное нововведение, потому что обыкновенно пол покрывается соломой или сухими листьями. Но ведь уж сегодня особенный день, чрезвычайное представление, и все должно быть чрезвычайным!

Сцена отделена толстым бревенчатым забором от партера, уже переполненного массою народа. Это действительно parterre, пото-

1. Пролог к драматической хронике Шекспира "Генрих VIII"; места стоили от полпенни до шиллинга.
2. Здесь и везде сохранена авторская орфография. (*Прим. Г. С.*)

му что все стоят прямо на земле, под открытым небом, подвергаясь всем случайностям переменной лондонской погоды. Но ведь и публика в партере таковская, и ее, по-видимому, ничуть не беспокоит состояние погоды: по крайней мере, все весело щелкают орехи, едят апельсины и яблоки, пьют пиво. Особенно предусмотрительные и запасливые люди, забравшиеся сюда с утра и потому стоящие впереди, тут же и обедают, и таких в театре не мало. Шум здесь невообразимый: там кого-то придавили, другого уронили, там двое подрались из-за места, любители бокса присоединяются к той или другой стороне, начинается потасовка. Все знают урочное время начала представления и все же обнаруживают нетерпение: кто кричит, кто аплодирует, большинство швыряет каменьями и грязью в холщовый занавес, раздвигающийся посредине на две стороны. На сцене в это время собирается чистая публика: она здесь, на сцене, и останется во все время представления — это ее привилегия, за которую она платит целый шиллинг. Счастливцы восседают на скамьях и табуретах, опоздавшие располагаются на рогожах. По краям сцены, у самой стены, несколько досчатых загородок: ложи для дам. Публика на сцене тоже убивает время по своему: играют в карты, в триктрак, курят, острят, от времени до времени приподнимают занавес и перебраниваются с партером. Надо сказать, что театральный обычай установил с давних пор непримиримую вражду между партером и сценою: с обеих сторон раздаются самые грубые ругательства, насмешки, остроты; потом летят яблоки, палки, обглоданные кости, наконец камни, нередко пробивающие убогий занавес. Джентльмены не гнушаются отвечать тем же: они подбирают каменья и сильною рукой, привыкшею владеть оружием, бросают их в толпу. Пущенные сверху, в сплошную массу голов, эти камни всегда попадают в цель и вызывают бешеные крики боли и бессильной злобы. От времени до времени ветер, раскрывая обе половинки занавеса, доносит на сцену из партера такой смрад от стоящих там и сям огромных лоханей, что привилегированные начинают кричать: "Курите можжевельником!" Служитель приносит большую жаровню с горячими угольями, накладывает в нее свежих можжевеловых ветвей, и джентльмены чувствуют себя лучше среди густого, тяжелого дыму.



Внутренний вид театра "Лебедь". Рисунок Девитта. Около 1596 года.

Понемногу появляются признаки приближения спектакля: служитель вынес на авансцену и прикрепил к занавесу, со стороны публики, доску с надписью: "Лондон". Теперь публика знает место дей-

ствия пьесы. Другие служители в то же время развешивают по стенам сцены ковры, прикрепляют к ним черные квадратные картоны с двумя перекрестными белыми полосами: это окна; все, вместе взятое, должно обозначать, что действие происходит в доме, в комнате. В глубине сцены, у задней стены небольшое возвышение, задернутое отдельным занавесом: это горы, балкон, палуба корабля, крыша дома — что угодно, смотря по надобности. Здесь происходит знаменитая сцена между Ромео и Джульеттой, здесь и замок Макбета, и король Дункан, будто бы отворяя окно, вдыхает чистый воздух Шотландии, здесь же ставится и кровать Дездемоны, умерщвляемой ревнивым Отелло[1]. Между коврами картонные двери, в углу картонный же балдахин: он может понадобиться, если в числе действующих лиц есть король. По сторонам сложено еще несколько картонов: на одном намалевано дерево — это лес или сад, на другом крест или могильный камень — это внутренность церкви, кладбище[2]. Крайняя бедность сценической обстановки с избытком окупается неистощимым богатством фантазии зрителей, которые в правдоподобии не нуждаются и способны вообразить и представить себе что угодно: точь-в-точь дети, разыгрывающие на большом отцовском диване охотничьи и разбойничьи сцены из Майн Рида и Купера.

Сцена с персонажами из пьес английских драматургов эпохи Возрождения. На переднем плане Фальстаф и г-жа Куикли. Гравюра на титульном листе сборника пьес "Шутники". 1662 год.

Вот сцена готова; один за другим приходят актеры и скрываются за драпировкой, чтобы переодеться: уборных нет. Среди артистов мы совсем не замечаем женщин: во времена Шекспира актрис не было, и все женские роли исполнялись женоподобными молодыми людьми: идеальные женственные образы Офелии, Дездемоны, Корделии, Имоджены создавались мужчинами. Вот уже и в ложах показались дамы; из них большинство в масках — предосторожность не лишняя, особенно на первом представлении новой пьесы: литературные нравы таковы, что скромность женщины легко может подвергнуться неприятному испытанию; да и партер иной раз не поцеремонится запустить чем-нибудь в ложу. Однако дамы разо-

1. Убийство Дездемоны изображалось, несомненно, на задней, внутренней сцене.
2. Мелкие подробности сценической обстановки собраны также у Шаля, Тэна, Дрока и др.; многое извлечено из комедий Бена Джонсона и других современников Шекспира.

деты: на них мантильи или накидки из ярких или нежных шелковых материй: "одни небесно-голубого цвета, другие жемчужного, третьи красного, как пламя, или бронзового: корсажи из белой серебряной парчи, вышитой изображениями павлинов и разных плодов и цветов; внизу – свободное, ниспадающее широкими складками пурпуровое платье с серебряными полосками, подобранное золотым поясом, а над ним другое, широкое, из лазуревой серебряной парчи, выложенной золотыми галунами. Волосы искусно завязаны под богатою диадемой, сверкающей, как огонь, от множества драгоценных камней; сверху ниспадает до самой земли прозрачный вуаль; обувь лазуревого или золотого цвета усыпана также рубинами и алмазами"[1]. Присоедините к этому алмазные и жемчужные ожерелья, такие же серьги, браслеты и кольца, огромные опахала из страусовых перьев – и вы поймете, как мало гармонирует эта сказочная роскошь с грязною бедностью досчатой загородки, где помещаются дамы в своих ослепительно-богатых нарядах.

Вот на сцене, за опущенным занавесом, раздается шум, восклицания, движение, хохот: это Барбедж, играющий сегодня роль кардинала Вольсэя, вышел поздороваться с друзьями-джентльменами. Его окружает золотая молодежь, все собутыльники: он ведь всем приятель, со всеми одинаково фамильярничает.

Партер прислушивается к движению на сцене и догадывается: "Браво, Барбедж!" – раздается в толпе. Даровитый артист показывает на минуту свое лицо между занавесок, раскланивается, делает уморительную гримасу. Дикий вопль восторга, гиканье, аплодисменты, взлетающие кверху шляпы приветствуют всеобщего любимца. На авансцену выходят музыканты: их десять человек, все они итальянцы и все приписаны к артистам его величества. Три раза прозвучали трубы: это сигнал к началу. Раздвигаются обе половинки занавеса, к решетке подходит актер в традиционном черном бархатном плаще, с ветвью лавра в руках. Это Пролог: он ждет, покуда угомонится толпа. Шум постепенно смолкает. <...>

Пролог удаляется. <...> По толпе проносится сдержанный шепот тысячи голосов. Вот все стихло: с секунды на секунду ждут начала. Но актеры что-то замешкались. Уже раздаются там и сям нетерпеливые восклицания. Опять поднимаются возня и шум. Все закуривают оставленные было трубки, сцена наполняется табачным дымом: курят джентльмены, курят и дамы в ложах. Через сцену проходит кавалер Бриск, известный всему Лондону кутила и мот: он запоздал нарочно, чтобы пройти по сцене при открытом занавесе и щегольнуть ослепительною роскошью своего костюма. Ему не достало скамьи и он непринужденно растягивается на полу, у самой ложи, зевает, отпускает какое-то ругательство партеру, который уже приветствовал его апельсинными корками, вынимает шпагу и, проткнув острием сальную свечу, стоящую от него арши-

1. Это описание, напоминающее волшебную сказку, читается, однако, целиком в феерии Бена Джонсона "Маска Гименея".

на за два, приближает ее к себе, закуривая трубку, и пускает целые облака табачного дыма прямо к даме, сидящей над ним в ложе: это хороший тон того времени.

Бриска знают в толпе и намеренно громко соболезнуют: "Бедняга Бриск, говорят, совсем разорился!" Кавалер презрительно улыбается и, вынув из кармана горсть монет, бросает их в толпу. Там начинается драка. Приезжая провинциалка спрашивает у своей столичной знакомой: "Кто этот интересный молодой человек?" Интересный молодой человек замечает, что становится предметом внимания, и доволен: он небрежно сбрасывает на пол свой дорогой плащ и показывает свой расшитый жемчугом шелковый камзол, драгоценную кружевную манишку, кованный золотом пояс. И таких, как он, на сцене с десяток: они лежат врастяжку, их ноги достигают середины сцены и будут мешать актерам.

Между тем рабочий люд партера окончательно теряет терпение: раздаются угрозы разнести театр в куски или поколотить актеров; а так как не раз подобные угрозы исполнялись на самом деле, то распорядители спешат выслать к толпе Барбеджа, и он, почтительно опустив голову, произносит: "Достопочтенные джентльмены! Простите нам это невольное промедление: королева Екатерина еще не побрилась". Взрыв хохота и аплодисменты покрывают его слова. Музыканты начинают играть, чтобы занять чем-нибудь публику. На сцене жизнь идет своим чередом. Около ложи знаменитейшей красавицы того времени, носящей в силу моды классическое прозвище Аманды, стоит в меланхолической позе кавалер Фастидий: это совсем молодой человек, с напускною меланхолией в стиле Петрарки, любитель сонетов, луны и нежностей. Золотым гребешечком он взбивает кверху свои завитые усики и глядится в зеркальце, помещенное в тулье его шляпы. Толпа его решительно не переносит и осыпает самою грубою бранью. Кавалер грустно отвечает по-итальянски. Он подзывает своего пажа, и тот опрыскивает ему розовою водой высоко взбитый хохол на голове.

Но вот вторично прозвучали трубы, <...> начинается первое действие пьесы. <...> Сцена сменяется сценой, пир в полном разгаре, когда пушечные выстрелы за сценой извещают о прибытии короля. Все вскакивают с места, бегут; на сцене суматоха, раздаются громкие крики. Клубы дыма врываются сквозь драпировки на сцену, слышится зловещий треск. Зрители все еще думают, что шум и суматоха хорошо разыграны актерами; но это была действительная суматоха. Горящий пыж выпал из пушки на груду бумажных декораций, они загорелись, и вмиг вспыхнула убогая стройка досчатого театра. "Пожар! Пожар! Спасайтесь!" Толпа ахнула, как один человек, и вмиг разнесла в куски сколоченную на живую руку башню. Все спаслись целы и невредимы, только у одного замешкавшегося старика загорелась фалда, да и ту сейчас же залили кружкой пива.

Театр, прославленный Шекспиром, бывший свидетелем таких успехов гения, каких мы не встречаем более в истории человечест-

ва, сгорел дотла, сгорел именно в тот день, когда в первый раз поставлено было на нем последнее произведение Шекспира.

Вместо эпилога

После шумных восторгов по поводу открытия "Розы" в 1989 году, офис был построен (принцип священной частной собственности победил), остатки театра залиты бетоном, а здание не без цинизма назвали Rose Court. И все это, несмотря на протесты общественности, на прения в парламенте, петиции, демонстрации под руководством Йена Маккеллена и Пегги Эшкрофт, а также послания умирающего Оливье, взывавшего спасти "Розу" – об этом рассказывает шекспировед А. В. Бартошевич, который как раз был в это время в Лондоне, видел раскопки и вместе с тысячами англичан подписывал петицию...

...Итак, 19 февраля 1592 года "слуги лорда Стренджа" давали свой первый спектакль в театре "Роза". А в 1613-м возглавлявший "Розу" Эдуард Аллен – (из всех трагиков того времени он был самым опасным соперником Ричарда Барбеджа) удалился на покой в свое сельское поместье, заработав на театральном деле огромное состояние. Чолней исчез из поля зрения; вероятно, умер.

К этому времени в театре "Роза" больше не ставили спектаклей (после 1603 года никаких упоминаний о представлениях нет), однако театр свою роль сыграл, превратив Бэнксайд в жизненный центр лондонского театрального дела, а Филиппа Хенсло – в наиболее могущественного театрального магната своего времени.

Так что же сделал Хенсло для английского театра? Всего-навсего он его организовал, как сказали бы сегодня неромантичные жители XXI века – "садминистрировал". Он лишь продолжил великую фразу Барда: "...Весь мир – театр, а люди в нем актеры...", скромно добавив: "А Лондон – театральный зал..."

Вид Лондона с театром "Глобус".
Гравюра Холлара. 1647 год.

Уильям Блейк

Стихи разных лет

В 2008 году "Иностранная литература" и Британский Совет подготовили специальный выпуск журнала, посвященный великому английскому живописцу Джозефу Уильяму Мэллорду Тернеру. Поводом для публикации послужила выставка художника в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Опыт оказался удачным, и партнеры решили продолжить серию публикаций, посвященных британскому искусству. И вновь творческим толчком послужила выставка, которую организуют ГМИИ имени Пушкина и галерея Тейт при поддержке Британского Совета, — на этот раз на ней будут представлены работы поистине уникального деятеля британской культуры, чьи художественные и поэтические творения повлияли на многие поколения жителей туманного Альбиона, включая наших современников. О том, что это не просто красивая фраза, свидетельствуют публикуемые в этом номере эссе Питера Акройда и Филипа Пуллмана. Помимо этих эссе и пьесы Саши Дагдейл о Блейке в подборку включены новые переводы поэтических произведений самого Блейка. Среди них и те, что уже неоднократно переводились и хорошо известны в России, и впервые зазвучавшие по-русски стихотворения. Переводы выполнены участниками семинара, организованного Британским Советом; руководители семинара — известные поэты и переводчики Григорий Кружков, Марина Бородицкая, Саша Дагдейл.

Мы пользуемся случаем, чтобы поблагодарить авторов, переводчиков, руководителей семинара, партнеров проекта.

Особая благодарность — галерее Тейт за любезно предоставленные иллюстрации для обложки номера.

Мы надеемся, что читатели "Иностранной литературы" по достоинству оценят эту публикацию, которая служит своеобразной прелюдией к выставке. Ведь если Блейк-поэт в России достаточно хорошо известен, то Блейка-художника знают мало — или совсем не знают. ГМИИ имени Пушкина вновь выступит в роли первооткрывателя, представив — впервые в России — около 100 работ самого Блейка, а также работы других художников-визионеров — как его современников, так и последователей.

Выставка "Блейк и британские художники-визионеры" откроется в главном здании музея на Волхонке 28 ноября 2011 года — по счастливому совпадению, в день рождения художника. До встречи на выставке!

Анна Генина

© Анна Генина. Вступление, 2011
© Мария Фаликман. Перевод, 2011
© Валентина Сергеева. Перевод, 2011
© Алексей Круглов. Перевод, 2011
© Светлана Лихачева. Перевод, 2011
© Григорий Кружков. Перевод, 2011

Песенка

Приди же, Память, и раскрой
Мне строй веселых нот.
Пусть над рекою голос твой
Плывет.
Пусть нынче, волю дав мечтам,
Влюбленные вздыхают там,
Ловить спускаюсь налегке
Фантазии в реке.

Воды прозрачной я напьюсь
И стану слушать птах.
Весь день лежу, забыв про грусть,
В мечтах.
А ночь придет — пойду опять
Туда, где впору горевать,
Долиной темной и сырой
С безмолвною Хандрой.

Перевод Марии Фаликман

Птицы

Он:
Мне, любовь моя, открой,
Где уютный домик твой?
Здесь ли, в роще, милый кров
Обрела краса лугов?

Она:
Там на ветке у ручья
О тебе тоскую я.
Слезы сушит мне рассвет,
Ночь дает забвенье бед.
Он:
О, краса цветущих нив,
Я ведь тоже несчастлив —
Оглашал я плачем лес,
Стон мой несся до небес.

Она:
Я не зря ль тебя ждала?
Вправду ль я тебе мила?
Больше мне не ведать мук,
Мой возлюбленный и друг.

Он:
Прочь печаль! Летим вдвоем
В мой высокий светлый дом.
Обретешь покой и кров
Средь листвы и средь цветов.

Перевод Валентины Сергеевой

В *полях был сладок мой удел*

В полях был сладок мой удел,
Беспечна юности заря —
Но князь любви меня узрел,
В сиянье солнечном паря.

Венчал лилейной белизной,
Убрал чело румянцем роз
И показал мне рай земной,
Где сад утех златых возрос.

Мне май росой смочил крыла,
А Феб разжег восторгов пыл —
Но сеть из шелка вкруг легла,
И клетки блеск зарю затмил.

Пою пред княжеским столом,
Охотно мной играет князь —
Злаченым тешится крылом,
Над рабством горестным смеясь.

Безумная песня

Ветра дикого плач,
Ночи хлад ледяной —
Сон, печаль мою спрячь
Под своей пеленой!
Но уже глянул луч
Из-за каменных круч,
Птицы вьются меж древ,
Узы тверди презрев.

И под тлеющий свод
Адамантовых граней
Рвется ввысь хоровод
Моих горьких стенаний;

Ночи слух распоров,
Слезы дня исторгает,
И в безумье ветров
С бурей черной играет.

Словно демон из туч,
Выкликая беду,
Прочь от огненных круч
Вслед за ночью уйду.
Жгут востока дары,
Лучезарно щедры –
Обращусь к ним спиной,
Мозг спасая больной.

Из письма к Баттсу

Почему я другой? Почему, как на грех?
Не такой, не как все – и несчастнее всех?
Взор мой всякому страшен, и речи всё злей,
А умолкну – хандрю и теряю друзей.
Буйный нрав свой бичую, натуру браню –
Где стихи? Где рисунки? – предать их огню!
Все сюжеты – бесстыдство, ничтожны слова,
Свой талант закопал я, и слава мертва.
Я то гений, то бездарь, то горд, то смирен –
То завистников множу, то всеми презрен.

Перевод Алексея Круглова

Песня

Люблю задорный пляс,
Люблю лихой запев,
И блеск невинных глаз,
И щебет нежных дев.

Люблю звенящий лог
Люблю зеленый луг,
Где радости исток,
Где смех звенит вокруг.

Люблю приветный сад,
Где дом плющом увит,
Где спелым фруктам рад
И свежим хлебом сыт.

Люблю столетний вяз,
Скамейку вкруг ствола –
Где старики, сойдясь,
Толкуют про дела.

Мне все село – друзья
(Не ладить с ближним – грех!),
Люблю соседей я,
А Китти – больше всех!

Перевод Светланы Лихачевой

Божественный образ
Из "*Песен опыта*", 1794

Жестокость – плод людских сердец,
Нам зависть полнит взгляд,
Наш образ – ужаса венец,
И скрытность – наш наряд.

Наряд наш – кованый стальной,
Под ним – пожара власть,
И взгляд заслонкою печной
Скрывает сердца пасть.

Перевод Алексея Круглова

Я *встал на заре*

Я встал на заре, стряхнул с себя сон.
– Прочь уходи! Убирайся вон!
Богатства просишь? Ступай-ка вон!
Здесь – седого Мамоны трон.

– Вот странный казус, – я вслух изрек,
А я-то думал, здесь правит Бог.
Я в жизни иных не знавал забот –
Мне лишь богатства недостает.
Я духом радостен и силен,
Друзьями по духу не обделен,
Души не чаю в милой жене –
Богатства лишь недостало мне.

Я хожу пред Богом ночью и днем,
Он — со мною, а я — при Нем.
И тут же — лукавый, шасть на порог:
В руке сжимает мой кошелек.

Он ведать поставлен моей казной;
Взмолюсь ему — будет щедрей со мной!
Но ни во сне я, ни наяву
К вам, мистер Дьявол, не воззову.

Когда ж о деньгах молить не с руки —
Тогда мои нужды невелики,
И я, преисполнен мыслей благих,
Коль стану молиться — так за других.

Рек Дьявол — коль не воздам ему честь,
Носить мне обноски и скудно есть.
Но к благам мирским равнодушен я —
Так прочь, мистер Дьявол, Бог вам судья!

Перевод Светланы Лихачевой

Чертоги времени

Из поэмы "*Мильтон*"

Другие же Лоса сыны
сотворили Мгновенья, Минуты, Часы
Дни, Месяцы, Годы, Эпохи и Эры:
чудесные сооруженья!
И в каждом Мгновении — Ложе златое для тихого сна,
Мгновение — это биение жилки на вашем виске,
А между Мгновеньями нежные Дочери Бьюлы
С материнской заботою потчуют Спящих на Ложах.
А у каждой Минуты лазурный Шатер
с шелковистым Покровом,
А у каждого Часа златые Врата с резьбою искусной,
Дни и Ночи забраны медными
Стенами с адамантовыми Вратами,
И сияют врата, и сверкают на них надлежащие знаки,
А у каждого Месяца — ввысь уходящая Насыпь,
мощенная серебром,
А у каждого Года — прочная Цитадель
с высокими Башнями,
А у каждой Эпохи — рвы с Мостами из серебра и злата,
А каждые Семь Эпох опоясаны Жарким Огнем,
А Семь Эпох — это Семь Колен,
или Двести Лет, где любому

Мгновенью, Минуте и Часу, Дню, Месяцу,
Году положены Стражи,
Творенье Волшебных рук Четырех Стихий,
Стражи – Ангелы Провидения, бдящие вечно.
Каждый Миг, что короче биения жилки
на вашем виске,
Вмещает Шесть Тысяч Лет и имеет такую же цену,
Ибо в этот Миг свершается Слово Поэта,
все величайшие
События начинаются и замышляются в этот Миг,
Не дольше Мгновенья, биения жилки на вашем виске.

Перевод Марии Фаликман

Врагу человеческому, который есть бог этого мира

Воистину ты, Сатана, дуралей,
Что не отличаешь овцы от козла,
Ведь каждая шлюха – и Нэнси, и Мэй –
Когда-то святою невестой была.

Тебя величают Исусом в миру,
Зовут Иеговой, небесным Царем.
А ты – сын Зари, что угас поутру,
Усталого путника сон под холмом.

Перевод Григория Кружкова

Гравюра Уильяма Блейка, выполненная для последней версии его книги "Ворота рая" (1820 г.)

Питер Акройд

Человек по имени Уильям Блейк

Перевод Светланы Лихачевой

На закате жизни Уильям Блейк призывал — или вспоминал? — "Ангела", который ввел его в мир[1] — навстречу глухой безвестности и череде горестей. С самого начала Блейк, похоже, решил для себя, что не ждет никакой помощи ни от людей, ни откуда бы то ни было — как если бы он, один как перст на всем белом свете, сам себя создал. К своим ближайшим родственникам он был по большей части безразличен, упоминал о них редко и, по-видимому, инстинктивно замкнулся в себе, поскольку с близкими общего языка не находил. Можно предположить, что в таком контексте жизни и коренятся те самые исполненные яростного индивидуализма и назидательности мифы, что Блейк создавал в последующие годы; но взаимосвязь между искусством и повседневным бытием определить не так-то просто. Несомненно, в себе самом Блейк обрел нечто куда более богатое и великолепное, нежели любая объективная реальность; с самого раннего детства он в избытке обладал духовной чуткостью и способностью к визионерству. Ангелы, привидевшиеся ему на Пекем-Рай (это место и сегодня кажется заколдованным) стали лишь зримым предвестием библейских образов, которые являлись Блейку на каждом шагу.

Однако во многих отношениях Блейк показался бы самым что ни на есть обыкновенным мальчишкой: приземистый, крепко сбитый, одетый как сын ремесленника, каковым, собственно, и был. В зрелые годы рост его составлял 5 футов 5 дюймов, так что можно предположить, что и ребенком он был невысоким. Его драчливость и непоседливость дополнялись болезненной чувствительностью к любому намеку на неуважение или угрозу. Мало того что агрессивен — он был настойчив до упрямства. К чести его родителей, они до известной степени понимали необычный характер сына — их терпимость и либеральность, возможно отчасти, объяснялись их собственным лондонским радикализмом и диссидентством. Они так и не отдали мальчика в школу, где общепринятая зубрежка вкупе с жесткой системой на-

© Tate 2000
Reproduced by permission of Tate Trustees
© Светлана Лихачева. Перевод, 2011

1 "Гномические стихи", XXI. Полностью трехстишие звучит так:
Измолвил Ангел, в мир вводя меня:
"Дитя, беспечной радости родня, —
Ступай, люби, о помощи не мня". (*Прим. перев.*)

казаний, несомненно, вызвали бы у него яростное неприятие. На самом деле, в каком-то смысле Блейк всю жизнь оставался ребенком, склонным к внезапным обидам и вспышкам безудержной ярости; на уровне более опосредованном, самые ранние его впечатления так и не изгладились, и не развеялась провидческая мечтательность детства. Он сохранил всю свою беспокойную порывистость, и в зрелые годы нередко бывал подвержен "нервическому страху" (пользуясь его же собственным выражением), когда авторитарный миропорядок грозил сокрушить его[1].

В школу мальчик не ходил, а вот в ученичество его отдали. Он обучался на гравера; и, хотя в ту пору никак не мог того знать, именно этим ремеслом ему суждено было волей-неволей заниматься всю жизнь. Трудясь в мастерской не покладая рук, без отдыха, человек, впоследствии известный своими "восторгами визионера", был вынужден мириться с работой, которая требовала бесконечного терпения, тщания и скрупулезности. В рамках настоящего эссе невозможно подробно рассмотреть все тонкости граверного искусства, но стоит отметить, что все грандиозные мифологические построения Блейка, все его фантастические рисунки и узоры — прямое следствие погруженности в трудоемкое, грязное, чреватое разочарованиями ремесло. Однако даже на этой ранней стадии Блейк написал как-то, что его "обуревает великое стремление познать все на свете"[2]; еще юнцом он осознал, сколь великими способностями к прозрению и пониманию наделен. Так, посланный в пору ученичества зарисовывать средневековые памятники, он вдохновлялся гробницами великих людей в Вестминстерском аббатстве, где работал. Однако радел он скорее о своем искусстве, нежели о себе самом: образы смерти и истории занимали его в первую очередь как способ облечь в плоть свои собственные, самые зыбкие видения.

Еще в бытность свою подмастерьем Блейк поступил в школу при Королевской академии, где ему предстояло познакомиться с греческими и римскими подлинниками. В ту пору своей жизни он от одиночества не страдал: он сблизился с другими молодыми художниками — тоже лондонцами, разделявшими его вкусы и увлечения; однако друзьям с ним приходилось непросто. История всей жизни Блейка пестрит отповедями и упреками в адрес тех, кто вздумал ему перечить; даже с самыми близкими людьми он зачастую бывал нервозен и повышенно возбудим: в молодости стоило ему разволноваться — и у него начинались боли в области живота. Критику Блейк не забывал; в одном из своих рассказов о себе он отметил, "как втайне негодовал"[3] на не слишком-то конст-

1. The Letters of William Blake with Related Documents / Geoffrey Keynes (Ed.). — Oxford, 1980, p. 20. (*Здесь и далее – прим. автора.*)
2. P. Ackroyd. Blake. — London, 1995, p. 56.
3. David V. Erdman. The Complete Poetry and Prose of William Blake. — Berkeley and Los Angeles, 1982, p. 565.

руктивное замечание преподавателя из Королевской академии. Кроме того, он мог надолго затаить обиду — он вовеки не простил сэру Джошуа Рейнольдсу его так называемых заблуждений.

Однако же оборотной стороной уязвимости и вспыльчивости Блейка была упрямая, из ряда вон выходящая уверенность в себе: он неизменно превозносил себя до небес, равняя с Рафаэлем или Дюрером (как правило, на эту примечательную черту внимания не обращают). Лишь непоколебимая убежденность в собственной неповторимости и непогрешимости и позволила Блейку создать целую мифологическую систему; но, словно отказываясь признавать свой самоочевидный неуспех в этом мире, он всеми силами старался укрепить и повысить свой статус в "мире духовном", каковой почитал истинной целью всех своих устремлений.

Здесь важно отметить роль жены Блейка, Кэтрин, — именно она это самоощущение поддерживала и "подпитывала". Их с Уильямом брак — один из самых идеальных и вместе с тем ярких союзов в истории литературы. Несмотря на часто провозглашаемые теории сексуальной свободы и вседозволенности (такого рода образами опубликованные произведения Блейка изобилуют), он, по всей видимости, ожидал найти и находил в жене безраздельную преданность и любовь. Кэтрин оставалась его верной спутницей во всех начинаниях, вместе с мужем работала над его гравюрами, чинила его одежду, готовила поесть — и, что, пожалуй, самое важное, интуитивно со всем соглашалась и безоговорочно верила в его рассказы о видениях. Эта тихая и безмятежная, сосредоточенная на себе пара оставалась бездетной на протяжении всей долгой совместной жизни и, подобно многим таким союзам, сохраняла и культивировала собственную детскость.

Еще до свадьбы Блейк спросил свою нареченную, жалеет ли она его, и, услышав "да", признался ей в любви. Причин для жалости было немало: начиная с первых же лет брака его уже окрестили "бедолагой Блейком" или "беднягой Уиллом", как если бы его судьба на земле была предрешена заранее. Блейк часто обижал людей своим обхождением и манерой разговора. "Всегда будь готов высказаться начистоту", — наставлял он, причем ему самому этот добрый совет на протяжении всей жизни доставлял немало неприятностей. Блейк бывал намеренно буен, капризен, а порой и язвителен. В разговоре он то и дело бросался обличительными фразами: "Это неправда... Это ложь"[1]. Даже прозябая в безвестности, Блейк продолжал упрямо верить в себя — что свидетельствует, по меньшей мере, о правильной расстановке приоритетов. Действительно, чем больше он превращался в изгоя, тем высокопарнее изъяснялся.

Иное дело — видения духов или ангелов, окружавших его денно и нощно: о них Блейк всегда говорил ясно и просто. Он

1. G. E. Bentley Jr. Blake Records. — Oxford, 1969, p. 315.

рассказывал о них достаточно живо, однако без излишнего пафоса или вычурности: для него они были самыми что ни на есть обычными явлениями этого мира. В каком-то смысле эти откровения свидетельствовали, как уже говорилось, о неизменности детского восприятия и детского воображения, но, с другой стороны, они дарили Блейку ощущение защищенности и, по сути дела, "избранничества". Прибавьте к тому его несокрушимое упрямство: никаким давлением невозможно было заставить Блейка признать чужие теории и взгляды.

Безусловно, некий налет безумия в нем ощущался, однако ж вызывал поэт скорее жалость и сочувствие, нежели отвращение — фраза "бедняга Блейк", как всегда, звучала неоднозначно. Столь щадящее восприятие объяснялось несколькими причинами. Во-первых, Блейк был такой не один: в эпоху революции и радикального инакомыслия многие выходцы из той же среды открыто осуждали Ньютонову физику как одну из форм общественного контроля и в противовес рассуждали о явлениях духов и ангелов. Один из великих пророков того времени, Эммануил Сведенборг, тоже удостоился видений. Не приходится сомневаться, что в каком-то смысле и Блейк считал себя пророком. Взять хоть знаменитую историю о том, как они с Кэтрин сидели нагими в саду в Ламбете (куда переехали в 1791 году), и замечание Блейка: "Здесь же просто-напросто Адам и Ева!"[1]. Но и этот акцент на наготе как символе непадшего мира был вовсе не чужд радикально настроенным современникам Блейка.

Однако, в отличие от современников, Блейк был еще и великим художником; поэтому его отношения с прорицаниями и знаниями ангелической природы пронизаны всеми острыми творческими противоречиями его натуры. Его произведение может быть одновременно властным и ироническим, обличающим и сатирическим, лирическим и двусмысленным. Его утверждения зачастую непоследовательны, порой автор просто-напросто подзуживает либо дурачится — умеет он быть и упрямым, и напористым, если его высказывания ставят под сомнение; в ряде случаев его свобода становилась своего рода добровольным одиночеством. Случалось Блейку и повторяться, так что иные находили его утомительным. Случалось замыкаться, уходить в себя, скрытничать; бывал он отстраненным и отрешенным. Но бывал и весел, оживлен, воодушевлен. В нем престранным образом смешались дисциплина и беспорядочность; но в этом смысле искусство совсем не обязательно контрастирует с жизнью.

Так, например, Блейк явно нуждался в чужом вымысле как в стимуле или раздражителе, чтобы достоверно передать или понять свои собственные фантазии. Безусловно, его нередко подстегивали к сходному творчеству чье-нибудь сочинение или картина. Но это, в свою очередь, напоминает его жизнь в реальном

1. G. E. Bentley Jr. Blake Records. — P. 53–54.

мире. Целый ряд историй иллюстрируют его бурную отзывчивость: так однажды где-то неподалеку от Сент-Джайлза Блейк увидел, как какой-то мужчина бьет женщину — и набросился на него "с такой встречной свирепостью в воздаянии безумном и яростном", что обидчик "отпрянул и рухнул наземь"[1]. Муж или любовник впоследствии признавался: ему померещилось, будто "сам дьявол накинулся на него, вступившись за женщину". Но у Блейка каждая из черт характера неотделима от всех прочих: милосердие и гнев, трудолюбие и мешкотность, заносчивость и тревожность — все они часть единого целого. В нем тесно соседствовали ремесленник — и визионер.

Его видения мешали ему лишь тем, что отвлекали от работы; так, например, за ним как за гравером уже закрепилась репутация человека нерасторопного, вечно опаздывающего и ненадежного. Однажды он написал: "Моя отвлеченная блажь часто увлекает меня прочь, пока я занят работой, уносит за горы и долины, которых на самом деле не существует, в землю Отвлеченности, где бродят духи мертвых"[2]. Эти слова часто воспринимаются как эстетическое кредо, однако, учитывая обычную неспособность Блейка выполнять заказы вовремя, здесь, скорее всего, подразумевается, что он завороженно следовал за своими духовными видениями в ущерб повседневным трудам. Иначе говоря, витал в облаках гениальности. Он и в обществе то и дело отвлекался и погружался в свои мысли; в разгар беседы мог отвернуться, словно на миг забывшись. Вот, пожалуй, еще одна причина, отчего Блейк так неуютно чувствовал себя в мире и не умел с ним ладить. Порою Блейк просто-таки бурлил оптимизмом — а бывало, впадал в уныние вплоть до самоуничижения. Находить общий язык с "повседневной" реальностью он явно не умел и не привык.

В результате зарабатывал он очень мало; случалось, что Кэтрин вручала мужу инструменты его ремесла, напоминая, что даже те, кто блуждает в землях отвлеченности, должны зарабатывать на хлеб насущный. Он отлично понимал, что в гонке жизни безнадежно отстает, и сам однажды сказал: "Я смеюсь над Фортуной и иду вперед"[3]. Как-то раз, когда Кэтрин заметила: "Деньги заканчиваются, мистер Блейк", он бросил: "К черту эти деньги!"[4]. Однако бывало и так, что он спрашивал с заказчиков неоправданно дорого и жестко требовал платы. Что ж, вот вам еще одно из противоречий и без того сложной натуры.

Другие стороны этого характера дали о себе знать, когда Блейк с женой уехали из Лондона; три года супруги прожили в Фелфаме близ городка Богнор Регис в гостях и одновременно на службе у местного поэта и мецената сэра Уильяма Хейли. Здесь

1. Mona Wilson. The Life of William Blake. — London 1932, p. 215.
2. The Letters of William Blake with Related Documents. — P. 34.
3. Там же. P. 11.
4. G. E. Bentley Jr. Blake Records. — P. 276.

Блейк смирился с едва ли не полным пренебрежением, и вновь источником утешения и вдохновения стали для него видения. Он подчинил свою личность и свои потребности Хейли, а тот обращался с Блейком со снисходительным восхищением. В результате Блейк впал в глубокую меланхолию; в безысходности уединения на него вновь накатили мучительное беспокойство и нервозный страх. Он был привлечен к суду по обвинению в подстрекательстве к мятежу — после того как вытолкал из своего сада какого-то солдата, — и в результате превратился в дрожащего параноика, одержимого мыслью, будто сам Хейли — наемный шпион и подкупленный лжесвидетель. Однако, будучи оправдан, Блейк вновь вернулся к раболепному подобострастию по отношению к своему былому покровителю.

В этом контексте любопытна его физиогномия. Весь облик Блейка, если верить описаниям, "так и вибрировал напряжением", что дополнялось или сводилось на нет "упрямым английским подбородком"[1]. Чело и лоб доминируют, что придает ему "энергичную, исполненную страсти твердость... так выглядит человек, способный на все — который, тем не менее, колеблется". Глаза его "огромные, блестящие", а любители эзотерики отметят, что "шишка идеальности" выступает на черепе весьма отчетливо[2].

По возвращении в Лондон, и в особенности когда Блейк перебрался в Фаунтин-корт на Стрэнде, он быстро примелькался на улицах города: с виду сдержанный, мирный ремесленник, несколько старомодно одетый. Он обычно брал в местном кабаке пинту портера — и уже успел прославиться своей эксцентричностью. В этот поздний период жизни на него указывали пальцем как на человека, "который видит духов и говорит с ангелами"[3].

Однако ж собственный его дух воспрял: впервые в жизни к нему стекались юные "ученики" — они внимали его речам и восхищались его искусством. Группа молодых художников под названием "Патриархи" считала Блейка боговдохновенным пророком — да в их присутствии он действительно обретал вдохновение; спустя многие годы пренебрежения и насмешек он наконец-то нашел достойное общество. Так что в этот период в Блейке обнаруживается больше от человека, или, по крайней мере, больше человечности. В ранние годы он метался от вдохновения к угрюмой замкнутости, его работа и его личность переполнялись скорее энергией, ужасом и восторгом, нежели задушевными, интимными чувствами; на закате жизни он играл с детьми друзей, показывал им свои детские альбомы, рассуждал о домашних любимцах (он всегда предпо-

1. David Bindman. William Blake. Catalogues of the Collection in the Fitzwilliam Museum. Cambridge. — Cambridge, 1970, p. 57.
2. G. E. Bentley Jr. Blake Records. — P. 242.
3. Sophie de Morgan. Three Score Years and Ten. — London, 1895, p. 68.

читал собакам – кошек), а по вечерам напевал столь любимые им простенькие народные мелодии.

Однако важнейшей составляющей его жизни по-прежнему оставался брак. "Бывать в обществе мистера Блейка мне доводится редко, – доверительно признавалась Кэтрин молоденькой подруге, – он ведь все время в раю"[1]. Теперь она одевалась очень скромно и сиживала рядом с мужем, "безмолвно и недвижно", когда он "нуждался в ее присутствии утешения ради"[2]. Один из очевидцев отмечает, что супруги были "по-прежнему бедны и грязны"[3], подразумевая, что они продолжали возиться со своими красками для гравировки. Но теперь, однако ж, они всё принимали с неизменным спокойствием, смирением и мужеством. Кто-то из современников, впервые познакомившись с Блейком, отметил, что тот "выглядит изможденным и подавленным, однако, когда заговаривает о своем любимом призвании, лицо его так и светится"[4].

В день своей смерти, работая над иллюстрациями к Данте, Блейк прервался и обернулся к заплаканной жене. "Погоди, Кейт, – сказал он, – замри как есть – я нарисую твой портрет, ведь ты всегда была для меня ангелом". Закончив этот свой последний рисунок, Блейк положил его рядом и принялся напевать стихотворные строки и гимны. "Любимая, они не мои, – промолвил он, – нет, не мои"[5]. Блейк уже сравнивал смерть с "переходом из одной комнаты в другую"[6], и в конце жизни говаривал жене, что они никогда не разлучатся, он всегда пребудет с нею. Тем воскресным вечером августа 1827 года, в шесть часов, он испустил дух – "точно легкий ветерок вздохнул"[7].

Кто-то может усмотреть в жизни Уильяма Блейка достаточно пафоса и скорби, чтобы назвать ее трагедией. Но самому ему жизнь представлялась иначе: скорее, как воплощение одного из его видений, как ожившее искусство. Потому, возможно, будет уместно завершить наш рассказ о Блейке как человеке одним из его лучших неопубликованных описаний – "Зададимся вопросом: 'А что, когда встает солнце, разве не видишь ты круглый огненный диск, нечто вроде гинеи?' О нет, нет, вижу я сонмы небесных ангелов, распевающих: 'свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель'"[8].

1. G. E. Bentley Jr. Blake Records. – P. 221.
2. Alexander Gilchrist. The Life of William Blake, 2 vols., 1863, p. 359.
3. G. E. Bentley Jr. Blake Records. – P. 232.
4. Там же. P. 249.
5. Там же. P. 502.
6. Там же. P. 337.
7. Там же. P. 337.
8. David V. Erdman. The Complete Poetry and Prose of William Blake. – P. 565–566.

Филип Пуллман
Чем я обязан Уильяму Блейку

Перевод Алексея Круглова

ОСЕННИМ днем 1963 года, когда мне было шестнадцать лет, в нашу школу в сельской глубинке Северного Уэльса, как обычно в начале семестра, приехал книжный фургон, и нам, старшеклассникам, разрешили каждому выбрать по книге для школьной библиотеки. На глаза мне попалась книга "Новая американская поэзия 1945–1960 гг.", и я взял ее, не раздумывая. Я обожал стихи, давно испытав на себе их колдовскую силу, хотя и не был уверен, что они так же действуют на других. Из-за этих сомнений, и немного стесняясь горячности своего увлечения, я старался держать его в тайне.

В то же время выставленный напоказ интерес к искусству, будь то современная живопись, французское кино, музыка Баха или джаз – или всё вместе, – как раз и отличал меня и моих друзей в старших классах от окружающих. Мы считались своего рода богемой, интеллектуалами, почитателями авангарда, будущими битниками. В школе было достаточно умников, блиставших в математике и других науках, но только мы могли гордиться заслуженной репутацией "идейных". Впрочем, идеи и в самом деле нас интересовали, это не было позой, хотя и позой, разумеется, тоже. Это позволяло нам выделяться из общей среды.

Поэтому я был рад найти книгу, будто нарочно предназначенную для того, чтобы утвердить мой желанный статус – достаточно было просто носить ее с собой. Однако и магические чары, в существовании которых мне так трудно было признаться, сыграли тут не последнюю роль. Я мог громко восторгаться тем или иным поэтом, декламировать стихи целыми страницами, до хрипоты спорить о достоинствах Роберта Крили или Джона Эшбери, но все это было лишь необходимой частью битниковского позерства, актом самоутверждения в среде интеллектуальной "богемы". Мое внутреннее "я" тянулось совсем к другому. Меня завораживали стремительные громовые раскаты протяжных строк Аллена Гинзберга,

© Philip Pullman, 2011
© Алексей Круглов. Перевод, 2011

его яркие описания поисков вдохновения среди грязи, убожества и тупого расточительства американской жизни. Тот странный мир пустырей и дешевых забегаловок, супермаркетов и трущоб, автовокзалов и городских крыш, заброшенных полустанков и грязных причалов, казалось, находил отклик в памяти — словно обрывки полузабытого сна.

И в самом сердце одного из лучших стихотворений Гинзберга, "Сутры подсолнуха", мне попались такие строки:

Смотри, вот Подсолнух, сказал он, когда заслонила
небо мертвая серая тень, большая, как человек,
над кучей старых опилок —
я вскочил, изумленный: это был первый подсолнух,
память о Блейке — грезы мои — Гарлем...

Перевод В. Бойко

Память о Блейке... Кто этот Блейк — один из бит-поколения, такой же друг Гинзберга, как те, о ком он писал, — Нил, Джек, Карл? Я не знал, кто они, я даже еще не прочел роман Джека Керуака "На дороге" о тех людях, о тех временах и настроениях, но очень хотел знать. Я уже любил их: они были интеллектуалами, подобно мне. И тот таинственный Блейк, кем бы он ни был, наверняка тоже из них, из тех "ангелоголовых хипстеров, сгорающих ради древнего божественного соединения со звездным динамо в механизме ночи", которых воспел Гинзберг в поэме "Вопль".

Лишь около года спустя я наткнулся на короткое стихотворение английского поэта, родившегося в 1757 году:

Ах, подсолнух, у суток в плену
Солнцу вторивший неутомимо,
Рвался ты в золотую страну,
Где кончается путь пилигрима.

Где юнец, что от страсти зачах,
В снежном саване дева младая
Воскресают с надеждой в очах —
Вот о чем ты мечтал, увядая.

Перевод М. Фаликман

Подсолнух – память о Блейке... Так вот о ком писал Гинзберг! Уильям Блейк! Что ж, тогда понятно. К тому времени я уже был восторженным почитателем Блейка благодаря одной книге, которую получил лет в девять или десять на Рождество, не помню от кого. Она цела до сих пор — большой толстый том в темно-красном переплете из искусственной кожи, уже распадающий-

ся на части, но вполне читаемый. Фамилия автора на обложке не указана, но, надеюсь, гонораром его не обделили, потому что краткие биографии знаменитостей написаны точно и ярко, с юмором и в хорошем стиле. Книгу я полюбил и перечитывал снова и снова. В ней рассказывалось об ученых и изобретателях, писателях и поэтах, вождях и реформаторах, художниках и музыкантах... о выдающихся женщинах, первооткрывателях, полководцах, политиках... Писатели и поэты привлекали меня больше прочих, потому что занятие, принесшее им славу, было ближе всего моим вкусам. К политике я интереса не испытывал, все вокруг давно уже открыли, да и женщиной я не был...

А вот поэты — совсем другое дело. В начало жизнеописания Уильяма Блейка неизвестный автор вставил такое его стихотворение:

В полях был сладок мой удел,
Беспечна юности заря —
Но князь любви меня узрел,
В сиянье солнечном паря.

Венчал лилейной белизной,
Убрал чело румянцем роз
И показал мне рай земной,
Где сад утех златых возрос.

Мне май росой смочил крыла,
А Феб разжег восторгов пыл —
Но сеть из шелка вкруг легла,
И клетки блеск зарю затмил.

Пою пред княжеским столом,
Охотно мной играет князь —
Злаченым тешится крылом,
Над рабством горестным смеясь.

По-видимому, Блейк написал его лет в тринадцать. Для меня оно стало настоящим талисманом, возвращавшим снова и снова то колдовское опьянение, ту сладкую печаль, что остается от самого прекрасного из снов, который и рассказывать никому не рискуешь, чтобы не исказить в памяти. Я полюбил эти стихи, не успев еще толком в них разобраться. Сюжет тут не играл особой роли. Кто-то крылатый, угодивший в клетку, цветущие сады, князь — вот и все, что я понял. Чары заключались в звучании слов, в рисунке рифм, в самой загадочности фраз: если бы кто-нибудь стал услужливо объяснять мне, что "Феб разжег восторгов пыл" означает просто-напросто "солнечный свет пробудил желание петь", я послал бы такого "переводчика" подальше, не желая расставаться с волшебной та-

инственностью. Проникнуть в смысл я хотел сам, без неуклюжей помощи великовозрастных зануд.

Так или иначе, в книге "Сто великих жизней" была добротная биография Уильяма Блейка на целых восемь страниц и репродукция великолепного портрета кисти Томаса Филипса из Национальной портретной галереи в Лондоне. Меня очаровали не только стихи, но и облик самого поэта: пожилой человек с большими темными сверкающими глазами сидит с карандашом в руке, полуобернувшись и обратив вверх уверенный взгляд, полный ожидания. Он выглядит вполне добродушным, но явно занят чем-то важным и не станет тратить время на разговор с ребенком, если тот не может сообщить ничего интересного. Мне не нравилось, когда взрослые слишком тянулись к детям: у взрослых должны быть свои собственные дела. Ясно, что у этого человека такие дела есть, серьезные и достойные уважения, так что восхищаться им я готов был без колебаний.

Других стихов Блейка я не читал, пока не встретил его имени у Аллена Гинзберга, но как только догадался, кто имелся в виду, поспешил наверстать упущенное и купил карманное издание в бумажной обложке, единственное, которое смог найти. Сборник был выпущен издательством "Dell" — цена, 35 центов, стояла на обложке, — что лишний раз напоминало об американце Гинзберге. Не помню, где именно я купил эту книгу, вот она, лежит рядом на столе, когда я пишу эти строки. Дешевая бумага уже пожелтела, корешок переплета потрескался, но этот сборничек всегда будет мне дорог — я не расставался с ним на протяжении нескольких лет. Книга была у меня в кармане и в тот вечер в Сохо, в один из моих редких и волнующих визитов в Лондон, когда я чуть не шагнул под мчащийся автомобиль, не заметив его из-за темных очков — я полагал, что похож в них на Нила, Джека или Карла. К счастью, водитель оказался рассудительнее меня.

Помимо карманного сборника, у меня появилось полное собрание "Поэзии и прозы Уильяма Блейка" — это был школьный приз. Мне снова позволили выбирать, и я попросил издание "Nonesuch Library" под редакцией Джеффри Кейнса. Оно тоже по сей день у меня, лежит под рукой. С этой самой книгой я поднялся по длинной лестнице на башню оксфордского Эксетер-колледжа в комнату своего куратора, чтобы зачитать ему свое первое эссе на свободную тему — конечно же, о Блейке! Не помню уже ни слова из того эссе, не помню и стихи, которые разбирал. Едва ли, впрочем, я выбрал "Ах, подсолнух", потому что не знал бы, что сказать. Пожалуй, не знаю и по сей день. Чаще всего я просто читаю его вслух — только так есть надежда хоть отчасти проникнуть в тайны этих строк.

Читать "Ах, подсолнух" вслух особенно трудно. На первый взгляд, все просто — нет ни Феба, ни восторгов, слова и фразы ясны и прозрачны. Но какую выбрать интонацию? Читать устало, подчеркивая увядание цветка? Мне вообще не нравится "ак-

терский" подход к декламации стихов. Я морщусь, когда улавливаю излишнюю театральность. Нет уж, спасибо, эмоции я могу добавить и сам, дайте мне слова! С другой стороны, читать монотонно, механически тоже нельзя, в голосе должно быть сопереживание — но чей это голос? Того, кто вне времени, кто ведает, что творится в "золотой стране", куда стремится подсолнух, где воскресают юноша и дева, так и не узнавшие при жизни восторгов телесной любви, куда лежит и где завершается путь пилигрима. Говорящий знает все про это таинственное место — в отличие от подсолнуха, так туда и не попавшего.

Так или иначе, это определенно голос Опыта, а не Невинности, если мыслить в терминах "двух противоположных состояний души человеческой". "Песни невинности и опыта", знаменитое собрание стихов, содержащее большинство наиболее известных произведений Блейка, было опубликовано в 1794 году самим Блейком, причем самостоятельно изобретенным методом. Тексты и иллюстрации гравировались травлением на медных пластинах, печатались, а затем раскрашивались вручную. Стихотворение "Ах, подсолнух" — несомненно, часть "Песен опыта", и потому читаться должно голосом немолодым. Оно звучало бы очень странно в устах ребенка.

Кто этот подсолнух — "он" или "она"? В тексте оригинала указаний на это нет. Чуть выше я использовал средний род, как положено в английском языке, — нарочно, чтобы оценить эффект, — и ощущение мне не понравилось. Главное действующее лицо среднего рода чуждо психологии читателя. Похоже, у самого автора цветок ассоциировался с женским образом. В его иллюстрациях к длинной и мрачной поэме Эдуарда Янга "Ночные размышления" встречается изображение подсолнуха, обращенного к колеснице Феба, которая мчится на запад — из цветка возникает женская фигура, простирающая в тоске руки вслед уходящему солнцу. Блейк приступил к иллюстрациям для "Ночных размышлений" вскоре по завершении "Песен невинности и опыта", и представляется вполне возможным, что он целиком перенес туда свой ассоциативный ряд *закат–смерть–тоска–подсолнух*, так что если приписывать женский образ более позднему подсолнуху, то, вероятно, и раннему тоже. В "Песнях опыта" содержится еще одно указание: "Ах, подсолнух" помещен на той же странице, что и два других стихотворения о цветах: "Моя прекрасная роза" и "Лилия", и в обоих ясно говорится "она" и ее". Будь подсолнух "мужчиной", это выглядело бы контрастом и уж точно требовало бы специального уточнения.

Однако имеет ли это какое-нибудь значение для того, как читать стихотворение вслух? Я считаю, что да, ведь в сознании создается определенный образ, который не может не повлиять на интонацию чтеца. Это не любой подсолнух, а "my Sun-flower" — тот, о котором автор думает, заботится.

Теперь возьмем "юнца, что от страсти зачах", и "в снежном саване деву младую": они воскресают, встают из могил, как назначено всем христианам. Воскресение плоти — это ключевая идея христианской доктрины. Но куда они затем стремятся, на что надеются? "Aspire" оригинала помимо стремления имеет и более старый, первоначальный смысл возвышения, взлета. Получается, что "золотая страна" сама по себе — все-таки не конечная цель путешествия, юноше и девушке предстоит дальнейший путь — но куда, к каким высотам? Ясно лишь одно: они не успели вкусить плотских радостей — так может быть, это и есть их вожделенная цель, такая же, как и у подсолнуха, получившего половую идентификацию? "Моя прекрасная роза" и "Лилия" с той же страницы персонифицируют или, вернее, "флорифицируют" любовные отношения, и опять-таки странно было бы оказаться исключением подсолнуху, помещенному между ними на той же странице "Песен опыта".

В любом случае, "Ах, подсолнух" — стихотворение крайне сложное, хоть и короткое. Внешняя простота маскирует истинную глубину. Когда я перечитываю его вслух, точнее, читаю по памяти — а многие стихи Блейка запоминаются чрезвычайно легко, — то стараюсь говорить просто — не легкомысленно, не торжественно, но серьезно, как бы размышляя о важных вещах. Такие стихи требуют внимательного, продуманного подхода. К примеру, слова "от страсти зачах" и "в снежном саване" нельзя произносить бегло, в одном тоне с "юнцом" и "девой", а следует выделить легкой паузой, подчеркивая их значение. Знаков препинания в оригинале нет, они слишком неуклюжи, такую паузу на письме не обозначишь. Тем не менее, это надо чувствовать, как мы чувствуем джазовый свинг, практически не передаваемый в нотной записи. Таким образом, при чтении вслух необходимо как можно лучше понимать смысл слов и не переставать думать о нем.

"Ах, подсолнух", как оно свойственно всем великим стихам, не выходил у меня из головы с того момента, как я его впервые увидел. Однако наибольшее впечатление у Блейка на меня произвели не стихи, а одно из его творений в прозе, неповторимое "Бракосочетание Рая и Ада". Этот не сравнимый ни с чем шедевр, созданный в начале 1790-х, изобилует афористичными умозаключениями поистине революционной силы:

Тропа излишеств ведет в палаты мудрости.

Благоразумие — это богатая уродливая старая дева,
которую обхаживает Бессилие.

Кто желает, но не делает, плодит чуму.

Тюрьмы строят из камней закона,
бордели — из кирпичей религии.

Всё бесспорное прежде существовало лишь в воображении.
Тигры гнева мудрее кляч назидания.

Червь отложит яйца на лучшие листья,
священник наложит проклятие на чистейшие радости.

Лучше удавить дитя в колыбели, чем лелеять неисполненные желания.

Понятно, что такого рода идеи действуют на юный ум неотразимо, и я был, конечно же, совершенно очарован. Однако со временем другие места из "Бракосочетания" увлекли меня еще больше, в особенности раздел, озаглавленный "Голос Дьявола", который в значительной степени отвечал моему собственному растущему убеждению, что "материальное" куда интереснее "духовного":

Библии и прочие священные тексты стали причиной следующих заблуждений.

Что в человеке два реально существующих начала: Тело и Душа.

Что жизненная Сила, которую считают Злом, исходит лишь от Тела, а Разум, который есть Добро — лишь от Души.

Что за следование велениям жизненной Силы человек обречен Богом на вечные муки.

"Бракосочетание Рая и Ада" — произведение революционное, вполне отражающее настроения той эпохи, в которую было написано: по ту сторону Ла-Манша тогда вовсю пылала Великая французская революция, Война за независимость Соединенных Штатов только что завершилась, моральное и интеллектуальное брожение нарастало. Блейк, как убежденный защитник свободы, ответил на события своего времени поэмой "Америка", и такая публикация в 1793 году требовала определенной смелости:

Истлела ночь, встает рассвет, с постов уходят стражи.
Гробы разверсты, смерти нет в смердящих пеленах,
И жалкий прах, мешок костей, иссохших жил и плоти
Дрожит, вздымается, живет, дыханьем упоен —
Как пленник, чья разбита цепь и кандалы разбиты!
Пускай же изнуренный раб отбросит тяжкий труд,
Пускай, смеясь, идет в поля, где тих небес простор.
Пускай бедняга, что вздыхал, неволей удрученный,
Чей лик за тридцать долгих лет улыбкой не расцвел,
Восстанет, очи обратит к воротам, в мир открытым,

Где дети и жена его забудут свист бича.
К свободе двинутся они, оглядываясь в страхе,
Что все лишь сон... но шаг, другой — и песню заведут:
"О, Солнце, ты сразило мрак! О, свежесть лунной ночи!
Настал Империи конец — ни Волка нет, ни Льва!"

Америка: Пророчество, лист 6

Процитированный отрывок включен в мой карманный сборник Блейка, который давно уже сам раскрывается на этой странице. Не знаю лучшего гимна свободе, чем эти величественные строки.

Я читаю Блейка в течение уже почти полувека и главным образом благодаря знакомству с поэзией Аллена Гинзберга как раз в тот момент, когда мой ум был готов к этому. Мое пристальное внимание привлекает то одно, то другое из обширного блейковского наследия — так, в последнее время я с растущим восхищением перечитываю "Изречения невинности", удивляясь столь глубокому пониманию связи между большим и малым, всеобщим и личным:

Цепного пса голодный вой
Грозит разрушенной страной.

Юнца, что муху зря прибьет,
Паучья злоба в жизни ждет.

Игрок и Шлюха, коль вольны,
Вдвоем решат судьбу страны.

И счастье Игрока, и злость
В гроб Англии вгоняют гвоздь.

Несколько лет назад Блейковское общество, которое я имею честь возглавлять, попросило меня прочитать лекцию в церкви Святого Иакова в Лондоне, где был крещен Уильям Блейк. Воспользовавшись случаем, я решил кратко сформулировать некоторые из своих самых глубоких убеждений и продемонстрировать, как великий визионер сумел выразить то же самое, но с куда большей ясностью и убедительностью, чем было бы по силам мне. Вот они.

Физический мир и материя, из которой мы состоим, полны любви и радости по самой своей природе. Каждый атом испытывает любовь к другим атомам и радостно соединяется с ними, образовывая все более сложные и восхитительные общности:

...и ты познаешь мир живой, где и пылинки радость источают.

Европа: Пророчество

Из любви материи к материи возникает нематериальное. Невообразимая сложность мозга порождает мысли и чувства, которые, хоть и имеют подобие в материальных процессах, сами не материальны. Невозможно сказать, где кончается одно и начинается другое, ибо каждое есть проявление другого:

У человека нет Тела, отдельного от Души — то, что называют Телом, есть лишь часть Души, доступная пяти чувствам.

Бракосочетание Рая и Ада

Возникновение сознания из материи свидетельствует о том, что сознание есть нормальная составляющая физического мира, и распространено оно гораздо шире, чем полагают люди:

Как знать, может быть, в любой птице, летящей в вышине, сияет безмерный мир восторга, недоступный вашим пяти чувствам?

Бракосочетание Рая и Ада

Главный источник жизни — это энергия, в отсутствие которой счастье, красота, интеллект, добро — не более чем вялые никчемные иллюзии, чахнущие от нехватки живой крови:

Жизненная Сила и есть сама жизнь, и происходит она от Тела, а Разум привязан к Силе и служит ей оболочкой. Жизненная Сила — это Вечный Восторг.

Бракосочетание Рая и Ада

Мысль, сознание, работа и постижение истины — это проявления жизни, которым необходимо свободно дышать, как и всякому живому существу:

О, Солнце, ты сразило мрак! О, свежесть лунной ночи! Настал Империи конец — ни Волка нет, ни Льва!

Америка: Пророчество

Истинный объект познания и действия творческой личности — это человеческая природа и ее связь со всем мироздание:

Являясь, шлет Господь лучи
Несчастным, что живут в ночи,
Но к тем, чей света полон дом,
Придет Он в Образе Людском.

Изречения Невинности

Работа, которую мы выполняем, имеет высший смысл:

Творения времени пробуждают любовь вечности.

Бракосочетание Рая и Ада

Это принципы, которых я придерживаюсь в своей работе.

Я понимаю, что, написав о том, чем я обязан Уильяму Блейку, я не уделил должного внимания ни самобытности его художественного дара, одного из самых мощных и незаурядных, рожденных Англией, ни его жизненной стойкости. Бедность и безвестность преследовали Блейка в течение всего жизненного пути. Нас бесконечно трогает судьба поэта и художника, получившего мировое признание лишь после смерти, однако Блейку — помимо того что он прожил жизнь в долгом и счастливом браке — было чем утешиться. Он каждый день видел рай, беседовал с ангелами и, наконец, сам знал цену своим трудам — одним из тех творений времени, что пробудили любовь вечности.

Саша Дагдейл

Радость

Три монолога

Перевод Марии Фаликман

I

Темная сцена. Женщина в кресле-качалке: Кэтрин Блейк.

Тишина.

Я им здесь не нужна... я им не нужна...

Я же старуха, мешаю им, путаюсь под ногами.

Неряха. Дряхлая сиротка, которой и будущего-то не положено.

Воробышек, паук, пустое место.

Ни на что не гожусь. А из ничего и не выйдет ничего. И из меня уже не выйдет ничего. Ничего, кроме тьмы.

Вот оно как. И всегда было так. Расставанье.

Мы расстались.

А струны наших душ все тянутся, звенят.

Как слезы. И внезапно рвутся.

Я просто рваная рубаха... Рубаха бедняка, и пара шерстяных чулок, и латаное пальтецо, снятое с покойника... Ветерок подует — а я уж трясусь. И никому не нужна...

Знай твержу себе: не болей, не болей, не болей-ка...

Девять дней я трудилась, девять дней и ночей трудилась, а на десятый день он запел и дал мне свободу. И что это была за свобода — плетеная корзинка для ракушек. Что за свобода — лоскутное одеяло из неска́занных слов... (*Оглядывается.*)

Чужая кухня, зимний свет.

Чайки под облаками. Эй, не болей-ка.

Лондон, чужой очаг. Моя свобода — чей-то очаг в его городе. Десятый день близится к концу. А ну, не болей-ка.

А он ушел, сбежал, распевая, в такие края, куда мне ходу нет. Его ангелы сошли к нему, и он им запел, а они сказали, что он им нужен больше, чем мне... Немилосердные, немилосердные ангелы... Немилосердные ангелы, ничего они не знают о людском отчаянии... А он пошел за ними. Кивнул, заговорил кротко — и вот его уже и нет... только запачканный воротничок да теплая постель. А у ангелов были такие длинные крылья, острые, слов-

© Sasha Dugdale, 2011
© Мария Фаликман. Перевод, 2011

но шпили, нет, паруса, белей парусов королевской эскадры в порту. Вот они и забрали его с собой, правда, сама я их не видела, но точно знаю, как они выглядели, ведь разве же он не провел всю свою жизнь с ними да со мной? То они являлись в белом, как благонравные детки, то в образе знатных дам, да только босые, а шеи их розовели, и руки, и даже локоны. Огненными мечами были их вздохи, а улыбки их были лучами света. Он улыбался мне, словно хотел сказать: жаль, мол, что ты не видишь, какие они милашки в мой последний, в мой смертный час, — вот о чем я жалею, так и не смогла их увидеть, и никогда не могла.

А потом пришли эти люди и забрали все его вещи, а я могла бы продать, и лак, и медь, и краски, ловкости мне не занимать, но они сказали, чтобы я в своем горе не волновалась, мол, они меня всем обеспечат, а чего меня обеспечивать, если я ем как птаха, и с хозяйством пока справляюсь, и вообще я им не нужна, я им не нужна и никогда не буду нужна, никому не буду нужна так, как ему.

Я была ему нужна, была желанна. И его желание ушло вместе с ним. Вот так всегда и случается. Когда я еще девчонкой видела идущих за гробами вдовиц в черных капорах, разве могла я удержаться от смешка, ведь мне, черноглазой и черноволосой, не грозило никакое вдовство? Я бегала на свидания в Баттерси, где резкий ветер с реки срывает капоры и вырывает из рук платки, сбивая с ног этих старых паучих, плетущихся за своими катафалками. А ведь я и была тем самым ветром. Безжалостным ветром... (*Беззвучно смеется.*)

И я ему сказала, что мне его жаль! Соврала. Соврала так, что любо-дорого, ибо никто, никто в Лондоне не стал бы его жалеть. А он в ответ, что не прочь меня полюбить — ловко это у него вышло, как потом и с моим вдовством — пожизненным моим клеймом.

Я могла бы пришивать черную ленточку к одежде каждый божий день. Сюда... и сюда... и сюда... (*хватает себя за плечи, потом за грудь*) ...и вот сюда... ибо страшное мое вдовство стало для него делом всей его жизни.

...Ушел. Распевая. Как простить ему это пенье?.. Радовался, словно плод, покидающий ветку. А ветка больше не нужна!

Он меня создал. Взял меня, словно чистый лист, и вдохнул в меня целый мир. Вложил мне уголья в уста и осыпал волосы мраморной пылью, и теперь я бела, словно один из его ангелов. Но я не ангел. Корни мои в земле.

Вот я и злюсь.

Злюсь. Полнюсь злостью, как болью, и твержу себе: не болей-ка!

А в груди моей вьется, клубится стон.

Какое право ты имел? Ты, отпустивший с мельницы на волю цепных рабов, что устремились с песней в поля, а следом за ними отпустивший и школяра. Ты, превративший их узы, и цепи, и надсмотрщиков в прах...

А я осталась. Твоя спутница... твоя Кейт... прикована к праху.

Эй, не болей, не болей-ка!

Те, кто призрел меня во имя твое, почитали тебя и любили. Когда они впервые к нам пришли и постучали в дверь, приняли меня за твою служанку. А один из них поднес к губам шнурок от дверного звонка и поцеловал. Такие юные, такие смешные! Они преклонялись перед тобой, ты просто-таки раздувался от гордости, а я их тогда любила.

А теперь ненавижу. Насмехаются надо мной — то взглядом, то жестом. Лишь подчеркивая, что тебя больше нет.

Чем больше здесь их, тем меньше тебя.

Где же ты? Куда ты ушел?

Эй, муженек!

Твоя смерть приходит и давай меня наставлять.

Голос у нее то вкрадчивый, то резкий.

Она меня обнимает белыми руками и говорит:

Думай, женщина! Думай обо мне.

Я — сама внезапность.

Я шорох ножниц, кроящих холст, шуршание осыпающихся обрезков.

Я цвет наизнанку, поэзия наоборот.

Я очищаю от прошлого, словно от хлама.

Осушаю стоячую воду, превращаю древо твоей памяти в пень.

Выброс из сердца этот портрет. С ним будет только больнее. Отверни его лицом к стене.

Думай обо мне! Не думай о нем.

Пауза.

Больнее, только больнее. Эй, не болей-ка!

Пауза.

И я отвечаю: нет. Оставь мне мое отчаяние.

Я желаю, чувствую, плачу, и плач мне в радость.

И все помню. (*Тяжело вздыхает.*)

Помню, сколькому ты меня научил. Мы познакомились тысячу лет назад, и ничего тут странного, ведь ты умел поторапливать время и выпускать его из скорлупы, чтобы оно росло, да, ты знал, как обходиться со временем, и еще кучу всяких премудростей, и как подзаборный чертополох превратить в небо, порошок — в цвет, медь — в линию, а буквы, что подобно бесенятам скачут по странице, — в мысль. Но меня ты не укротил, разве что в любви. Хотя как-то раз я бранила дражайшего Роберта, твоего братца, и ты сказал, что навсегда исчезнешь с моих глаз, если только я не опущусь перед ним на колени, дабы испросить прощения.

Ох, и трудно мне пришлось поначалу, ибо я была полна решимости одержать победу в этой борьбе, а потом ты сказал, что я бо-

ролась с собственным ангелом, неужто я не видела: лик его был ясен как день, и застыла на нем та же обида, что и на моем лице.

Нет, изумленно ответила я, какой такой ангел, и тогда ты нарисовал мне его на клочке бумаги, словно мы с ним были одно, и были крылаты, а крылья наши походили на ручку чайника, и ты обхватил меня обеими руками и сказал: гляди, он тает, как соль, поборись теперь со мной, — но борьба превратилась в танец, и мы кружились, пока бутылки на полках не зазвенели, и смеялись, смеялись, не в силах остановиться.

Так ты освободил меня от ангела и поделился своими премудростями, и дал понять, что незачем мне перед тобой лебезить и что я тебе ровня в любых домашних делах, и с тех самых пор ты дал мне свободу, поначалу только раскрашивать, а потом позволил и рисовать, и я рисовала с великой охотой. А еще сшивала и переплетала твои книги, резала холст, полировала медные пластины, разводила чернила и гравировала наравне с тобой.

Помнишь мои руки? Вот, взгляни!

Ты говорил, что это руки мастера.

Куда бы их деть? (*Трет руки об одежду.*) Они не привыкли без дела лежать на коленях. Воздух их разъедает. (*Кладет руки на колени ладонями вверх.*) Два искореженных сосуда, из которых час за часом утекает мастерство...

А когда-то трудились весь день напролет, запоминая каждое движение. И он трудился рядом со мной — то работал резцом, то изготавливал отпечатки. Не припомню, чтобы рука его дрогнула, чтобы он задумался, что, как или зачем. Он сочинял, рисовал и писал, как если бы что-то свыше водило его рукой, а я раскрашивала и порой рисовала, словно моею рукой водил он, и оба мы были смиренны, ибо были чьим-то орудием и были равны в своем ученичестве.

Пауза.

Для смерти не оставалось времени. Нет, она могла к нам даже не соваться. Ага, попался, говорит смерть, стоит тебе остановиться. Вот почему дети не умирают, они слишком шустры для смерти, просто проскакивают мимо, а если нет, к ним спускаются ангелы, чтобы их освободить. Он часто их созывал, этих невинных созданий, и рисовал их крошечные портреты на клочках бумаги.

Как я мечтала о детях.

Мечтала и мечтала. Сколько раз я в мыслях ерошила их пушистые волосы, притягивала к себе невесомые, бесплотные тельца, усаживала на колени, и качала, и тешила как могла. Но не для того создал меня Господь. А создал Он меня для того, чтобы я стала орудием и спутником.

И возлюбленной.

Не суждено мне было родить ему дитя, он сам и был мое дитя, а я — его, и были мы друг другу брат и сестра, родитель и чадо, муж и жена.

И когда по ночам мы любили друг друга, любили втройне. За все поколенья, за женщин и за мужчин, презрев любые запреты.

И в любви мы были единым целым.

Я знать не знала, что такое любовь. Да и он не знал. Мы учились друг у друга, он сидел, погрузившись в тягостные раздумья, и вдруг принимался плакать, что соткан из похоти.

Но тут уж я знала лучше.

Я была мудрее, и брала его за руку, и говорила:

Меж двух свершений зреет нега[1].

Он глядел на меня сияющими глазами и восклицал: о, разве это может быть грешно!

Любовь щедра, чего нам стыдиться?

В такой любви нет места стыду, а если что и постыдно, так это любовь к себе, что полнится завистью.

Та, что лупает глазами-плошками на остывшее супружеское ложе.

А на нашем узком ложе всегда тепло.

Он говорил порою: здесь возлежат два бога, невиданных досель.

Приди, возляг со мною, Кейт, приди ко мне в постель.

Пауза.

(*Вздрагивает.*) Приди ко мне в постель.

Пауза.

Пуста моя постель. Где ты теперь?

Пуста моя постель.

Они поставили для меня кровать на первом этаже, говорят, мне трудно подниматься, и постель моя бела и чиста, и я послушно в ней лежу и понимаю, что быть ей моим саваном.

Старухе не спится.

Дайте ей валерьянки.

Старухе не спится, мешают воспоминания.

Дайте ей морфия.

Старуха — остывший камень во мраке.

Верните ей солнце.

Пауза.

Стены безмолвствуют. Слышен лишь стук часов.

Закончился сон, исполненный цвета и радости

Вижу его лицо: он и пастырь, и дударь, и бог

1. У. Блейк "Пословицы Ада". Если не указано иначе, строки из произведений У. Блейка даны в переводе М. Фаликман. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Вижу, как он наклоняется к каминной решетке и разводит огонь, словно падший демон

Вижу, как слушает ветер и печалится

Вижу гнев и страдание, пыл и скорбь

Мириады огней старого Лондона

А вот прорастает трава, тихо-тихо, я так и вижу этот цвет — не сыскать пронзительней и точней

Цвет мирта, цвет зерна, цвет летней ночи

Тысячи тысяч летних ночей

Дети плетут ромашковые венки, украшают поверженных идолов

Он плакал, плакал и выплакал больше слез, чем ему досталось дней

И никогда не запирал дверь, чтобы не отпугнуть ангела от нашего порога

И каждое утро макал свою кисть в ярость и кротость

И через него величайшее пробивало себе дорогу

Точней наиточнейшего расчета

И верней любого компаса

Но никто не мог сказать, можно ли сделать точней и верней

И никто не мог понять, почему не бывает точней и верней

Но я-то знала, я знала

Он был глаз, и глаз этот плакал, глядел с укором, смеялся

Глаз следил

Глаз слезился

Мир был соринкой в этом глазу

А соринка — миром

Кисть разила, как меч, разливались слезы, как море —

Море боли, но я твержу: не болей-ка!

Пауза.

Друг единственный и единственный соучастник этих радостей, помню, как-то раз он читал мне на летней веранде, как вдруг постучал мистер Баттс и вошел, не дождавшись ответа, и узрел нас нагими, мы всегда так лежали в теплый денек, было видно, что бедняге не терпится поведать об этом всем в доказательство того, как дико мы живем, хотя мне наша жизнь никогда не казалась дикой, а казалась разумной, лучилась священной трезвостью, что с непривычки могла показаться безудержной радостью

Уильям поднялся и поклонился в ноги глазевшему на нас Сатане и говорит: добро пожаловать в наш сад, сэр. У Сатаны было печальное круглое лицо, похожее на мельничное колесо, вид у него был усталый и опечаленный, а шею обвивал радужный змей, но увидев, что мы не хотим его обидеть, он поклонился в ответ и превратился в облачко дыма

А мистер Баттс вошел и вкусил винограда

Пауза.

Не бойся, Сатана, сказал Уильям, мы тебя не обидим

Так мы и жили
Война носилась из года в год, как по осени сорное семя
Литейщики отливали ядра для пушек, ткачи ткали паруса для боевых кораблей
Всадники учили коней мчаться навстречу смерти
И повсюду — в школах и в храмах, среди всей этой круговерти
Мертвецы отмеряли шаг, все проворней, все веселей
И когда об этом шли разговоры, словам было больно, слова хотели мира, хотели милости, света и божества
И в этой-то кутерьме — неожиданный воздух в Ламбете, на Саут-Молтон-стрит, на Фаунтин-корт, яростный вихрь невинности, такой слепящий свет, что насилие пошатнулось, насилие отступило
паук, и червь, и жук устремились к этому свету
а насилие бежало прочь
при этом свете муравей
отыскивал своих детей
а насилие бежало прочь
И я тянулась к свету
А он был свет

Пауза.

Кем была я? И кем был он?
Не знаю!
Кем был он?
Не знаю!
Был ли он? Был или нет?
Годы промчались в мгновение ока.
Пролистаны до конца, словно страницы в книге.
Дни вернулись в начало.
Был ли он? Или я его придумала?
Неужели мои придумки породили меня саму?
Кто же я? Кто я?
Пустое место, пшик, и все же кто-то.
Страшно-то как.

Пауза.

И сил не осталось.
Я — старуха, которой только и дела, что твердить себе: не болей-ка.
Полниться болью, но повторять: не болей-ка

Старуха на некоторое время утихает, опустив голову на грудь.

Если нет во мне ничего, то что же стучит?
Я — (*Медлит.*)
Я —
Ну же!
Высохший плод в траве под деревом, сбросившим листья

Воспоминанье без вдохновенья
Сорванная ромашка, которой уже не расти.
Воспоминанье
Пересохшее русло реки
Без вдохновенья

(*Испуганно.*) Зачем я копаюсь в себе? Чтоб отыскать его. Но ведь это уже не он?

Лишь рассказ о нем. Не пойдет. Нужно явить его самого.
Пусть он пребудет вовеки.

Пауза.

Его песня звенит во мне. Это моя песня?
Или я — его песня?
Была одна песня, он ее пел, но я ее пела лучше
И был узор, который он научил меня видеть
И я его видела тоже
Едва заметный узор, бледный, как тело
Струящийся в локонах, в линиях рук и ног
Искажали его лишь рожденье и смерть, боль и страх
А в саду любви и неги он был безмятежен
Я глядела на тебя искоса, а ты меня не замечал

Беседовал, значит, с ангелом, что позировал для Микеланджело, я видела, как ты понимающе кивнул, и этот кивок отбросил меня в стан вероотступников, я лежу в траве, а вокруг пустыня, и даже сам дьявол прошел бы мимо, но мой отец-садовник окинул взглядом землю и крикнул мне, что даже пустыня может кормить Баттерси, если ее как следует унавозить

Я хочу видеть!

Тогда молись.

Но стоит мне приступить к молитве, к этой долгой мысли, что уходит в поры сознания, как ручей в песок, пока все слышимое не станет святыми подземными водами,

стоит мне приступить к молитве,

как на ум идут поручения и покупки, и новая пемза, и кулек табака для Уильяма, и что красная краска похожа на кровь, и когда наконец соседи перестанут браниться, и не забыла ли я положить еды блохастой ободранной кошке, что свернулась под лондонским солнцем на нашем ветхом крыльце

Молись!

Ангел взмывает в небо, это был Гавриил, говорит Уильям, он слишком занят, чтобы тут у нас задерживаться, а небеса сияют, это Гавриил расправляет над Темзой крыла, подобно огням фейерверка

Я хочу видеть!

Так молись.

Но у меня хоть кол на голове теши, и нет в ней лазейки ни для молитв, ни для ангелов, а внутри бурлит ревность

Что ж, тогда пой, говорит Уильям, или рисуй, или иди сюда и поцелуй меня

И мы рисуем, рисуем часами, и вот он рисует мне свою эманацию, мрачную, похожую на мотылька — сидит на цветке мотылек-вероотступник, мотылек-страстотерпец.

Я хочу видеть!

Молись.

Пауза.

И я обещаю тебе, что в один прекрасный день ты увидишь!

Ха!

Обещаю, Кейт, — и он обхватил меня и зашептал: держись добродетели, держись крепче,

и кто же из нас теперь ангел?

Ты, Кейт, ты и есть ангел.

Пауза.

Но мы были дьяволово племя
Похотливые, гневливые, нагие
Легкость птицы, приземленность червя
Истина! Выплаканная в запредельной радости
Истина! Так и не понятая, лишь принятая на веру
Я ничего не понимала (он выбрал меня не зря)
С самого начала я лишь верила, а он вдыхал
в меня веру, веру, веру
И мне было чем дышать
Верь верь верь
Я верила верила верила
Но так и не видела.

Пауза.

Врозь. В разлуке
А разлучники наши — Моисей,
Петр и Павел, сонмы и сонмы ангелов,
плясавших у нас в мастерской и в изголовье нашей постели,
глазевших на нас с подоконников и с дверных косяков

Данте, Мильтон, Шекспир, важные, словно гуси, которых мы не едали

он с ними был на равных
Фра Анжелико, Рафаэль —
он привечал их один
один один
Он с ними раскланивался
а я так и не видела
Лишь дышала
верь верь верь
одна одна одна

Пауза.

Что-то мне нечем дышать
Неужто я всегда была одна?
Или только теперь?
Или был лишь он?

Пауза.

(*Шепчет, словно издалека.*) Кейт, держись за меня крепче, Кейт...

Уильям! Где ты?

Помедли, Кейт! Вот так, вот так. Знаешь, ты всегда была моим ангелом, Кейт...

Уильям!

Пауза. Темная кухня. Старуха.

(*Шепчет.*) Уильям...
Ворон каркал, что любовь не будет вечно длиться,
Но ты была орлица, и голубка, и синица.
Уильям...
Я была...
Я была – ангелом?
Возлюбленная Кейт.
Ты меня не слушала?
Скорбела и не слушала?
Уильям.
Послушай, Кейт.
Мы никогда с тобой не расстанемся.
Слышу, Уильям, слышу...
Вижу.

Темнота.

II

За столом, завернувшись в плед, сидит мужчина: Александр Гилкрист. Он пишет и время от времени кашляет.

...Подводя итоги, можно сказать, что со времен... Рембрандта... Нет, Дюрера... Что со времен Альбрехта Дюрера и Рембранта мир не знал столь удивительных... удивительных? Примечательных. Мир не знал столь примечательных гравюр на библейские темы... (*Откладывает в сторону перо. Перечитывает, бормоча себе под нос.*)

Боже, что за чушь. Болтовня, да и только. (*Передразнивает свой собственный выспренний стиль.*) "Столь примечательных... Со времен..." Вот до чего я докатился. Сухо, скучно. Просто казенный адвокат какой-то. Или школьник, что уселся писать сочинение. Превращаю золото в свинец. Разве к этому я стремился?

Куда делось золото, Александр? Где истина? (*Закрывает глаза. Из горла вырывается кашель.*)

А истина в том, что я и думать-то почти не могу. Голова раскалывается... До чего же хочется пить... (*Отпивает воды.*) Вот так-то лучше... Вернемся к истине. К восторгу. Вспоминай, давай-ка вспоминай, как это было... что ты тогда чувствовал...

Голос за сценой. Папочка!

Не сейчас, заинька. Я работаю! Вот закончу и приду.

Папочка!

Дорогая моя, я же сказал, что занят. Пойди отыщи няню.

Няня спит!

Господи. Неужто снова наклюкалась? Так дело не пойдет... (*Вновь повышает голос.*) А ты можешь лечь сама? Я скоро закончу. И тогда приду и почитаю тебе, честное слово.

Молчание.

Что же мне делать? Надо будет ей сказать, что еще раз — и я ее уволю. Но где же найти другую? Это же нужно время, чтобы с ними встречаться, читать объявления, а времени нет ни минуты... А бедняжка Энн уже просто вне себя... Боюсь, нам придется немножко потерпеть... во всяком случае до тех пор, пока я не закончу рукопись и не передам ее издателю. А пока будем продолжать в том же духе, ковыляя от одной напасти к другой. (*Закрывает лицо руками.*)

По меньшей мере.

По меньшей мере, у нас есть крыша над головой, и у меня есть Энн. А малютка Беа наконец пошла на поправку... Вот она, истинная радость. Хоть в чем-то повезло.

Да и разве то, что выпало на мою долю за эти недолгие годы, сравнимо с нищетой и забвением, в которых он жил до конца своих дней? У меня есть друзья. Есть издатель. Есть читатели, которые ждут выхода моей книги. Нет-нет, я должен благодарить Господа за счастливый жребий.

Пауза.

Родиться в наши дни — сама по себе удача. Сто лет назад Британия была не та. Выжить в ней было труднее.

А пережить резню во Франции... Бесконечные войны.

До чего же болит голова.

Пауза.

За дело! А ну-ка, соберись, Александр. Ты же почти закончил. Выбрось все прочь из головы и возьмись за дело. Книга Иова... Вот только где...

Книга Иова. (*Смеется.*)

Однако же, тончайшая ирония. (*Смех перерастает в приступ кашля.*) Возьми себя в руки.

Пауза.

Надо бы вернуться к книге и вновь ее посмотреть. Иного средства нет. Вернуться и смотреть, смотреть, смотреть. А по-

том описать увиденное наияснейшими, наипрозрачнейшими словами. И если так поступить, если быть предельно честным и сосредоточиться на самой вещи, только тогда может произрасти нечто большее, нечто важное и значительное, и вместе с тем невесомое и волшебное. Оно растет по собственному произволу, захватывая и сердце, и душу, и разум.

И когда я предаю его бумаге, прочие слова краснеют от стыда, ибо в нем живет истина, а в них — нет. *Истину нельзя рассказать так, чтобы ее поняли; надо, чтобы в нее поверили*[1]. Как обычно, лучше мистера Блейка не скажешь... (*Откладывает лист бумаги в сторону, раскрывает книгу.*)

Истине всегда поверят.

Пауза.

Что за дивный рисунок!

Иов с женою сидят бок о бок, их сблизило горе. Покинутые родители, лишившиеся детей, единственной своей отрады. Несчастья окружили их плотной стеной, —

порою мне кажется, что вот так же они окружили меня, — но Иов не колеблется ни минуты. Преломив хлеб, он протягивает кусок нищему. А в образе нищего воплощен сам Господь: та же струящаяся борода, тот же мощный торс!

И вот Иов вкладывает ему хлеб прямо в ладони, а вторую половину оставляет для другого несчастливца, хотя его собственное положение ничуть не лучше. А жена жмется к нему, словно дитя, но ее большое лицо напоминает лица святых на соборных фресках.

Записать. Скорей записать.

Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных?[2]

Так говорит Иов, а Блейк помещает его слова прямо над рисунком, и они для меня как укор. А Господь глядит в печали и размышляет, как если бы слышал речи Иова, и тяжело у него на сердце, и молвит он Сатане:

(*пауза*) вот, он в руке твоей, только душу его сбереги[3].

Пауза.

Сатана, последнее время мне кажется, что это я в твоей руке.

Рассудок мой затуманен. Передо мной одна-единственная задача, но я запутался в ней, словно птица в силках. Выбора нет: я должен закончить. Должен освободиться.

Пауза.

Денег нет. Дети болеют. А бедняжке Энн приходится нянчиться с ними в одиночку. Она даже не пускает меня к Беа. Как давно я не видел малышку...

1. "Пословицы Ада". Перевод С. Маршака.
2. Иов. 30:25.
3. Иов. 2:6.

Я все понимаю, я должен закончить книгу, а если слягу, то одному только Богу ведомо, как мы выживем.

Но дьявол приходит ко мне и нашептывает на ухо, заставляя меня сомневаться.

А что, если Беа умрет? (*Хватается за голову.*) А что, если она умрет, а тебя не окажется рядом?

Невыносимо.

Нет уж, хватит! Гони ее прочь, эту мысль! Работай. Вглядывайся. Не думай. Ни о чем не думай. Делай, как велит жена. Блейк, Блейк и еще раз Блейк.

Закончи Блейка.

Закончи Блейка, выполни свой долг перед ним.

И перед собой.

Послушай, ведь этот труд тебе не в тягость. В гении Блейка ты черпаешь вдохновение. Разве каждый день не дарил тебя радостью, истинной, чистой радостью? Когда ты подбирал слова, чтобы воспеть его гений?

Помни о радости своего труда. Помни о радости!

Помни, зачем ты пишешь.

Зачем ты взялся за перо, Александр, если не поведать всем и каждому об этой радости? Что скажут о тебе дети, если ты не выполнишь свой долг?

Пауза.

(*Возвращается к иллюстрации.*) Сатана извергает огонь, который вот-вот охватит ангелов.

Держит склянку с огнем, словно солонку

трясет ее над Иовом, посыпая его раны, пусть страдает не только духом, но и телом.

Чирьи. Язвы.

Низвергается Сатана, раскинул ноги, ярость клокочет в груди, но лик обращен к Творцу. Безысходный, изнуряющий страх.

Посмотри на них: Господь и Сатана, отец в печали и бессилии следит за падением сына, тот исполнен гордыни и страха. А внизу Иов с женою не теряют твердости духа.

Вот он, Ветхий Завет, его неистовство и абсурд.

И вот как Блейк разместил их на странице. Весь абсурд наверху, Господь и Сатана тягаются — кто кого, ангелы, как малышня в детской, замирают в сладостном страхе: ох, и бойня сейчас начнется! Святая любовь... Лживая, разрушительная любовь... Святая любовь: Зависть, Месть и Жестокость.

Перевернем страницу вверх ногами: наверху окажется Иов, и все встанет на свои места. Иов с женой в ответе за мир. Благочестие, стойкость и милосердие.

(*Перелистывает страницу.*) Иов и его прекрасные дочери.

Пауза.

Помнишь, как ты увидел их впервые? Как потрясла тебя эта красота?

Ты был молод. Вроде не так давно. Но до Энн и до детей. До всего-всего...

Узнаешь себя в молодом человеке, что шагает по Стрэнду?

(*Вспоминает.*) Я учился на юриста. Каждый божий день шагал по Стрэнду. Ходил мимо Фаунтин-корт и знать не знал, что был такой человек по имени Уильям Блейк, поэт и художник, и что лет двадцать назад он жил на Фаунтин-корт. То еще было местечко, когда я там ходил, был там клуб, где пышнотелые красотки принимали картинные позы перед уродливыми клиентами, где день и ночь бренчало пианино. Должно быть, здесь царили нищета и убожество, когда Блейк был еще жив и выводил свое имя на этих гравюрах.

День и ночь катились по Стрэнду коляски, шатались пьяницы, а ночью было темно, хоть глаз выколи. И тут же Блейк и миссис Блейк в своей бедности, в своей почтенной и такой обыденной бедности. О, как меня трогает *мое* описание *его* бедности.

Ветхое жилье, одежда в заплатах. Миссис Блейк, измученная работой и заботой о муже, его неистовые видения, отчаянная честность. И как только могли другие художники, даже самые лучшие, продаться за похлебку?

О, как часто в последние годы я видел его лицо, его фигуру в углу своего кабинета, где он сидел покойно и глядел на меня безо всякого удивления — на человека, который должен спасти его от забвенья и вернуть в сонм великих, где ему самое место. У него высокий лоб, на губах улыбка и великое упорство во взоре.

И сколько бы ни являлся мне он, всегда где-то рядом *она*.

Сидит тихонько в другом углу, не сводит с него глаз. (*Смотрит в угол.*)

Мне не нужно с ним говорить. Я всегда рад его видеть, но рассказчик здесь я, а не он, я сам о нем расскажу.

Мистер Блейк, вы ведь не против, правда?

Мой долг — изложить ту истину, что открылась мне. Записать мои видения. И я буду верен своему воображению точно так же, как был верен ему ты, Уильям Блейк. (*Вглядывается во что-то, приметное только ему, и кивает.*)

Пауза.

Итак, в один прекрасный день я, как обычно, шел по Стрэнду мимо книжной лавки. Порой я туда заглядывал. Вот и в этот раз не удержался.

Там часто попадались любопытные книжки, и я просто не мог оставить их без внимания, ибо уже тогда понял, что юриспруденция — не мое призвание, и неизменно тосковал на наших скучных, скучных лекциях...

Это был маленький темный магазинчик, этакая лачуга, пещера, до самого верха заставленная книгами, а по стенам текла вода, попортившая немало томов, что залежались в ожидании по-

купателей. Помню все, как вчера, хотя, сдается мне, этой лавки давно уже нет, равно как и ее владельца... Помню комнаты книг, уходившие в бесконечность, словно ящики фокусника, словно анфилады залов во дворцах, словно арки во дворах, где играют дети... Нет, не дети — взрослые дети... А что за дивный, что за нелепый запах там царил! Гниющее знание, обращающееся во прах, возвращающееся к своим истокам. Вот там-то, в самом дальнем углу, я наткнулся на твою Книгу Иова.

И раскрыл ее на странице, где Иов с женой...

Так, посмотрим...

(*Листает.*) Вот она. Иову и его друзьям является Господь, у меня и сейчас дух захватывает, когда я на них смотрю, я и теперь не могу отвести глаз, до чего же радостно видеть этих звездных ангелов, юных, но величавых, кудри их развеваются в дыхании звезд, а Господь преклонил колени и простер длани — о, как любит эту позу Блейк, — Господь похож на снижающегося орла, а под ним, словно во сне —

в чьем, кстати, сне? —

Иов, и трое его усомнившихся друзей, а слева, где отдыхает глаз —

жена Иова

Нет, уже не жена Иова, а Рафаэлева Мадонна в миниатюре.

Взгляни на глубокие тени вкруг ее лица и на щеках, взгляни на прекрасные глаза, возведенные горе, и на хрупкие ладони, сошедшиеся в молитве.

Женщина, какую мужчина не устанет любить всю жизнь.

А вокруг нее, на полях, творится мир.

Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль?[1]

Блейк вопрошает, Господь вопрошает, вся страница вопрошает

Что ты знаешь о сладости утренних звезд?

О том, как родится земная твердь, как вздымается море, как извиваются хвосты морских чудовищ...

И подняв глаза от книги, я вновь оказался у книжной полки и вскрикнул, кровь прилила к голове. Где я? Какой у нас нынче день? Который час? И куда я шел?

Кто я?

Чему мне посвятить свою жизнь?

Кто я и куда иду?

Пауза.

Темная, затхлая комната

Книжная лавка

Продавец не сводил с меня глаз, пока я шел к нему с книгой. Должно быть, я был похож на безумца, жилет расстегнут, волосы дыбом — от изумления я запустил в них пятерню.

1. Иов. 38:31.

Я отдал за книгу все свои деньги и отправился в Дом правосудия, но и в тот день, и дальше судебные дела и разбирательства меня не занимали.

Я прочел "Иова" какой-то частью разума, которая доселе дремала, увидел такими глазами, какими прежде никогда не глядел на мир. В ошеломлении я водил ладонью по странице.

Слова узоры росчерки
Вихри твари крылья агнцы
Идеальная несоразмерность
где пространство задано страстью
и где нет места для геометра
ни для юриста

Пауза.

Так "Иов" обратил меня на путь истинный, долой службу, долой суд, долой систему и ярмо общественной пользы. А ведь я мог бы оставить след в юриспруденции —

вместо того чтобы пробиваться вот так,
в одиночку.

По всем законам королевства, по всем законам Империи я мог бы добиться немалого успеха.

А вместо этого у меня недописанная книга, дом, который надо содержать, но на который нет денег, любимая жена, которая зарыла свой талант в землю, посвятив себя детям. Жена, которая, боюсь, устала от меня и от моей одержимости.

(Неужели я сказал об этом вслух? Высказал мысль, что день за днем точит сердце, словно вода — камень.)

Кап-кап-кап
Энн меня больше не любит
Кап-кап-кап
Отсылает меня работать, чтоб не стоял у нее над душой
Спит одна, говорит, что слишком устает от детей
Как-кап-кап
Перестала меня целовать
О чем ты думаешь? — спрашиваю я.
Много о чем, отвечает она и глядит мимо.
Так и есть! Я ее потерял.
Потерял?
А была ли она моей?
Женщина, какую мужчина не устанет любить всю жизнь.
Была ли она моей?
Не знаю.

Но любовь без взаимности подтачивает и отравляет наши корни. Я боюсь ее, а она из-за этого страха отдаляется от меня еще больше.

Пауза.

Блейк, повторяет она. Не беспокойся о нас, занимайся своим Блейком.

Говорит, что я великий писатель, что я пишу как ангел, что, когда я закончу книгу, Блейка неминуемо ждет признание, но в глазах ее нет любви.

Говорит и мчится наверх с ворохом чистого белья

где мечется в жару мой ребенок

а мне между тем нечем заплатить врачу

жена, которая даже не заглядывает ко мне в кабинет

а когда я пытаюсь ее обнять, по лицу ее скользит тень неприязни

Я отказался от карьеры, от денег, любви, здоровья. Но ради чего?

Ради страсти. Ради видения.

Блажь? (*Оглядывается и смотрит в одну точку, словно к кому-то обращаясь.*)

Уильям! Ответь мне. Блажь?

Уильям!

Скажи мне, Бога ради. Скажи! (*Заходится кашлем.*)

Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы

Вот, Он и слугам Своим не доверяет и в Ангелах Своих усматривает недостатки

Я знаю, знаю

Но до чего же трудно

До чего же трудно

Неужели ты никогда не сомневался, Уильям? И никогда не оступался?

Вижу рядом с тобою твою жену, поддерживающую тебя под локоть... Ведь это же твоя жена, правда? Это миссис Блейк.

А Иов — это сам Уильям Блейк. Даже с бородой его трудно не узнать. Высокий лоб, посадка головы. Это ведь ты, а? Я же не слепой, мистер Блейк. На каждой странице — ты.

А рядом с тобою она, верная и благочестивая, а порою величественная, словно Царица Заблудших Душ. Миссис Блейк, твой ангел, твой утешитель, и, когда ты спотыкался, она поддерживала тебя под локоть, прислонялась головой к твоему плечу и жалела тебя.

А я сижу здесь один. Жена сторонится меня, и я не смею к ней приблизиться. (*Обхватывает голову руками и стонет.*)

Нет, что-то со мной не так. Все время сомневаюсь. Чувствую, до чего же я слаб. Всего боюсь.

Господь больше не спускается на землю в воздушных вихрях, чтобы заставить нас трепетать.

Он показывает нам пустую комнату. Заставляет сидеть за столом без единой мысли, без вдохновения. Мучает пустотой.

Страница, а на ней — несколько безжизненных банальностей.

Жалкое подобие истины

Женщина, не верящая своему сердцу

Жалость! Да, жалость.

И стены, и часы на каминной полке, и гладкие деревянные подлокотники.

Пауза.

Что-то мне нехорошо. Нехорошо.
Вот уж некстати.
Труд почти завершен.
Я еще молод. Быть может, и доживу
до той поры, когда ему воздадут по заслугам.
К черту банальности, к черту подобие истины! Я сказал.
Энн!
Энн! (*Кашляет.*)
Мне нужно прилечь.
Голос за сценой. Алекс, в чем дело?
Мне нехорошо, Энн.
Не кричи, Алекс, Беа спит.
(*Шепчет.*) Ты поможешь мне постелить постель?
Алекс, я скоро спущусь.
Мне нехорошо, Энн.
Александр, я надеюсь, ты ничего не подцепил?
Я почти закончил, Энн!
Не слышу.
Почти закончил.
Скоро приду.
Подожди минутку.

Он оседает в кресле, уронив лицо в ладони.

III

Женщина за тридцать: Энн Гилкрист. Неугомонная, энергичная. Роется в письмах, то прочтет строчку из одного, то из другого. Ходит по комнате туда-сюда. Слышны голоса детей, играющих в соседней комнате.

Все идут и идут. Ума не приложу, что с ними делать. Надо бы ответить. (*Вздыхает.*) Но не теперь. (*Зачитывает одно из писем.*) "Ужасное известие... такой одаренный молодой..." Чье же это? (*Смотрит.*) О... надо же, как он любезен. Но боюсь, что и сам дышит на ладан.

(*Читает еще одно.*) "Потрясен вестью о том, что..."

(*Шуршит письмами.*) Старый профессор юриспруденции, Алекс у него учился. (*Вскрывает еще один конверт.*) "Какая утрата..." Нет, больше не могу. Это уже слишком.

(*Шуршит письмами.*) Чемберс. А это от кого? Бог ты мой... даже мистер Дарвин написал. А ведь скарлатина отняла у него ребенка. Ох, и больно же ему было писать.

"Дорогая миссис Гилкрист, примите мои искренние..."

Хватит, хватит! (*Швыряет письма на пол.*)

А я ведь должна радоваться. Столько достойных людей ценили тебя. Но нет мне утешения.

Посмотрим их глазами: вот и еще один ушел, исчез. Мир почти не изменился. Мыслящим разумом меньше, и только.

Вот интересно, о чем они думали, садясь за письма? О том, должно быть, что и они смертны, что скоро наступит и их черед. Засомневались, что будут жить вечно.

(*Горько смеется.*) А кто-то, быть может, спросил себя: где здесь справедливость?

Прожили столь долгую жизнь, почти ничего не сделав. А ты... ты мог сделать так много. А они просидели лучшие годы перед камином, глядя в огонь...

А ты. Тебя нет. Алекс. Невероятно. Не может быть.

Ничего не понимаю.

Вот и злюсь.

Безумие какое-то. (*Умолкает.*)

Шшшшш, тише. Все в порядке.

Куда же ты ушел?

Бросил меня, не сказал ни слова.

Ладно, забудь.

Мне кажется, как это ни смешно, — да, мне кажется, что ты удрал и бросил нас на произвол судьбы. Предал нас. Как ты мог нас оставить?

Как ты мог уйти?

А твой труд? Он же не закончен!

Повсюду открытые книги... бумаги тут и там разложил... ну и беспорядок.

А вот твое перо —

Совсем сухое.

Как ты мог? Как ты мог?

Мне хочется... да разве же тут удержишься от упрека?

Как так можно?

Ты умер.

Вот оно, слово. То самое слово.

Скажешь — и вроде спокойнее.

Пусть я и не права, и все же — за что ты так со мной?

Хотя по правде...

По правде...

Пауза.

Дети, перестаньте шуметь!

Пауза.

Дети, прошу вас!

Мне нужно с кем-нибудь поговорить. Нужно, чтобы кто-то был рядом. Так я скоро с ума сойду. Одна, с детьми. Ладно с детьми, но ты — ты-то почему никак не оставишь меня в покое?

Господи, пусть они играют где-нибудь в другом месте!

(*В ярости.*) Дети!

(*Опомнившись.*) Дети, милые, прошу вас, поиграйте где-нибудь еще. Мамочка ответит на письма, а потом мы все вместе пойдем гулять.

Детские голоса утихают.

Тот вечер. Вечер, когда тебя не стало. Смерть — забавная штука. В конечном счете переход от жизни к смерти кажется до того предопределенным... и до того обыденным...

Но тогда я о смерти не думала. Мне стало дурно.

Помнишь, когда ты позвал меня к себе в кабинет. Я еще была наверху.

Я должна была заметить, что твои силы на исходе. Должна была понять. И этот жар. Ты же весь горел, как горит брошенный дом.

А мне еще вздумалось побрюзжать. В точности помню свои слова.

"Александр, я надеюсь, ты ничего не подцепил?"

Как я могла?

Но ведь так мы и жили. Вернее, так и говорили. Правда ведь? Дети, дом, тут уж не до чувств.

А теперь все кончилось. Того, что было важно, больше нет, мир опустел, а оглянувшись, я вижу, как была жестока.

Ты ничего не подцепил?

Пауза.

Не сказать, чтобы это от большой любви.

Хватит, Энн. Возьми себя в руки. У тебя дети. Дела. Пора бы уже прекратить.

Так много всего нужно сделать. (*Проводит рукой по лежащим на столе книгам и бумагам.*)

(*Вновь берется за письма, беспорядочно читает.*) Надо бы хоть кому-нибудь ответить...

А это от кого же?

Твой издатель... ну то есть издатель Алекса... (*Вскрывает письмо.*)

(*Прочитывает.*) Да. И как же быть?

А они чертовски тактичны.

Рукопись о Блейке. Господи, ума не приложу.

Господи.

Блейк.

За последние несколько месяцев я и думать забыла о Блейке. Проводила время в детской, засунула куда-то читательский билет, поменяла плащ на передник.

Помню, сидела дни напролет в Британском музее, переписывая Блейка. Работа кипела. А сейчас кажется, что все это мне приснилось.

Как же быть?

(*Чуть не плачет.*) Боже, как странно. Еще совсем недавно я переписывала "Иерусалим", строку за строкой, и душа распахивалась ему навстречу, навстречу каждой необычайной строчке.

Такое не забывается.

За пределами Сущего – пустота, и если в нее войти, она поглощает себя самое и становится лоном, таков был одр Альбиона[1]

Там. Я это познала. Исток. Творение. Откуда все началось. *Пустота за пределами сущего.*

Я переписала очень быстро. Нам дали книгу всего на неделю. Я переписывала очень быстро и...

И все время хотела выправить правописание, пунктуацию, сумасбродную логику

Я считала себя ученым, материалистом, верила в метод.

И думала... да он безумец!

Все эти его нападки на Ньютона. Ненависть к методу. Как тут не выйти из себя? И всего неделя, чтобы это переписать!

А ты...

А ты был...

Ты был куда как более благородной натурой. Тебе хватало терпения. *Кто для радости рожден...*[2] Это, Алекс, о тебе. Ты умел радоваться. И позволял себе медленно, неспешно предаваться радости.

(*Задумчиво.*) Радость. Да, тебе была дарована радость, ты был сопричастен радости Блейка, истинной детской радости.

Серьезной радости. И я просила тебя — объясни, я тоже хочу к ней прикоснуться.

А в глубине души думала:

Безумец. Самозваный проповедник. Сбившийся с пути, темный человек, которого ты спас из подсобки в книжной лавке...

Но ты показывал мне рисунки, гравюры. Читал стихи. Отмечал их безупречную простоту, первозданную истинность и свободу.

Блейк свободней любого из живущих, говорил ты.

Так уж и любого, возражала я. А мы? Мы же свободны. Свободны от условностей и готовы принять что угодно.

И нам повезло больше, чем Блейку, ведь он был беден и жил в варварский век.

А ты расхохотался. И сказал, что Блейку бы не по нраву пришлось наше время. Нами правят рационализм, наука, физические законы, экономика, методы... Битва давно проиграна. За тридцать лет мир сошел с ума. Блейк не поверил бы, и сомневаюсь, чтобы его это обрадовало.

1. У. Блейк "Иерусалим. Эманация Гиганта Альбиона".
2. У. Блейк "Прорицания невинности". Перевод С. Маршака.

Но я стояла на своем: что, неужели все это неправильно? Ведь мир с каждым днем все лучше. В нем все меньше страдания...

Меньше страдания? — переспросил ты. Меньше страдания? Энн, как ты порой простодушна. Мы же просто усовершенствовали механику долготерпения, сделали ее изощренней.

Да, сказал ты, мы научились прятать страдание, тут нам нет равных. Мы держим его под спудом, называем развитием, считаем необходимым для прогресса. Мы совершенствуем этот навык и дома, и в школе, и даже в самой глубине души. Хуже страдания и зла, добавил ты, двуличие. Так считал Уильям Блейк, так, мол, надлежит считать и мне.

Что до школы... тут ты рассмеялся... Блейк никогда не ходил в школу. У него есть об этом стихотворение, называется "Школяр". Вот послушай:

Отправлюсь в школу в ранний час —
И радость схлынет вмиг,
Ведь там — суровый глаз да глаз,
Громоподобный крик
И груды толстых книг[1].

И радость схлынет вмиг. А радость — это серьезно.

Тут мы с тобой выглянули в окно и увидели в саду детей, которые, раскрыв рты и пуская слюну, сгрудились вокруг гусеницы (это мы узнали потом) и глядели, как колечко мышц движется вдоль гусеницыного тела.

Вот она, серьезная радость, сказал мне ты.

Однажды в далеком детстве я упала в колодец. Я была совсем крошка и закричала от страха, а брат услышал мой крик и поспешил на помощь. Он ухватил меня за волосы, а я вцепилась руками и ногами в стену колодца. Он держал меня так, покуда не прибежали взрослые и не вытащили меня. И я помню —

помню в мельчайших подробностях —

как только он меня ухватил, я перестала думать о падении и уставилась на старую стену колодца, на которой, по мере того как глаза мои привыкали к темноте, все отчетливее проступали удивительные узоры лишайника. Пусть было больно, но меня занимали только лишайники, и, когда меня вытащили на свет божий и положили на траву, первыми моими словами были: вы не представляете, как там красиво!

И тотчас же кто-то отвесил мне шлепка.

Пауза.

А ты был полон блейковской радости.

Мы непрестанно трудились, но то было легкое бремя. Ты то и дело спрашивал моего совета. И я начала понимать, к че-

1. Перевод Е. Третьяковой.

му ты стремился. Ты задумал книгу, проникнутую таким сочувствием, перед которым не устоял бы ни один читатель. Ты просто любил Блейка и хотел, чтобы все его полюбили.

Ты знал, чего хочешь добиться. Совершенства — вот чего. Твердил без конца: не годится. Переписывал и переписывал.

Ты был поэт. Но груз твоих усилий начал тебя душить.

И ты сбавил ход, все чаще сидел без дела. Стал простужаться.

Часами раздумывал над одним предложением.

Боже правый, как ты во мне нуждался. Самому тебе было не справиться.

Но до чего же все это меня бесило, Алекс. Просто-напросто бесило!

Господи (*смеется*), как ты оттягивал окончание работы.

Обнаруживались все новые рисунки, и ты отправлял меня искать ветра в поле.

У мистера или у сэра Имярека мог оказаться отпечаток, без которого никак невозможно продолжать, говорил ты, и мы спешили к нему

Теряя целый день работы, пока мистер или сэр Имярек рассказывал нам анекдоты —

И что вы только нашли в художествах мистера Блейка? —

В целом Лондоне не было человека, который не знал бы о нем скабрезного анекдота.

1790, 1860 — какая разница? Если ты хоть в чем-то не похож на остальных или просто вольнодумец,

Этого вполне достаточно, чтобы объявить тебя сумасшедшим.

А то ты сам не знал.

И в глубине души знал, что истина —

она уже с тобой, внутри тебя, и когда приходилось сновать тут и там, ловить обрывки слухов, вновь и вновь беря ложный след, беседовать со сплетниками и обманщиками...

Вся эта суета отнимала у тебя силы... ты казался таким больным и несчастным...

Пауза.

А я начала презирать тебя за нерешительность,

За то, что ты не можешь довести свой труд до конца.

Презрение. Мною двигало презрение, когда я взялась за дело. Разобрала твои записи, начала составлять указатель, стала тобою командовать, чтобы ты шел и работал.

А когда ты грозился, что бросишь все это к чертям собачьим, не я ли тебе доказала, что ты просто обязан продолжить? Обязан. Ведь уже так много сделано.

А книга тянула из тебя соки. Какая уж тут радость.

Назначь себе срок, говорила я. Назначь себе срок для первой части и для второй.

Если мы не закончим книгу сейчас, то не закончим никогда. И какой тогда от нас прок Уильяму Блейку?

Какой прок от твоей любви, если ты не можешь поделиться ею с другими?

Ты не мог работать, тебя окутал густой туман нерешительности

Не мог написать ни слова

Я была с тобой резка, была нетерпима

Стала тебя проверять, втихую, тайком. Ты не знал

А может, и знал

Как-то раз я вернулась из Музея, а ты сидишь себе, закрыв лицо руками —

И ни одной новой строчки. Мне хотелось кричать, рвать на себе волосы

Вот как, сказала я. И развернулась к тебе спиной.

Пауза.

Но когда ты говорил о Блейке

Когда звучал твой истинный голос

О, это была песня.

Помнишь, что ты сказал о "Песнях невинности и песнях опыта"?

Словно вдруг заговорил стихами

Мне никогда не забыть. Ты сидел, погрузившись в мечты, и вдруг сказал, что так до сих пор и не смог воздать должное Песням,

Так и не смог написать по совести о стихах, а не о гравюрах

Это как вырвать с корнем цветок на лугу, где он вырос в зеленой траве

Чудесно сказано, Алекс!

Как может человек, нашедший такие слова,

быть

быть не здесь

Пауза.

Да, он был благородной натурой. Я в жизни ничего подобного не говорила, а теперь придется написать в сотне писем.

Пауза.

Мне следовало говорить ему об этом почаще.

Пауза.

Но увы.

Тяготы супружества. Я на него давила.

Почему?

Ведь так всегда и случается с мужчиной и женщиной, когда они сочетаются браком?

Почему?

Дети, денег нет, муж не может доделать то, что начал

Но почему?

Да вот потому. Потому!
А я думала, что у нас будет по-другому, слышишь, Алекс?
Почему? Вот разве только потому, что мы ценили свободомыслие.
Были не похожи на других. Правда, смешно?
Думала, мы выше этого доморощенного деспотизма
Выше попрания духа
Ну и дура же я была!
Самовлюбленная
близорукая
дура
Нет ничего умней слезы[1]
Надо было прислушаться к Блейку. Надо было прислушаться.
Теперь только до меня доходит, как много он понимал
во всей этой игрушечной тирании и домашних распрях

Пауза.

Любовь лишь для себя
Мучить ближнего, любя
Рай превращать в кромешный Ад[2]

Пауза.

Уж лучше б я никогда не читала Блейка!
Он же все понимал. И ни о чем не умолчал.
Катафалки новобрачных![3]
Или это ужасное древо яда
Что взрастает на лжи и хитрости
и начинает плодоносить, а плод его — смерть...
Неужели это обо мне? Неужели обо мне, Алекс?
А кроме того, все эти дни
меня терзает еще одна мысль
Эта мысль возникает, когда мне особенно плохо, когда у меня кончаются силы (*Дрожит, закрыв лицо ладонями.*)
Что это?
Откуда?
И слышать не хочу! (*Затыкает уши.*)
Мне кажется...
Скажи правду, Энн!
Я знала. Знаю.
Я ведь тебя не любила.
Нет.
Я никогда себе в этом не признавалась. Не говорила об этом вслух. Ни даже шепотом.

1. У. Блейк "Серый монах".
2. У. Блейк "Ком глины и камень".
3. У. Блейк "Лондон". Перевод С. Маршака.

Но плод моего обмана... Да, вот он, плод — он явлен всем.
Я тебя не любила.
(*С вызовом.*) Я просто не знала, что такое любовь. Вот в чем дело!
Да и кто нам расскажет? Кто нам расскажет, что такое стремление распрощаться с детством и что такое любовь.
Кто расскажет, что такое нежность и преклонение? И что такое любовь.
Почему никто не подскажет? Никто не научит
самому важному языку — языку сердца?

Пауза.

Откуда нам знать, что мы не сможем, не сумеем заставить себя полюбить кого-то?
Я была такая передовая, такая умная, и мне казалось, что уж я-то сумею.
Сумею заставить себя полюбить то, чем мне хотелось обладать.
Я была столь тщеславна, что думала, будто бы
работать бок о бок с тобой, быть на равных с мужчиной — это и есть любовь!
Смилуйся! Я была молода и горяча, мне так хотелось тебя полюбить
Но теперь, набравшись опыта, я понимаю,
что в глубине души тебя не любила.
Я была слишком увлечена собой, чтобы полюбить кого-то еще.
Теперь я это твердо знаю.
Взгляни на меня!
У меня и горевать-то толком не получается! Я не страдаю, не впадаю в отчаяние.
Я...
Я злюсь. Сержусь. И стыжусь.
Чем полудружба, горше нет вражды...[1] И снова упреки, мистер Уильям Блейк! (*Всхлипывает.*)

Пауза.

Но знал ли ты?
Знал ли ты?
Боже мой, знал ли Алекс?
Сейчас главное — чтобы он не знал.

Пауза.

Ну, конечно же, ты знал. Видел, знал и понимал. Да и кто бы не увидел?

1. У. Блейк "Иерусалим. Эманация Гиганта Альбиона".

Разумеется, кроме меня. Кроме меня.

Кроме меня.

Зато теперь я стала мудрее. (*Горько смеется.*)

Мудрость задним числом — что может быть мучительней?

Подумать только! Начать с того, что я презирала миссис Блейк. Сидела и думала:

несчастная, дремучая женщина.

Ее могли с тем же успехом выдать за первого встречного. Она его почти не знала. И не представляла, кто он такой!

Так я думала. Не ври себе, Энн!

Ну, как она могла его понять?

Она была ему не ровня.

Разве они могли любить друг друга?

Пауза.

Помедли, Кейт! Вот так, вот так. Знаешь, ты всегда была моим ангелом, Кейт! (*Вздрагивает.*)

Так Блейк сказал миссис Блейк. На смертном одре. (*Плачет.*)

Садится. Вспоминает, что у нее в руках письмо от издателей Гилкриста. Перечитывает его.

Господи. Что мне делать?

Что делать с Блейком?

Они лишь единожды упоминают книгу — но, понятное дело, именно книга волнует их больше всего. "Возьмется ли кто-нибудь ее завершить?"

Возьмется ли кто-нибудь завершить этот труд?

Наш совместный труд

Долгие годы работы

Нет, ни за что! (*Возбужденно ходит взад-вперед.*)

Нельзя, чтобы книгу доделывал кто-то другой. После того как Алекс...

Он вложил в эту работу всю свою жизнь. А если теперь придут другие,

им, естественно, захочется перекроить книгу на свой лад.

Так всегда и бывает, они изничтожат твой стиль, твой слог.

Изничтожат его, утверждая себя. Так всегда и бывает.

Но это же твой Блейк!

Нет, так нельзя.

Нельзя!

Пауза.

Да там и заканчивать ничего не надо.

Мне нужно подумать.

Что же делать? (*Медлит, потом начинает быстро говорить.*)

Это была наша книга! Твоя и моя. Я работала над ней вместе с тобой, и теперь мне придется доделать ее самой. Не беспокой-

ся. Я знаю, что ты наметил. Знаю тему, как свои пять пальцев. Знаю твои мысли и чувства. И даже слышу твой голос...

Я сама за нее возьмусь.

И смогу сохранить твою речь. Да.

Это будет твоя книга, обещаю тебе!

Полагаю, им это придется не по вкусу, но я не позволю им до нее дотронуться!

Никто не знал Блейка лучше, чем ты, и никто не знал тебя лучше, чем я.

Мамочка!

Что?

Можно нам поиграть с Беа?

Да. (*Пауза.*) Дети,

(*пауза*) я думаю, нам нужно уехать.

Зачем?

У меня очень много работы!

(*Тихо.*) Мне нужны тишина и покой. Прочь из Лондона!

А куда, мамочка?

Еще не знаю. А куда бы вы хотели поехать?

В деревню!

На море!

Что ж, посмотрим...

(*Вновь принимается ходить из угла в угол.*) Возьму его бумаги.

Уверена, что хотя бы в этом буду ему верна. Ведь я перед ним в долгу.

Пусть его голос прозвучит, не сливаясь ни с чьим чужим.

Это и будут его последние слова.

Да будет так.

(*Оживленно, не умолкая ни на минуточку.*) До сих пор я не знала своей собственной души.

Вечно мною двигало что-то или кто-то извне.

Я не понимала, что значит работать
без страха, без суеты. Познать себя
искренне и печально, и научиться видеть радость...

Пауза.

Мамочка!
Иди к нам играть!
Мы соскучились!
Пока не стемнело,
приходи играть!

Иду, детки. Уже иду.

Схватив шаль, Энн выбегает из комнаты.

Уильям Вордсворт
Прелюдия, или Становление сознания поэта

Фрагменты поэмы

Перевод Татьяны Стамовой

Вступление Елены Халтрин-Халтуриной

Уильям Вордсворт: современник Джонсона, Байрона, Кэрролла

При взгляде на даты жизни английских романтиков сразу бросается в глаза, что старший из них, считающийся основоположником романтической школы в Великобритании — Уильям Вордсворт (7.04.1770—23.04.1850), — прожил долгую жизнь. Пред ним оказался бессилен романтический закон, сулящий гению раннюю гибель, — "Сначала лучшие умрут, а тот, кто сердцем черств и сух, дотлеет до конца"[1].

С литературным творчеством Вордсворт соприкоснулся задолго до рождения Байрона и Шелли, когда еще были живы корифеи эпохи английского классицизма и сентиментализма Сэмюэл Джонсон и Уильям Каупер. Он сочинял стихи будучи школьником, и отдельные строки ему удалось опубликовать под псевдонимом Axiologus. В зрелые годы Вордсворту привелось активно общаться со всем литературным бомондом. Это не только его земляки Колридж, В. Скотт, Де Куинси, Байрон, Теннисон и другие. С ним состоял в переписке Г. У. Лонгфелло, а 30-летний Р. У. Эмерсон (за три года до первого заседания Трансцендентального клуба) специально приезжал в Озерный край в усадьбу на холме Райдал, чтобы лично побеседовать со стариком Вордсвортом. Люди искали встреч с Вордсвортом не как с официальной фигурой (хотя в 1843—1850-е годы он занимал пост поэта-лауреата при королеве Виктории), а как с известным поэтом-мыслителем. Когда Вордсворт достиг преклонного возраста, многие его поэтические произведения давно были разобраны на цитаты. В 1850 году Вордсворт ушел из жизни. Подрастало совершенно новое поколение, младшим представителям которого суждено было вступить в XX век. Томасу Харди было 10 лет, Уолтеру Патеру — 11, Льюису Кэрроллу — 18.

Интерес художников к Вордсворту рос пропорционально славе — и она не была ранней. Вот почему портреты Вордсворта, известные нам по антологиям и историям литературы, являют взору старца, убеленного сединами. Большинство этих изображений было создано после того, как поэту

© Татьяна Стамова. Перевод, 2011
© Елена Халтрин-Халтурина. Вступление, 2011

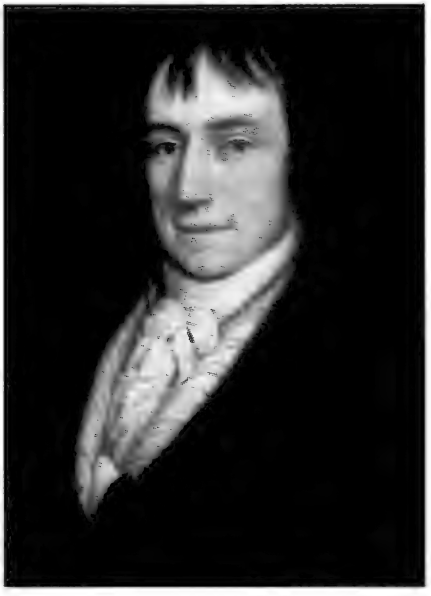
1. Строка Вордсворта из "Разрушенной хижины" (1798) повторяется в поэме "Прогулка" (кн. 1, 1814). Позаимствована П. Б. Шелли для поэмы "Аластор, или Дух одиночества" (1814—1815).

исполнилось 60. Исследователи насчитали 87 его поздних портретов[1]. В свое время самым известным из них был портрет работы Г. У. Пикерсгила. Начиная с издания собраний стихотворений Вордсворта в 1836 году, гравюра с этого портрета многократно перепечатывалась.

В те же годы хорошо была известна картина работы Б. Р. Хейдона "Вордсворт на вершине холма Хелвеллин в Озерном краю" 1842 года, выполненная в стиле исторического портрета. На ней поэт изображен как герой великих сражений, в раздумии стоящий у одной из покоренных вершин.

XX век узнал более юные лица Уильяма Вордсворта. Из тени забытых собраний выступили картины, показывающие его в период "золотого" расцвета таланта (годы 1797—1807 известны как "золотое десятилетие" в творчестве поэта). Самый ранний из известных портретов (с. 79) написан У. Шатером в знаменательный 1798 год — год тесного творческого сотрудничества Вордсворта и Колриджа. Именно тогда создавался сборник "Лири-

1. F. Blanshard. Portraits of Wordsworth. — N. Y.: Cornell Univ. Press, 1959. P. 67, 139; C. Rovee. The Look of a Poet: Wordsworth // Imagining the Gallery: The Social Body of British Romanticism. — Stanford: Stanford Univ. Press, 2006. P. 228.



ческие баллады", публикация которого ознаменовала начало романтического периода в английской литературе. Это единственный портрет, где можно увидеть улыбку Вордсворта. Современники вспоминали, что схватить ее было очень непросто. Улыбка чудесно озаряла его лицо, словно солнечный луч, на краткое мгновение пробившийся из-за облаков[1]. Другой портрет — сегодня он часто появляется в печати — выполнен Генри Эдриджем в 1805—1806 годах.

Дороти, сестра поэта, находила в нем большое сходство с оригиналом. Уильям здесь — состоявшийся поэт, за плечами которого написание поэмы "Прелюдия, или Становление сознания поэта" (опубликована в 1850 году). Это биография души художника, стоящая в центре английского романтического канона.

Поэма "Прелюдия" создавалась и шлифовалась несколько десятилетий[2], ткань ее повествования имеет сложный рисунок. В ней описывается, как в Англии конца XVIII — начала XIX веков менялся дух времени и менталитет. На этом фоне происходит формирование человека художественного склада мышления, который чутко воспринимает все события современности. Вордсворт показывает, какие философские модели доминировали на том или ином этапе его становления. Свое детство поэт описывает, прибегая к моделям ассоциативной философии XVIII века (Д. Гартли), юность у него проходит под знаком годвинизма[3], а творческое становление напрямую связано с выработкой романтической эстетики "воображения", о которой мы скажем особо.

Примечательно, что поэт всегда изображает состояние души героя через картины природы. Современники говорили о Вордсворте так: "Его душа, отвратившаяся от внешнего мира и сосредоточенная на собственной внутренней жизни, познает ценность мыслей и чувств, вызванных самыми незначительными событиями прожитых лет. Песенка кукушки звучит в его ушах как голос из прошлого; на расцветающих маргаритках лежит отблеск мальчишеского восторга, лучащегося из умудренных опытом глаз поэта; радуга простирается в небесах великолепной аркой в ознаменование пе-

1. Из воспоминаний шотландского прозаика и публициста Дж. Г. Локхарта: J. G. Lockhart. Letters from the Lakes // William Wordsworth / Ed., Introduced by H. Bloom. – N. Y.: BLC, 2009. P. 7–9.
2. Первые черновики поэмы датируются 1798 г. В 1805 г. была закончена основная рукопись. Доработкой отдельных фраз Вордсворт занимался еще несколько десятилетий.
3. В частности, имеется в виду условное понимание морали, утилитаризм и анархизм, проповедуемые политическим философом и писателем У. Годвином.

рехода от детства к юности, а старый терновник клонится под бременем воспоминаний"[1].

Вордсворт имел обыкновение совмещать — словно диапозитивы — несколько мысленных пейзажей. Поэт сравнивал, как в разном возрасте при взгляде на один и тот же предмет человек замечает разные детали. Некоторые из деталей присутствуют только на старых "слайдах" и восстанавливаются силою памяти или воображения. Другие, напротив, появляются с течением времени.

Моменты душевных взлетов поэт выделял особо и полагал, что описывать их надо не в момент возникновения, а после осмысления. Вот почему Вордсворт определил поэзию как "припоминание ярких моментов прошлого в состоянии покоя" (предисловие к "Лирическим балладам"). Главной творческой силой он считал *воображение*. Воображение для Вордсворта — особый термин. Это творческая сила, встающая из глубин сознания поэта, которая позволяет ему острее ощущать бытие — как свое, так и других людей. В отличие от фантазии, воображение не уносит поэта в мир иллюзий, а приближает к нему живой мир, высвечивая лучшие, но скрытые стороны действительности.

В чем же здесь новизна? Предшественники поэта воспевали воображение как аналог вдохновения (Экенсайд, Шефтсбери, Томсон). Вдохновение приходило к поэту-искуснику извне и помогало ему создать новый шедевр в условиях непререкаемости старых образцов и условностей жанра. Романтики Вордсворт и Колридж стали больше ценить авторскую спонтанность — непредсказуемость, обусловленную не игрой внешних божественных сил, а внутренним воображением, подпитывающимся работой человеческого разума и подсознания. Так в Англии свершался переход от предромантической системы ценностей (устои, элитарность, искусность, рассудок, остроумие, энтузиазм, божественное вдохновение и сродное вдохновению воображение) к раннеромантической (спонтанность, демократичность, одаренность, медитативность, воображение, фантазия). Ключевую роль в этом переходе играло романтическое переосмысление категории воображения.

Моменты, когда происходят вспышки воображения, Вордсворт назвал "местами времени" ("spots of time"):

> Есть времени места — и в каждой жизни
> Они — живительных источник сил;
> Туда от суесловья и лукавства,
> Иль от того, что более гнетет,
> Порой невыносимо, от никчемных
> Занятий и рутины, мы спешим,
> Чтобы незримо возродиться, чтобы
> Дух радости, входя в нас, помогал
> Достигшим высоты, подняться выше,
> Упавшим — встать. Сей животворный дух
> Там веет, где почувствовать смогли мы,

1. У. Хэзлитт. Застольные беседы / Изд. подг. Н. Я. Дьяконова, А. Ю. Зиновьева, А. А. Липинская. — М.: Ладомир; Наука, 2010. (Сер. "Литературные памятники"). С. 54.

Что всем обязаны своей душе:
Она — царица; все, что к нам приходит
Извне, подчинено и служит ей.
Мгновения такие мы находим
Повсюду — с детства самого они
Знакомы нам, и там, я полагаю, —
Всего видней. Насколько я могу
Судить, влияньем этим благотворным
Полна вся жизнь моя.

Прелюдия. Кн. 11. *Перевод* Т. Стамовой

В 12-ти книгах поэмы "Прелюдия" насчитывается более 30 эпизодов с описанием "мест времени". Они составляют костяк поэмы.

Вордсворт полагал, что "места времени" могут быть разной интенсивности: одни яркие, другие побледнее. Интенсивность зависит от того, на каком этапе личностного развития находится человек. Первые вспышки еще не вполне развившегося творческого воображения случаются в детстве, они учат героя узнавать гармонию и дисгармонию, прислушиваться к голосу совести. Юношеские — приносят ему осознание своего призвания и интерес к политике. Зрелость же достигается тогда, когда поэт отказывается от утопических порождений фантазии и при помощи воображения познает себя и мироустройство, пытаясь — насколько это возможно — "вживую" соприкоснуться с трансцендентным.

Так в "Прелюдии" с наибольшей полнотой раскрылся характерный вордсвортовский стиль, который он выработал еще для написания "Лирических баллад": при помощи мысленных пейзажей, наложенных друг на друга по принципу просвечивающих пластин, выявлять то, как постоянно меняется сознание лирического героя. В каждой пейзажной группе непременно имеется "пластина" с изображением "мест времени".

Вордсворт посвятил себя созданию поэзии, которая есть плод романтического воображения — воображения в очень конкретном понимании слова. На практике данный метод реализовался через создание "мест времени". Это и есть особый вордсвортовский стиль. Возник он как авторский, индивидуальный, а впоследствии сделался одним из ведущих, "больших" стилей эпохи английского романтизма[1].

Вордсворт как автор лирических баллад, "певец тиса и нарциссов" (Брэдли), неплохо известен в России. Однако как поэт, предвосхитивший развитие возрастной психологии и совместивший ее с психологией творчества, Вордсворт может раскрыться только через "Прелюдию".

Появление полного перевода поэмы "Прелюдия" на русский язык — несомненно крупное событие для нашей литературы. Он подготовлен для серии "Литературные памятники" РАН (перевод Т. Стамовой). Для раздела "Дополнения" впервые переведены на русский язык "Ода предчувствия бессмертия" (перевод Г. Кружкова), "Дóма в Грасмире" (перевод М. Фаликман), цикл "К Мэтью" (перевод С. Дубинского), "Разрушенная хижина"

1. Подробнее об этом: Е.В. Халтрин-Халтурина. Поэтика "озарений" в литературе английского романтизма: Романтические суждения о воображении и художественная практика. — М.: Наука, 2009.

(перевод А. Лукьянова) и другие. Издание сопровождают статьи А. Н. Горбунова о творческом пути Вордсворта, о созвучности отдельных его строк русской литературе.

Здесь представлены фрагменты поэмы.

Из книги первой

Детство и школьные годы

В то время восхищение и страх
Наставниками были мне. С пеленок
Я пестуем был красотой, и после,
Когда с иной долиной мне пришлось
Девятилетнему свести знакомство,
Я полюбил ее всем сердцем. Помню,
Когда ветров морозное дыханье
Последним крокусам на горных склонах
Сжигало венчики, я находил
Себе отраду в том, чтоб до утра
Бродить средь скал и тех лощин укромных,
Где всюду водятся вальдшнепы. Там,
С силком через плечо, охотник жадный,
Я обегал свои угодья, вечно
Не находя покоя, и один
Под звездами, казалось, был помехой
Покою, что царил средь них; порой,
Почти рассудок потеряв и жаждой
Добычи обуян, чужой улов
Себе присваивал и после слышал
Среди холмов безлюдных странный шорох,
Дыханье близкое, шаги, почти
Неуловимые средь сонных трав.

Когда апрельский своевольный луч
У первоцветов стрелки вынимал
Из новеньких колчанов, я опять
Вверх устремлялся, в горы, к одинокой
Вершине, где среди ветров и туч,
Орел-разбойник кров нашел. Увы,
И тут достойной цель мою назвать
Я не могу. Но сколько дивных чувств
Я испытал, когда, почти достигнув
Гнезда, висел над пропастью — зацепкой
Мне были лишь пучки сухой травы
Да трещины в скале; я сам былинкой
Трепещущею был; с налету ветер,
Сухой и резкий, дерзостное что-то
Кричал мне в уши, и чужим, нездешним,
Каким-то неземным, казалось небо
И заговорщиками облака!

Как в музыке гармония и лад
Всем правят, так и человека ум
Устроен. Некоей незримой силой
Все элементы, чуждые друг другу,
В нем сведены в поток единый. Так
И страхи ранние мои, и беды,
Сомнения, метания, тревоги,
Неразбериха чувств моих и мыслей
Становятся покоем, равновесьем,
И я тогда достоин сам себя.
Что ж остается мне? Благодарить
За все, за все, до самого конца.
Однако же Природа, с юных лет
Своих питомцев закаляя, часто
Завесу облаков над ними рвет,
Как бы при вспышке молнии — так первым
Их удостаивая испытаньем,
Наимягчайшим, впрочем; но порой
Угодно ей, с той же благою целью,
Устраивать им встряску посильней.

Однажды вечером, ведомый ею,
Я лодку пастуха нашел, что к иве
Всегда привязана была у входа
В укромный грот. В долине Паттердейл
Я на каникулах гостил тогда,
И ялик тот едва лишь заприметив,
Находку счел неслыханной удачей,
Залез в него и, отвязав, отплыл.
Луна взошла, и озеро сияло
Средь древних гор. Под мерный весел плеск
Шла лодочка моя — вперед, вперед,
Как человек, что ускоряет шаг.
Поступок сей, конечно, воровство
Напоминал, и все же ликованья
Была полна душа. И горным эхом
Сопровождаем, ялик мой скользил
По водной глади, оставляя след
Из маленьких кругов, что расходились
От каждого весла и исчезали
В одном потоке света. Горный кряж,
Тянувшийся вдоль озера и бывший
Мне горизонтом, темный небосвод
И звезды яркие — я, глаз от них
Не в силах оторвать, все греб и греб,
Собою горд, и весла погрузил
В молчанье вод озерных. Мой челнок,
Как лебедь, приподнялся на волне,

И в тот же миг из-за прибрежных скал
Огромного утеса голова
Вдруг показалась, и росла, росла,
Пока, воздвигнувшись во весь свой рост,
Сей исполин меж звездами и мной
Не встал — и мерным шагом, как живой,
Пошел ко мне. Дрожащею рукой
Я челн мой развернул и, поспешив
Назад, по тихим водам, словно тать,
Вернулся в грот Плакучей ивы. Там
На прежнем месте лодку привязав,
Через луга я шел домой и в мысли
Тяжелые был погружен. С тех пор
Прошло немало дней, а я никак
Забыть то зрелище не мог. Неясных
И смутных образов был полон ум.
Неведомые формы бытия
Из темноты вставали. Как назвать
Тот мрак, я сам не знал. Я был один,
Покинут всеми; даже то, что прежде
Мой составляло мир — деревья, небо,
Поля зеленые, морская ширь —
Все, все исчезло, кроме тех огромных
Существ, не походящих на людей,
Что среди дня мой посещали ум
И в снах ночных тревожили меня.

Премудрость, дух Вселенной! Ты, душа,
Бессмертье мысли — ты даешь дыханье,
Движенье нескончаемое формам
И образам. И мню, что неслучайно
Ты с первого рассвета моего
При свете дня и ночью занимала
Мой ум не суетой, что человекам
Столь свойственна, но тем высоким, прочным,
Что недоступно ей — природой, жизнью
Непреходящей, и мечты, и мысли
И чувства все преображала так,
Что освящались даже боль и страх.
Так нам порой случается расслышать
В биенье сердца мирозданья пульс.

Сей дар причастности, хоть не заслужен
Нисколько, но отпущен был сполна.
Когда в ноябрьские дни долины
Волнистым, тонким выстланы туманом,
Казались бесприютными вдвойне,
И в ночи летние, когда по краю
Озерных вод, что стыли средь холмов
Печальных, возвращался я домой,

Их бесприютности и дрожи полн,
Та благодать сопутствовала мне.

Когда ж морозы ударяли, день
Сжимался и в окошках теплый свет
Горел зазывно в сумерках — на зов
Я не спешил. Восторг и упоенье
Владели мной. То был счастливый час
Для нас для всех. Как на свободе конь,
Счастливый, гордый, в новое железо
Обутый, и о доме позабыв,
По льду озерному под звон коньков
И ветра свист, носился я. Стремясь
Забаве взрослой подражать, в охоту
Играли мы тогда. Все как взаправду:
Рога трубят, веселых гончих стая
И заяц быстроногий впереди.
Холодный сумрак полон голосов
Звенящих был. Вокруг отлоги гор
Им вторили. И каждый голый куст,
И деревце безлистное, и льдистый
Утес в ответ звенели словно медь.
А отдаленные холмы в пространство
Унылый отзвук посылали. Звезды
Сияли на востоке, и полоской
Оранжевой на западе светился
И постепенно догорал закат.

Порой, когда от шума отдохнуть
Хотелось мне, в уединенной бухте
Узоры я выписывал, любуясь
Звездой какой-нибудь на льду. Когда же
Ватагой шумной, разогнавшись с ветром,
Неслись мы вдаль, и берега во тьме
Вытягивались в линию и тоже
Навстречу нам свой ускоряли бег,
Мне нравилось, отстав, на всем ходу
Остановиться — редкие утесы
Еще неслись навстречу, будто вместе
С землей, что свой заканчивала круг,
И застывали где-то позади,
И я стоял, застигнут тишиной
И скован ею, словно спал без снов.

О вы, явленья чудные на небе
И на земле, видения холмов
И духи мест пустынных! Не напрасна
Была забота ваша обо мне,
Когда преследуя меня средь детских
Забав — в лесах, пещерах, средь холмов,

На всем вы оставляли отпечаток
Желания и страха, в океан,
Земную твердь вседневно обращая,
Кипящий, где как волны набегают
Восторг и страх, надежда и тоска.
В любых занятьях наших, в круговерти
Чудесной зим и весен, я всегда
Следы волнений этих находил.

Мы жили, словно птицы. Солнце в небе
Не видело долин, подобных нашим,
И радости столь шумной и веселья —
Таких не знают, верно, небеса.
И ныне радуюсь, когда припомню
Леса осенние, молочно-белых
Орехов грозди; удочку и леску —
Сей символ упованья и тщеты, —
Что звали нас к источникам средь скал,
От звезд и солнца лето напролет
Укрытых, к водопадам на изломах
Речушек горных. Сладко вспоминать!
И сердцем прежним чувствую опять
Тот дивный трепет, напряженье то,
Когда с холмов в июльский полдень ввысь
Взвивался змей воздушный, натянув
Свои поводья, словно резвый конь,
Или с лугов подхваченный внезапно
Ноябрьским ветром, застывал на миг
Средь облаков, чтобы потом рвануться
Куда-то и, отвергнутым, на землю
Вдруг рухнуть всею тяжестью своей.

Вы, домики смиренные, нам кров
Даривщие тогда, забуду ль ваши
Тепло и радость, святость и любовь.
Среди приветливых полей какими
Уютными казались ваши кровли!
Каких только не знали вы забот
И не чурались их! Однако ж были
У вас и праздники, и торжества,
И радости простые: вечерами,
Собравшись у каминного огня,
Как часто мы над грифельной доской
Склонялись низко друг напротив друга
И крестики чертили и нули
В баталиях упорных — впрочем, вряд ли
Их удостою описанья здесь.
А то еще вкруг белого как снег
Стола из ели, вишни или клена,
Сойдясь за вистом, посылали в бой

Войска бумажные — от настоящих
Их отличало то, что после всех
Побед и поражений не разбиты
И не забыты были, но в поход
В составе прежнем выступали вновь.
Компания престранная! Иные,
К сословью низкому принадлежа,
По прихоти судьбы вдруг возвышались
Едва ли не до трона, замещая
Правителей усопших. Как тогда
Гордыня распирала их — всех этих
Бубен и пик, треф и червей! А нам
Как сладко было всеми помыкать!
Издевкам, шуткам не было конца,
Когда потом, словно Гефест с небес,
Ниц падали — великолепный туз,
Сей месяц на ущербе, короли
Опальные и дамы, коих роскошь
Сквозь тлен еще светилась. За окном
Меж тем шел дождь, или мороз жестокий
Все пробовал на зуб, и лед, ломаясь
На озере близ Истуэйта, порой,
К воде сползая, долы и холмы
Протяжным звуком оглашал, похожим
На вой проголодавшихся волков.

И тщательно припоминая здесь,
Как дивною наружностью природа
Меня пленяла с детства, занимая
Мой ум величием и красотой
Своих созданий, и пристрастье к ним
Старалась пробудить, все ж не забуду
О радостях иных — происхожденье
Их мне не ведомо: как временами
Средь шума и тревог я ощущал
Вдруг чувства новые — святой покой
И тишину — и словно сознавал
Свое родство со всем, что на земле
Живет и дышит, и внезапно вещи
По-новому мне открывались, будто
Спешили донести простую весть
О том, что жизнь и радость суть одно.

Да, отроком еще, когда земля
При мне раз десять свой свершила круг,
К чудесным сменам приучая ум,
Я Вечной красоты уж замечал
Присутствие и часто по утрам

Вдыхал ее как вьющийся туман
Долины и в недвижной глади вод,
Берущих цвет у тихих облаков,
Ее, казалось, созерцал лицо.

Расскажут вестморлендские пески
И кряжи Камбрии, как, когда море,
Тень сумерек отринув, посылало
Пастушьим хижинам благую весть
О восхождении луны — как долго
Стоял я, перед зрелищем сиим,
Как странник, онемев и никаких
Подобий оному не находя
В короткой памяти своей, и мира,
И тишины в смятенном сердце, все ж
Уйти не мог и, взглядом обводя
Сияющий простор, словно сбирал
С дрожащих лепестков в сем поле света
Блаженство новое, как юный шмель.

Так, часто средь ребяческих забав,
Средь радостей внезапных, словно вихрь
Захватывавших нас, да столь же бурных,
Сколь мимолетных, вдруг, словно щита
Блистаньем поражен, я застывал
На месте: то природа говорила
Со мной своим бессмертным языком.
И преткновенья наши, и невзгоды —
Проделки, верно, озорливых фей —
Небесполезны были, сохраняя
В себе сей драгоценный отпечаток
Картин и форм, что много лет спустя
Умели оживать и повзрослевший
И приземленный окрыляли ум.
И даже если радости самой
Стирался след, то сцены — те, что были
Свидетелями ей, — перед глазами
Вставали вновь и вновь, и с ними чувства
Забытые: и воспитатель-страх,
И удовольствие, и все, что ей,
Той радости, сопутствовало, — так
Исполнены великой красоты,
Сии картины, времени барьер
Преодолев, уже не покидали
Ума, родными становясь, и каждый
Цвет, и оттенок, каждая черта
Хранили с прошлым радостную связь.

Из книги седьмой

Пребывание в Лондоне

О, друг любезный мой, одно из чувств,
Мной здесь испытанных, принадлежит
По праву городу сему — как часто,
С людским потоком слившись, я шагал
По шумным улицам и говорил
Себе: "Здесь тайна — каждое лицо".
И я глядел, глядел не отрываясь,
Вникая, что, и где, и как, но вот
Все образы вдруг делались подобны
В горах туману или зыбким снам,
И повседневности докучной бремя —
Надежд и страхов, прошлых, настоящих,
Законов, правил всех, что человек
Себе установил, — не узнавая
Меня, не узнанное мною, прочь
Куда-то отходило. И однажды,
В подобном настроении пройдя
Дальше обычного и затерявшись
В сем карнавале, я был поражен
Внезапно видом нищего — подняв
Глаза слепые, прислонясь к стене,
Стоял он неподвижно. На листке,
Приколотом к лохмотьям, я прочел
Историю его. И в тот момент
Мой ум, как жернов под струей воды,
Вдруг повернулся: все, что о себе
И о вселенной знаем мы, — не больше
Записки этой жалкой на груди
У нищего — подумал я. И образ
Сей недвижимый, с каменным лицом
И мертвым взглядом, показался мне
Посланьем из иного бытия.

Из книги десятой

Пребывание во Франции и французская революция

И в это время, окрылен надеждой,
В Париж вернулся я. Опять бродил —
Лишь с большим интересом, чем когда-то, —
По улицам знакомым, проходил
Мимо тюрьмы, где доживал свой век
Монарх несчастный, разделив судьбу
С супругой и детьми, и тот дворец,
Что штурмом был недавно взят под залпы

Артиллерийские и рев толпы.
И площадь Карузель (совсем пустую)
Я пересек — недели три назад
Там груды мертвых и полуживых
Тел громоздились, — и теперь, взирая
На все эти места, я был как тот,
Кто силится прочесть страницы книги
Незабываемой, но, языка
Не зная, лишь глядит на них с тоской,
Молчание поставив им в вину.
В ту ночь мне не спалось, я ощутил,
В каком безумном мире нахожусь.
В чердачной комнате под самой крышей
Большого дома предстояло мне
Ночь провести — в иное время я
Такому месту был бы рад, и даже
Теперь мне нравилось здесь. Я не спал,
Читая при полуоплывшей свечке,
Но с перерывами. Недавний страх
Я ощущал как подступавший вновь.
Все мысли были о сентябрьской бойне,
От коей месяц только отделял
Меня, — я словно кожей ощущал
Тот материальный страх (все остальное
Из вымыслов достраивалось мной,
Из скорбных хроник тех жестоких дней,
Воспоминаний чьих-то и туманных
Предчувствий). Лошадь учится на корде,
Небесный ветер на круги своя
Всегда стремится, год идет за годом,
Отлив становится приливом, день
Сменяет день, все сущее должно
Родиться снова. И землетрясенье
Насытиться не может никогда!
Так говорил я сам с собой, покуда
Не услыхал, как будто некий голос,
Над городом вознесшись, прогремел:
Не спи! Не спи! — Все стихло, но потом,
Немного успокоившись, едва ли
Я мир обрел, и мой чердак теперь,
Хоть мертвая была в нем тишина,
И вовсе непригодным был для сна,
Как чаща, диких полная зверей.

Чарльз Диккенс

Современная наука поимки воров

Очерк

Перевод и вступление А. Ливерганта

От переводчика

Очерк Чарльза Диккенса "Современная наука поимки воров" увидел свет в 16-м номере выпускавшегося писателем журнала "Домашнее чтение" от 13 июля 1850 года. В этом очерке впервые выведен полицейский детектив сержант Уитчем, человек невыразительной внешности (низкорослый, полноватый, с изуродованной оспой лицом, плохо, неряшливо одетый), но при этом неизменно добивающийся "выразительных" результатов. Находчивого Уитчема, который действует и в других очерках Диккенса этих лет, например, в "Сыскной полиции", Диккенс не придумал: сержант Уитчем действительно служил в лондонском сыске, и писатель с ним встречался. Обращают на себя внимание пародийные черты этого "серьезного", социально значимого очерка: Диккенс высмеивает непревзойденный дедуктивный метод лондонских сыщиков, у которых на расследование сложных дел "уходит десять минут".

ЕСЛИ воровство — это искусство (а кто станет отрицать, что наиболее утонченные виды этого занятия заслуживают именоваться изящным искусством), то поимка воров — наука. И то сказать, для овладения многотрудным делом поимки воров потребуется недюжинная изобретательность вора, его знание человеческой натуры, все его мужество, все его хладнокровие и владение собой, его незаурядная способность читать мысли по выражению лица; вся его несравненная ловкость рук, весь его богатый жизненный опыт и умение им в любую минуту воспользоваться; все хитроумные способы менять в случае необходимости свою внешность, равно как и редкий дар достоверно изобразить глубочайшее душевное страдание, а также долготерпение и чистосердечие.

В случае, если какой-нибудь оборванец залезет на улице к вам в карман или неумелый "гастролер" попытается умыкнуть у вас часы, — любому полисмену в любом из семнадцати подразделений лондонского сыска не составит труда мгновенно отреагировать на ваши истошные крики "Держи вора!" Одна-

© А. Ливергант. Перевод, вступление, 2011

ко для поимки мошенников изобретательных, таких, кто не просто крадет, а, подольстившись, выуживает у вас деньги; кто обводит вас вокруг пальца с самым невинным видом, кто успевает обчистить вашу кладовую, покуда ваш слуга спускается в нее по лестнице; кто строит внушительные склады и "освобождает" респектабельные фирмы от солидных партий товара, кто обкрадывает нуждающихся или непутевых молодых людей, — для поимки и наказания таких незаурядных плутов понадобятся полицейские рангом повыше.

К каждому подразделению лондонской полиции приписаны два офицера, именующиеся "детективами". Полицейский штат подразделения состоит из шести сержантов и двух инспекторов. Таким образом, лондонская сыскная полиция, о которой мы так часто последнее время слышим, составляет всего-то сорок два человека, в чьи обязанности входит носить цивильное платье и осуществлять наиболее сложные сыскные операции. Детективы должны не только противостоять всевозможным махинациям всевозможных прохвостов, чьим способом существования является откровенное жульничество, но также раскрывать семейные тайны, расследование коих потребует исключительной деликатности и такта.

Дабы продемонстрировать, чем отличается обыкновенный полицейский от детектива, приведем один пример. Перед отходом ко сну ваша жена обнаруживает, что ее туалетная комната ограблена. Ящики туалетного столика опустошены — остались лишь те украшения, которые были в тот вечер на ней, красоту ее теперь ничто не оттеняет, как если бы она была не знатной леди, а квакершей. Не осталось ровным счетом ничего: все трогательные знаки внимания, коими вы одаривали жену перед свадьбой, в бытность ее женихом, исчезли, в том числе и ваш портрет в рамке, оправленной золотом и драгоценными камнями, брильянты ее покойной матушки, браслеты от "любящего папочки", подаренные ей на прошлый день рождения, бутылочки и скляночки из дорожного несессера, который с риском для жизни привез из Парижа в феврале 1848 года дядя Джон, — улетучились. Сколько-нибудь ценные вещи похищены самым подлым образом; при этом все остальное в комнате осталось нетронутым: ни один стул не сдвинут с места, дорогостоящие часы с маятником на камине тикают как ни в чем не бывало; квартира — такая же чистая и прибранная, какой ее оставила горничная. Ваши домочадцы, переполошившись, бегают вверх-вниз по лестнице, пока, наконец, не собираются в комнате хозяйки. Никто ничего не понимает, и при этом каждый считает своим долгом высказать гипотезу, хотя "кто это сделал" неизвестно решительно никому. Горничная ударилась в слезы, с поварихой вот-вот случится истерика, и в конце концов вы предлагаете вызвать полицию, что воспринимается собравшимися как оскорбление —

хозяин, стало быть, кого-то заподозрил, и прислуга, разобидевшись, спускается к себе.

Является Х-49. Вид одновременно глуповатый и загадочный. Своим ничего не выражающим взглядом он обводит все углы, задерживается на всех лицах в доме (кошка — не исключение). Изучает все замки, затворы и задвижки, уделяя особое внимание тем из них, за которыми хранились украденные сокровища. После чего заявляет, что они "похищены", и дает понять, что локоном[1] на этот раз дело не ограничилось. Затем он дотошно перечисляет те ценные предметы, что не пострадали, отводит вас с глубокомысленным видом в сторону, тушит фонарь и осведомляется, не подозреваете ли вы кого-то из прислуги. Задается этот вопрос таинственным шепотом — для подозрений, дескать, имеются все основания. После чего он исследует верхние спальни и в комнате, где живут служанки, обнаруживает между матрацами плохонькое кольцо — самое дешевое из пропавших, а также негодную серебряную зубочистку. Вы вашим горничным полностью доверяете, но какие только мысли при этом у вас не возникают? Вы предлагаете горничных задержать, однако ваша жена за них заступается, и полицейский отбывает: прежде чем упечь кого-то за решетку, он обязан переговорить с инспектором.

Веди это дело Х-49, вашим бедам не было бы конца и по сей день. Последовала бы целая серия судебных разбирательств по обвинению в клевете и возмещению убытков, что обошлось бы вам в сумму, куда большую, чем стоимость украденных драгоценностей, и вызвало бы негодование всех ваших соседей, а также близких друзей вашей прислуги. Однако, по счастью, инспектор немедленно посылает к вам ничем не примечательного, серьезного вида человека, который сообщает вам, что является одним из двух детективов подразделения Х. На расследование дела у него уходит десять минут. На осмотр помещения — пять. Подобно тому, как знаток живописи с первого взгляда определит, чьей кисти картина, а дегустатор после первого же глотка — какого года вино, так и детектив сразу же узнает "мастеров своего дела" по стилю исполнения. И если не самого исполнителя, то, по крайней мере, "школу", к которой он принадлежит. Осмотрев туалетный столик, он бросает беглый взгляд на парапет вашего дома, а затем — столь же беглый — на задвижки на чердачном окне. Сыщик все понял, и теперь он, скорее всего, обратится к вам со следующими словами:

— Все ясно, сэр. Это дело рук одного из "школы танцоров".

— Боже праведный! — восклицает ваша обворованная супруга. — Этого не может быть! *Наши* дети берут уроки танцев у

1. Намек на ироикомическую поэму "Похищение локона" (1712–1714) английского поэта Александра Попа (1688–1744). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

мсье Падеде, живущего в доме номер 81, и, уверяю вас, учитель это в высшей степени уважаемый... Что же до его учеников...

— "Танцорами", — снисходительно улыбаясь, перебивает ее сыщик, — у нас принято называть грабителей, от которых вы пострадали. — И детектив объясняет вашей жене, что представители воровской профессии делятся на шайки или на "школы". — Все дома по вашей улице, начиная с дома 82, не достроены. Вор забрался на верхний этаж одного из домов и оттуда пролез к вам на чердак...

— Но между нашим домом и восемьдесят вторым — еще сорок домов. Почему в таком случае вор не удостоил своим вниманием наших соседей? — допытываетесь вы.

— Либо потому, что верхние этажи в этих домах труднопроходимы, либо у тамошних хозяек нет столько драгоценностей.

— Но откуда ворам это известно?

— Велись тщательные наблюдения, наводились справки. Ограбление, подобное вашему, готовится обычно не меньше месяца. За вашим домом осуществлялась слежка, грабители выясняли, как складывается ваш день, каковы ваши привычки. Они узнали, когда вы ужинаете, сколько времени проводите в столовой. Затем определяется день проведения операции; и, пока вы сидите за столом, а прислуга подает вам еду, кража совершается. Прежде чем ее совершить, грабители проводят много дней на крышах соседних с вами домов, чтобы узнать, каким образом лучше всего попасть к вам в дом. Выбирается чердак; вор туда проникает, а затем на цыпочках, словно "танцуя", прокрадывается в комнату, предназначенную для ограбления.

— Есть ли у нас *хоть какой-то* шанс вернуть украденное? — с тревогой спрашиваете вы, сразу же, во всех подробностях, представив себе как обстояло дело.

— Надеюсь, что да. Я уже отправил своих людей вести наблюдение за "заказчиками".

— Заказчиками?!

— За скупщиками краденого, — поясняет детектив, отвечая на наивный вопрос вашей благоверной. — Ваши драгоценности будут вынуты из оправы, а золото пойдет на переплавку. — Бедная жена издает сдавленный крик. — Мы посмотрим, не будет ли в это ночное время поблизости какого-то шума. Не идет ли дым из какой-нибудь печи, где переплавляется золото. Я *сам* попробую отыскать одного из подозреваемых "чердачников" — еще одна кличка этих грабителей. "Подставить" ваших горничных, подложив им в постель кольцо и зубочистку, мог только один человек. Думаю, я знаю, чьих это рук дело. Это наверняка его работа.

На следующее утро все предположения сыщика полностью подтверждаются. Он является к вам, когда вы после бессон-

нои ночи завтракаете, и кладет перед вами на стол полный список украденных вещей, после чего извлекает из кармана кое-какие драгоценности жены, чтобы она их опознала. По прошествии трех месяцев вашей половине возвращают почти все вещи, невиновность ее горничных установлена и не подлежит сомнению; вора же забирают из "школы" и отправляют "на каникулы" за решетку.

По сравнению с достижениями небольшой армии лондонской сыскной полиции, дело это ничем особо не примечательно. Ведь иногда детективам приходится расследовать грабежи, осуществленные с такой дьявольской изобретательностью, что найти преступника, на взгляд обывателя, не представляется возможным. Вор не оставляет ровным счетом никаких следов. Кажется, ключей к разгадке преступления и в помине нет, однако опыт детектива помогает ему выбрать верный путь, невидимый для наших глаз. Не так давно — дело было в фешенебельном отеле — вор залез в дорожный сундук, кража была совершена столь искусно, что заподозрить было решительно некого. Детектив, за которым послали, откровенно признался, тщательно изучив дело, что надежд на раскрытие преступления нет никаких. Однако, выходя из номера, где стоял обобранный сундук, он подобрал с ковра самую обыкновенную пуговицу и, не сказав никому ни слова, сравнил ее с пуговицами на рубашках, что еще остались в сундуке. Пуговицы не совпадали. Он промолчал, но весь оставшийся день провел в гостинице. Со стороны могло показаться, что он задался целью со всей тщательностью исследовать все бельевые шкафы. В действительности же он искал рубашку или манжету, где бы не хватало одной пуговицы. Поиски его длились не один час, однако сыщик не унывал и в конце концов терпение его было вознаграждено. У одного остановившегося в гостинице джентльмена на рубашке отсутствовала одна пуговица. Чего не заметил бы никто, кроме нашего детектива. Он внимательнейшим образом изучил форму оставшихся на рубашке пуговиц, и оказалось, что они в точности совпадают с той, которую он давеча подобрал на ковре. Он проследил, куда делись пропавшие из сундука ценные вещи, установил связь между ними и подозреваемым, устроил очную ставку подозреваемого с владельцем сундука и, наконец, сумел принудить вора признаться в содеянном. В другой гостиничной краже ключом к раскрытию преступления явился обломок ножа, сломавшегося в замке кофра. Нанятый для раскрытия этого дела детектив долго и неустанно занимался поисками ножей со сломанным лезвием и в итоге обнаружил такой нож у младшего официанта, который на поверку вором и оказался.

Повышенной бдительности заслуживают так называемые модники — разодетые в пух и прах столичные жулики, которые принадлежат к лондонской "школе" и число которых дос-

тигает от ста пятидесяти до двухсот человек. В "профессии" они котируются очень высоко.

Самые ловкие из них ухитряются избегать встречи со стражами закона; эти попадают на скамью подсудимых чрезвычайно редко. Один такой "модник", некий Кларк, совершил множество преступлений, однако за четверть века ни разу пойман не был. Умер он "состоятельным джентльменом" в Булони, где жил в старости на свои "сбережения", которые вложил в недвижимость. Старый ворюга Уайт благополучно дожил до восьмидесяти лет, однако повел он себя неблагоразумно, ибо счел за лучшее существовать на пожертвования других "модников". Когда же его старых товарищей настигли закон или смерть, следующее поколение "модников" признать его право на их щедрость наотрез отказалось, и свои дни он окончил в работном доме. В среднем же представители этой славной воровской "школы" проводят на свободе не больше четырех лет кряду.

Заработки некоторых "модников" весьма велики. Они располагают солидными суммами, которые нужны им для проведения специальных операций. Велики и их дорожные расходы, ибо свой урожай они снимают во время важных публичных оказий, где бы эти оказии ни происходили – в городе или в сельской местности. Четверо таких "модников", к примеру, нажились лет семь назад на ливерпульской ярмарке крупного рогатого скота. На ярмарке, как таковой, лондонская сыскная полиция не присутствовала, но один из детективов подстерег мошенников на Юстон-стейшн. По прошествии четырех проведенных на ярмарке дней джентльмены, которых он разыскивал, вышли из вагона первого класса; одеты все четверо были с иголочки. Детектив, не поднимая шума, задержал их багаж; "модники" упросили его обращаться с ними, как с джентльменами. Именно так он и поступил: отвел их для осмотра багажа в отдельную комнату, где они любезно предложили ему пятьдесят фунтов – в случае если он их отпустит. От денег сыщик отказался и самым тщательным образом изучил содержимое их чемоданов, где обнаружились несколько золотых булавок, часы (некоторые очень ценные), цепочки и кольца, серебряные табакерки, а также банкноты на общую сумму сто фунтов! Но поскольку владельцев большинства украденных вещей отыскать не удалось, те же, кто объявился, в суд подавать не пожелали, "модники" в итоге отделались пустяшным наказанием.

Чтобы сорвать планы "модников", два сержанта лондонской сыскной полиции познакомились с каждым из них лично и вследствие этого появились на месте преступления как раз вовремя, предотвратив ограбление. Детективы, таким образом, становятся не только сыскной, но и превентивной полицией. Приведем пример.

Вы приехали в Оксфорд на День поминовения. Спускаясь по широкой лестнице в "Рубаке", вы обгоняете превосходно одетого джентльмена, всем своим видом напоминающего иностранца. Полосатый жилет, до блеска начищенные штиблеты и девственная белизна его перчаток (одну из коих он теребит в своей не лишенной изящества, холеной руке) являются неопровержимым свидетельством того, что направляется он на бал, который этим вечером дают в "Мертоне". Взгляд, коим он вас мимоходом окидывает, быстр, но внимателен; и если джентльмен и задерживает сей испытующий взгляд, то не столько на вашем лице, сколько на золотых часах — вы только что извлекли их из кармана, дабы удостовериться, что на ужин вы не опаздываете. Когда вы делаете шаг в сторону, чтобы дать ему пройти, он, в благодарность за вашу вежливость, грассируя, на парижский манер, произносит в нос "пар-р-р-дон" и одаривает вас столь учтивой улыбкой, что у вас невольно возникает мысль, а не говорит ли он по-английски; вам он определенно пришелся по душе, и вы уже прикидываете: если он будет ужинать в ресторане отеля, не грех было бы с ним познакомиться.

У подножия лестницы на коврике стоит человек. Неприметен, честный взгляд, во внешности и выражении лица нет ровным счетом ничего угрожающего, однако впечатление, которое он одним своим видом производит на вашего будущего знакомца, совершенно поразительно. Элегантно одетый господин в белых перчатках внезапно, словно пытаясь удержаться на ногах после выпущенной в него пули, поднимается на носки, щеки его покрываются мертвенной бледностью, а губы, которые складываются в слово "coquin!"[1], предательски дрожат. Он сознает, что повернуть обратно (он с удовольствием бы повернул, если б мог) уже поздно, ибо стоящий у подножия лестницы не спускает с него глаз. Ему ничего не остается, как заговорить первым, что он и делает, — правда, шепотом. Он отводит неприметного человека в сторону, и вы слышите, как тот требует от мсье, чтобы он посадил всю свою "школу" на семичасовой поезд и отправлялся восвояси.

Вы воображаете, что мсье — это, скорее всего, какой-нибудь несчастный школьный учитель, угодивший, на свою беду, в руки к бейлифу. Гостиницу они покидают вместе — очень возможно, направляясь в место предварительного заключения. Вам так жаль вашего нового знакомого, что подмывает броситься за ними следом и предложить за мсье залог. Вы, однако, очень голодны, к тому же как раз в эту минуту официант объявляет, что ужин подан.

В кабинете за лестницей стол накрыт на четверых, однако собутыльников за ним лишь трое. Люди это, судя по всему, уравновешенные — нет, явно не джентльмены, но вести себя умеют.

1. Здесь: негодяй! (*франц.*)

— Что с мсье? — интересуется один из них, однако ответа на этот вопрос не знает никто.

— Подождем его еще?

— Нет, хватит. Официант, подавайте!

По тому, как они держатся, видно, что "Рубак" слишком для них фешенебелен. К столовому серебру они не привычны. Серебряные вилки кажутся им столь тяжелыми, что один из сидящих за столом, словно невзначай, взвешивает вилку на ладони, в то время как внимание его соседа занято гравировкой перечницы и солонки. При этом разговор между ними не прерывается ни на минуту. Когда вносят рыбу, третий, сидящий за столом бросает безразличный взгляд на крышку блюда и, когда официант выходит из кабинета за соусом, стучит по ней ногтем и, обращаясь к сидящему напротив, осведомляется:

— Серебро?

Тот отрицательно качает головой и дает понять, что крышка *всего-навсего* металлическая. Официант приносит холодный пунш, и друзья принимаются за еду. Пьют они немного, но смешивают напитки, нисколько не задумываясь о последствиях. Холодный пунш они запивают шерри, шерри — шампанским, в промежутке же пропускают стаканчик портвейна и бутылочного портера. Их беседа становится все громче и оживленнее — однако пьяными их не назовешь. Ценитель серебряных крышек рассказал друзьям отличный анекдот, и собутыльники покатываются со смеху. И тут в кабинете появляется все тот же призрак. Когда он, уперев костяшки пальцев в край стола, обводит всех строгим взглядом, громкий смех, словно по волшебству, смолкает. Перемена, произошедшая с придворными спящей красавицы, которые в мгновение ока погрузились в глубокий сон, — ничто в сравнении с той, что произошла с джентльменами, сидящими в "Рубаке". Сейчас вы, как никогда, понимаете смысл выражения "лишиться дара речи". Таинственный незнакомец меж тем интересуется, располагают ли сидящие за ужином наличными деньгами.

— Наличности сколько угодно, — следует ответ.

— За гостиницу, надо полагать, заплачено? — продолжает задавать вопросы все тот же неумолимый голос; он, как выясняется, принадлежит тому самому неприметному человеку, который давеча так нелюбезно обошелся с французом.

— До последнего пенни.

— Точно? — допытывается вопрошающий.

— Честное слово...

— Тихо! — перебивает его нарушитель спокойствия и предостерегающе поднимает руку. — Сегодня что-нибудь натворили?

— Ничего. Ровным счетом ничего.

Затем он произносит вполголоса еще что-то, и до вас вновь доносятся слова "школа" и "семичасовой поезд". Сидящие за

столом не в том возрасте, чтобы быть учениками француза; скорее, они — его подручные. И все-таки маловероятно, чтобы всем им было предъявлено одно и то же обвинение одним и тем же полицейским чином!

Тут со счетом в руке появляется встревоженный хозяин гостиницы, за ним следует старший официант — он убирает со стола и при этом внимательно считает вилки. Троица платит по счету и, крадучись, покидает ресторан; таинственный человек неотступно следует за ними. В этот момент они похожи на овец, которых гонят на бойню.

Вы сопровождаете троицу на вокзал и на перроне обнаруживаете француза, тот горько жалуется, что его "продали ни за что". Троица сочувственно вздыхает. Несмотря на всемогущество преследующего их таинственного незнакомца, ваше любопытство вынуждает вас к нему обратиться. Вы отходите с ним в сторону, и он раскрывает вам свои карты.

— Дело в том, — говорит он, — что я сержант Уитчем из сыскной полиции.

— А эти четверо?

— Члены воровской школы "модников".

— "Школы"?!

— Шайки. Бывают самые разные шайки, то бишь группы людей, которые "работают" вместе, подыгрывая друг другу. Эти джентльмены и по изобретательности, и по мастерству котируются весьма высоко, и, останься они здесь, урожай бы они собрали очень неплохой. Француз — их главарь.

— А почему они с такой покорностью выполняли ваши распоряжения?

— Потому что понимают: если бы я их задержал (а я мог это сделать, ибо знаю, что они собой представляют) и отвел к мировому судье, их бы упекли за решетку как мошенников и бродяг на месяц, по меньшей мере.

— Стало быть, они предпочитают лишиться очень неплохой наживы, готовы отказать себе в званом обеде — лишь бы не угодить в тюрьму?

— Именно так.

Раздается звонок, и все пятеро в одном и том же вагоне отбывают в Лондон.

Эта история и в самом деле имела место; другая, с ней сходная, произошла во время визита королевы в Дублин. Одного появления офицера сыскной полиции перед королевским поездом, в котором "модники" уже разместились, было достаточно, чтобы "школа" изменила свои планы. Они сочли за лучшее вернуться в Англию тем же пароходом, что и детектив, а не оставаться в Ирландии, где бы их почти наверняка посадили на четырнадцать или на двадцать восемь дней как мошенников и бродяг.

Детективы, о которых идет речь, так хорошо знают своих "подопечных", что нередко могут по выражению лица, по тому,

как "модники" себя ведут, догадаться, что́ они замышляют. Сведения, которые сыщики собирают об этих людях, именуются в полиции "материалом". Некоторое время назад два опытных детектива, досконально изучивших всех "модников" до одного, шли по Стрэнду по своим делам и увидели, как два "представителя" сей славной "школы", оба превосходно одетые и отличающиеся изысканными манерами, входят в ювелирный магазин. Детективы дождались, пока "модники" выйдут, и, заметив, как они обменялись понимающими взглядами, пришли к выводу, что у ювелира они побывали неспроста. Сыщики последовали за ними, и через несколько минут один "модник" что-то передал другому. Воры были задержаны, обвинены в краже, и выяснилось, что из магазина они вынесли два золотых монокля и несколько колец с драгоценными камнями. "Глаз, — сообщил нам один из детективов, — отличный детектор. По выражению лица затерявшегося в толпе 'модника' можно догадаться, что у него на уме".

Считается, что число лондонцев, зарабатывающих на жизнь воровством, не превышает шести тысяч; из них около двухсот — первоклассные воры или "модники"; еще шестьсот — аферисты, мошенники, делающие прибыль на коммерческих и денежных операциях, а также похитители собак. Число взломщиков, "танцоров", "чердачников" и других орудующих отмычками мастеров своего дела, достигает сорока. Остальные же являются карманниками и прочими мелкими жуликами — в основном это подростки, которые забираются в лавки и крадут деньги из кассы.

Наука поимки воров необходима для того, чтобы разыскать или перехитрить всех этих прохвостов. В настоящем очерке, однако, невозможно дать нашему читателю сколько-нибудь полное представление о том, каким мастерством, умом и познаниями должен обладать полицейский детектив. К этой теме мы еще вернемся в одном из следующих выпусков.

Уинстон Черчилль

Изречения и размышления

Перевод и вступление А. Ливеранта

Если бы Альфред Нобель ко всем прочим премиям учредил еще и награды политическому лидеру и военному стратегу, то Уинстон Черчилль был бы вправе претендовать на них, по меньшей мере, с тем же основанием, что и на премию по литературе, которой он удостоился в 1953 году.

Когда герцог Мальборо в начале XVIII века и герцог Веллингтон веком позже воевали на континенте с французами, самому Альбиону, хотя эти полководцы и считались "спасителями отечества", ничего, по существу, не угрожало. В войне же с Гитлером на карту было поставлено само существование страны, независимость которой Черчилль — не без помощи союзников, разумеется, — в жесточайшей схватке отстоял.

Одержал Черчилль немало побед и над своими многочисленными и влиятельными политическими оппонентами, неизменно демонстрируя в борьбе с ними энергию, решительность, изобретательность, прозорливость и отвагу. То же, что он отважен, стало ясно еще в начале века, во время англо-бурской войны, когда совсем еще юный офицер Уинстон Черчилль бежал, рискуя жизнью, из бурского плена.

А еще — ненависть к коммунизму, которому в 1946 году он объявил холодную войну. А также — отменное чувство юмора, искусство того, что по-английски принято называть словом "repartee", означающим остроумную, меткую, находчивую реплику. В этом искусстве, где сопрягаются краткость и точность в выражении парадоксальной (часто, впрочем, лишь на первый взгляд) мысли, Черчилль нисколько не уступает таким непревзойденным словесным фехтовальщикам, как его соотечественники Сэмюэль Джонсон, Эдмунд Бёрк, Оскар Уайльд, Бернард Шоу.

В Англии регулярно под эгидой общества Черчилля выходят тщательно отобранные и прокомментированные афоризмы нобелевского лауреата на все случаи жизни. Черчилль — как правило, язвительно, зло, а то и предвзято — высказывается о политике и политиках, о войне и литературе, об истории и судьбе отдельных стран и народов, о журналистике, образовании. А также — об изобразительном искусстве (Черчилль ведь был не только выдающимся политиком и писателем, но и неплохим художником) и языке. Кстати, о языке. Черчиллю — писателю и политику — принадлежит немало неологизмов, которые исследователи прозвали "черчиллизмами". Черчиллизмы занимают заметное место в необъятной "черчиллиане", их число с каждым годом растет по мере исследования многообразного творческого наследия крупнейшего политика XX века.

© А. Ливергант. Перевод, вступление, 2011

Афоризмы, изречения, реплики У. Черчилля, вошедшие в настоящую подборку, взяты из составленного Ричардом М. Лэнгвортом сборника "Острословие Черчилля", который в этом году выйдет в московском издательстве "Иностранка". Редакция благодарит издательство за представленную возможность безвозмездной публикации фрагментов этой книги на страницах журнала, в номере, посвященном английской литературе.

Полемика

Англо-американская помесь (1952)[1]

Фельдмаршал Слим[2]. Кончится, думаю, тем, что мы создадим некую помесь — винтовку наполовину английскую, наполовину американскую.

У. Ч. Помилуйте, фельдмаршал, ведь это же вы меня описываете.

Виселица (1948)

У. Ч. Смерть через повешение, если казнь осуществляется по всем правилам, абсолютно безболезненна.

Мистер Стаббз. А вы попробуйте на себе.

У. Ч. Как знать, может быть, и придется.

Виселица (1952)

Поклонница. Неужели вам не приятно сознавать, что каждый раз, когда вы выступаете с речью, зал забит битком.

У. Ч. Приятно, и даже очень, но каждый раз, когда я вижу полный зал, я не могу не думать о том, что, если бы я не произносил речь, а поднимался на эшафот, зрителей собралось бы вдвое больше.

Возмущение (1920)

У. Ч. Мне бы казалось, что моему коллеге[3] следовало соразмерять возмущение с состоянием своего здоровья.

Выше его понимания... (18 ноября 1952)

Льюис (*член парламента от Лейбористской партии*). Премьер-министру, надеюсь, известно, какую тревогу испытывает народ этой страны в связи с корейским конфликтом?

1. Речь идет о сравнительных достоинствах нового английского и американского автоматического оружия. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Английский фельдмаршал сэр Уильям Слим в 1951 году, когда Черчилль вновь стал премьером, возглавлял британский генштаб.
3. Речь идет о капитане Веджвуде Бенне, у которого во время речи Черчилля в парламенте случился апоплексический удар.

У. Ч. Мне слишком хорошо известно, какую тревогу испытывает уважаемый член парламента по многим вопросам, которые выше его понимания.

Глухой член парламента

У. Ч. (*глядя на пожилого парламентария, который вслушивается в речь, приставив к уху слуховой аппарат*). Нет, вы только посмотрите на этого человека! Он не пользуется преимуществом, коим наградило его Провидение!

"Голая" встреча (1941)

У. Ч. (*Когда Рузвельт без стука вкатился на своем кресле в комнату Черчилля, который только что вышел из ванной и не успел одеться.*) У премьер-министра Великобритании нет секретов от президента Соединенных Штатов Америки.

Здоровье (1949)

Фотограф. Будем надеяться, сэр, что я еще сфотографирую вас на ваш столетний юбилей.

У. Ч. Почему бы и нет, ведь вы производите впечатление человека вполне крепкого и здорового.

Мертвая птица (1946?)

Эньюрин Бивен[1]**.** Уинстон, у вас расстегнута ширинка.

У. Ч. Пусть это вас не смущает. Мертвая птица из гнезда не вылетит.

Нечистая совесть (1938)

У. Ч. Сэр Кингсли Вуд[2] назначен министром совсем недавно, поэтому совесть у него пока чиста.

Премьера (1922)[3]

Бернард Шоу. Оставляю вам два билета на свою премьеру. Можете взять с собой друга — если он у вас есть.

У. Ч. На первый спектакль прийти не смогу. Приду на второй — если он у вас будет.

Пьян и нехорош собой (1946)

Член парламента Бэсси Брэддок. Уинстон, вы пьяны, больше того, вы чудовищно пьяны.

1. Эньюрин Бивен (1897–1898) — с 30-х гг. лидер левого крыла Лейбористской партии, в 1945–1951 гг. — министр здравоохранения, в 1951 г. — министр труда.
2. Кингсли Вуд — министр авиации Великобритании с мая 1938-го по апрель 1940 г.
3. Б. Шоу пригласил Черчилля на премьеру своей пьесы "Святая Иоанна" (1922).

У. Ч. Мой дорогой Бэсси, вы нехороши собой, больше того, вы чудовищно нехороши собой. Но завтра я буду трезв — вы же останетесь таким же уродом[1].

Христианские коммунисты (1944)

На вопрос Черчилля, какую партию они представляют, члены итальянской делегации ответили, что они — христианские коммунисты.

У. Ч. Что ж, вам повезло, катакомбы у вас под рукой.

Политика и правительство

Дипломатия (1943)[2]

Я настаиваю: завтра вечером вы ужинаете у меня. И я имею полное право вас к себе пригласить. Во-первых, я старше вас, во-вторых, правительство, которое я представляю, самое старое из трех[3]. Ну а в третьих, завтра, если хотите всей правды, у меня день рождения.

Золотой стандарт (1924)

...когда я говорю с банкирами и экономистами, они спустя некоторое время переходят на персидский, а затем напрочь забывают о моем существовании.

Монархия (1947)

Социалисты очень хорошо относятся к монархии и многое для нее делают... Они даже ходят на приемы в Букингемский дворец. Причем те, кто придерживается самых крайних взглядов, — в свитерах.

Поджигатель войны (1951)

Мне крайне не понравилось, что мистер Сталин назвал мистера Эттли "поджигателем войны". По-моему, это совершенно неверно. И несправедливо, ведь словосочетанием "поджигатель войны", как вы наверняка слышали, многие друзья и последователи мистера Эттли собирались во время выборов заклеймить меня... Сталина, таким образом, следовало бы обвинить не только в клевете, но и в нарушении авторского права.

1. Аллюзия на фильм 1934 года "Это дар", где один из персонажей, в ответ на обвинение в пьянстве, заявляет: "Да, а вы безумны. Но я завтра буду трезв, вы же останетесь безумцем на всю оставшуюся жизнь".
2. Сказано Уильяму Авереллу Гарриману (1891–1986), послу США в СССР с 1943 по 1946 гг.
3. Имеются в виду правительства союзников — СССР, США и Великобритании.

Полемика (1943)

Есть люди, которые считают, что они имеют право говорить все, что им вздумается, но если кому-то взбредет в голову им перечить, то это — нарушение закона.

Политические партии (1907)

Смена партий власти, как и севооборот, вещь полезная.

Революция (1912)

Тот, кто рассуждает о революции, должен готовиться к гильотине.

Социалисты (1949)

Никогда еще в истории правительств такие маленькие люди не поднимали такой большой шум.

Изречения и размышления

Будущее (1958)

Будущее неведомо. Вселять в нас надежду должно прошлое.

Великодушие (1941)

Если и хочешь сбить противника с ног, то лишь за тем, чтобы поднять и привести его в чувство.

Взгляд в прошлое (1944)

Чем дольше смотришь назад, тем дальше видишь вперед.

Взятка (1953)

Гораздо лучше подкупить человека, чем убить его, да и быть подкупленным куда лучше, чем убитым.

Вклад (1943)

Лучший, наиболее дальновидный вклад для страны — это вкладывать в уста наших детей материнскую грудь.

Война и демократия (1947)

С тех пор как утвердилась демократия, у нас одна война сменяется другой.

Война и мир (1930)

Те, кто способен победить в войне, как правило, не в состоянии заключить выгодный мир; те, кто может заключить выгодный мир, никогда бы не одержали победу в войне. Мне же по силам, пусть это и звучит нескромно, и то и другое.

Демократия (1899)

Завзятые демократы рыцарским обхождением не отличаются.

Дурная компания (1943)[1]

Насколько проще попасть в дурную компанию, чем из нее выйти!

Женщины (1900)

Трудно, практически невозможно, унизить красивую женщину; она останется красивой, унизивший же ее останется в дураках.

Капитализм и социализм (1945)

Недостаток капитализма — в неравном распределении благ. Преимущество социализма — в равном распределении лишений.

Мифы (1940)

В тяжелые для страны времена значение мифов трудно переоценить.

Моральная сила (1937)

Моральной силе, увы, не заменить вооруженных сил, но подкрепление это очень солидное.

Необучаемость (1928)

Необучаемость от колыбели до могилы — вот первая и определяющая черта человечества.

Парламент (1951)

Цель парламента — заменить кулачные бои словесными.

Принципы (1936)

Всегда легче заявлять о своих принципах, чем осуществлять их.

Промах (1898)[2]

Самое веселое в жизни — это когда в тебя стреляют и промахиваются.

1. Сказано спустя три недели после падения режима Муссолини.
2. Это изречение Черчилля любил цитировать президент Рейган после совершенного на него неудачного покушения в 1981 г.

Совет (1921)

Разбей сад, в котором ты будешь сидеть, когда разбивать больше будет нечего.

Честность (1923)

Хорошо вести себя честно, но премьер-министру не менее важно вести себя правильно.

О *войне*

Англо-бурская война (1899)

Остудите людей. Они представляют интерес для моей газеты.

Военные специалисты (1943)

Вы можете взять самого отважного моряка, самого неустрашимого летчика или самого отчаянного солдата, посадить их всех вместе за стол — и что вы получите? Их суммарный страх.

Вторая мировая война (1939)

...странный, протяжный, воющий звук, который вскоре станет привычным, режет слух... мы спустились в убежище, вооруженные бутылкой бренди и прочими необходимыми медицинскими принадлежностями.

Вторая мировая война (1940)

Забавно, что в этой войне я еще ни разу не добивался успеха, однако снискал сплошные похвалы, тогда как в прошлой войне мне удалось кое-чего добиться[1], но ничего, кроме упреков, я не заработал.

Вторая мировая война (1941)

Месяц назад я обратил внимание на долгое молчание герра Гитлера, и стоило мне произнести эти слова, как он выступил с речью, в которой пообещал германскому народу, что Москва падет через несколько дней. Из чего следует — с чем все, я уверен, со мной согласятся, — что с его стороны было бы куда разумнее не раскрывать рот раньше времени.

Вторая мировая война (1941)

Ее понесет прибоем...[2] Давайте остановимся на моем решении. И не приводите мне свои доводы. Возникшие трудности сами приведут свои доводы.

1. Черчилль имеет в виду оборону Антверпена и Дарданеллскую кампанию 1915 г.
2. Речь идет о плавучей крепости Малберри-Харборс, которая использовалась во время высадки союзников в Нормандии в 1944 г.

Вторая мировая война (1941)

Этой войны никогда бы не было, если бы мы под влиянием Америки и современных веяний не изгнали из Австрии Габсбургов, а из Германии — Гогенцоллернов, тем самым дав гитлеровскому монстру выползти из своей клоаки и занять пустующие троны. Подобные взгляды сегодня, понятное дело, не слишком популярны.

Вторая мировая война (1943)

У. Ч. Я пью за пролетариат.
Сталин. А я — за Консервативную партию.

Вторая мировая война (1944)

По одну сторону от меня сидел, раскинув лапы, громадный русский медведь. А по другую — огромный американский буйвол. А между ними затаился бедный, маленький английский ослик, и только он, один из трех, знал дорогу домой.

Вторая мировая война (1945)

По-моему, крайне важно, чтобы рукопожатиями с русскими мы обменялись как можно восточнее.

Вторая мировая война (1951)

Один джентльмен, мистер Томсон, подарил мне льва Рота — отличного самца, ставшего за восемь лет отцом многих львят. Вместе со мной в самолете летел мой секретарь, прелестный человек, грамотный, деловой — вот только ростом не вышел. Когда он подошел ко мне с бумагами, я решил его подразнить и показал ему великолепную фотографию Рота с разинутой пастью. "Если буду недоволен вашей работой, — пригрозил я секретарю, — то отдам вас ему на съедение. Мяса ведь сейчас не хватает". Секретарь воспринял мои слова совершенно серьезно и сообщил в Лондон, что у меня начался бред.

Накануне Второй мировой войны (1936)

Сегодня мир делится на страны самоуверенные, которые ведут себя агрессивно, и страны, которые утратили уверенность, и ведут себя нелепо.

Противник (1930)

Лорд Беркенхед[1] напомнил мне латинскую цитату о том, как следует обращаться с противником. "Parcere subjectis et debellare superbos", что он перевел, как "Щадите ниспроверженных и расправляйтесь с гордецами". Размышляя о войне,

1. Фредерик Эдвин Смит лорд Беркенхед (1872–1930) — английский государственный деятель, юрист, оратор; с 1919 по 1922 гг. — лорд-канцлер.

я был близок к тому же выводу. Римляне часто предвосхищали многие мои удачные мысли — вот и это изречение по праву принадлежит им.

Размышления о войне (1949)

...кто бы мог подумать, что главной особенностью эпохи простого человека станет уничтожение одних простых людей другими, причем в большем количестве и с большей легкостью, чем это делалось на протяжении пяти веков вместе взятых.

Танки (1942)

Как мы и предполагали, у танка А-22 оказалось немало недостатков, и, когда эти недостатки дали о себе знать в полной мере, танк, что вполне логично, переименовали в "Черчилль". Сейчас эти неисправности в основном устранены.

Ядерное оружие (1950)

Сегодня существует точка зрения, согласно которой атомную бомбу мы вправе применить лишь в том случае, если сначала ее сбросят на нас. Иными словами, пока тебя не застрелили, стрелять первым ты права не имеешь.

О *странах*

Британия (1933)

Наш остров окружен морем. Так было всегда, и, хотя парламент, может статься, этого не понимает, море в стародавние времена было серьезным недостатком, ведь никто не знал, где именно высадится на берег захватчик; очень часто он и сам этого не знал.

Египет (1952)

Я не мог допустить, чтобы Рузвельт уехал, не увидев сфинкса. Мы отправились на машине... Несколько минут мы с Рузвельтом молча смотрели на него. Сфинкс так ничего нам не сказал — лишь загадочно улыбался. Ждать дольше не имело смысла.

Канада (1901)[1]

В Виннипеге у меня состоялась на редкость удачная встреча. Представь: двадцать лет назад здесь было лишь несколько глинобитных хижин, палатки... а вчера вечером — великолепное общество мужчин в вечерних нарядах и дам почти вовсе без нарядов...

1. Из письма матери во время лекционного турне по Канаде.

Польша (1945)[1]

Будет жаль, если мы нашпигуем польского гуся таким количеством немецкой каши, что он сдохнет от несварения желудка.

Россия (1929)

Разве Англия, Франция и Америка в 1919 году воевали с Советской Россией? Нет конечно... Они не раз повторяли, что им совершенно безразлично, как русские устроят свои внутренние дела. Им было все равно – вот теперь и расплачиваются!

Россия (1947)

Призрак отца Черчилля. В России по-прежнему есть царь?

У. Ч. Да, но это уже не Романов. У него другая фамилия.

США *(1932)*

Должен признаться, что был случай, когда я дал себя отвести в бар, где торгуют подпольным спиртным. Я, разумеется, пошел – не зря же я считаюсь исследователем социальных проблем.

США *(1943)*

У. Ч. Ниагарский водопад я видел еще до вашего рождения. Впервые я побывал здесь в 1900 году.

Репортер. И он не изменился?

У. Ч. Принцип тот же. Вода льется сверху вниз.

США

В мире есть только одна страна, где человек верит в ничем не омраченное будущее. Это – США, хотя некоторые ваши привычки меня удручают... Перестаньте пить за едой.

Уганда (1908)

Уганду защищают ее насекомые[2].

Франция (1944)

Хочу вас предупредить: берегитесь, я собираюсь, а верней, попытаюсь говорить по-французски. Задача не из простых: ваши дружеские чувства к Великобритании подвергнутся суровому испытанию.

1. Сказано в ответ на предложение Сталина отодвинуть послевоенные границы Польши на запад, чтобы компенсировать потери польских земель на востоке.
2. Из книги путевых очерков У. Ч. "Мое африканское путешествие".

Югославия (1943)

У. Ч. Вы что, собираетесь после войны жить в Югославии?
Фицрой Маклин. Нет.
У. Ч. Вот и я тоже нет. А потому не кажется ли вам, что разумнее всего предоставить югославам самим решать, как им жить. Сейчас самое для нас главное — определить, кто из них может нанести немцам наибольший урон.

О *современниках*

Лорд Чарльз Бирсфорд (1912)[1]

Он из тех ораторов, про которых говорят: "Перед тем как встать, они не знают, о чем будут говорить; когда говорят, не знают, что говорят; а когда садятся, то не знают, что говорили.

Пэлем Грэнвилл Вудхаус (1944)

Пусть отправляется ко всем чертям. Они примут его с распростертыми объятиями[2].

Лорд Галифакс (1931)[3]

Он из тех христиан, которых совершенно необходимо бросить на съедение львам.

Адольф Гитлер (1942)

Гитлер забыл про русскую зиму. Образование он, как видно, получил не ахти. Мы все слышали в школе про русскую зиму — а вот он забыл. Столь грубой ошибки я не допускал в своей жизни ни разу.

Адольф Гитлер (1943)

Я не выношу, когда сравнивают Наполеона с Гитлером. Я бы оскорбил память о великом императоре и воине, сравнив его с мелким партийным функционером и мясником.

Шарль де Голль (1943)

У. Ч. (*Рузвельту*). Я влюблен в него ничуть не больше вашего, но предпочитаю, чтобы он сидел в комиссии, а не разгуливал без дела в двойной роли Жанны Д'Арк и Клемансо.

1. Чарльз Уильям Бирсфорд, первый барон Бирсфорд (1846—1919) — адмирал, член парламента.
2. После войны писателя Вудхауса судили в Англии как коллаборациониста. после чего выдворили из страны.
3. Эдвард Вуд, граф Галифакс (1881 — 1959) — вице-король Индии (1926 — 1931), министр иностранных дел (1938 — 1940), посол Великобритании в США (1941 — 1946); в 1931 г. предложил провести круглый стол на тему "Самоуправление Индии".

Оливер Кромвель (1930)

Теперь я понимаю, в чем его величие: он много чего уничтожил, и именно поэтому стал величайшим человеком в истории.

Владимир Ленин (1919)

Ленин был доставлен немцами в Россию точно так же, как доставляют флакон с микробами тифа или холеры, который опорожняется в водопроводную систему большого города. И эта операция увенчалась полным успехом.

Дэвид Ллойд-Джордж (1931)

Когда он был в форме, он мог уговорить птицу не садиться на ветку.

Георгий Маленков (1955)

Сэр Роберт Мэнзис (в связи с отставкой Маленкова). Полагаю, сэр, его отправили в Сибирь.

У. Ч. О нет, скорее всего, — вслед за Берией.

Бенито Муссолини (1941)

Этот побитый шакал Муссолини, который ради спасения собственной шкуры превратил всю Италию в вассала гитлеровского рейха, резвится рядом с немецким тигром, повизгивая не только от голода (это еще можно было бы понять), но и от упоения собой... этот нелепый прохвост будет предан публичному суду и всеобщему осмеянию.

Иосиф Сталин (1950)

Ходят дурацкие истории о том, что советские ужины кончались пьяными оргиями. Ничего подобного. Маршал и его соратники пили из крошечных стаканчиков, и даже не пили, а только пригубливали. Я вел себя соответственно — меня хорошо воспитали. "Вы улетаете на рассвете, — сказал мне Сталин. — Почему бы нам не пойти ко мне и немного не выпить?" На это я ответил, что являюсь принципиальным сторонником подобного политического курса.

Джозеф Чемберлен (1905)[1]

Мистер Чемберлен любит рабочего человека; он любит смотреть, как тот работает.

1. Джозеф Чемберлен (1836–1914) — политик, многолетний член парламента от Либеральной партии, лидер Либеральных юнионистов, с начала 90-х гг. — консерватор; с 1895 по 1903 гг. министр колоний; отец Остина и Невилла Чемберленов.

О языке и литературе

Английский язык (1954)

У нас есть история, право, философия и литература; у нас есть общественное мнение и общие интересы; у нас есть язык, который даже шотландские националисты готовы признать английским.

Книги (1949)

Написание книги — целое приключение. Вначале — это игрушка, затем забава. Потом книга становится любовницей, а еще позже — хозяином и, наконец, — тираном. На последнем же этапе, когда вы уже готовы были примириться со своим рабским положением, вы убиваете этого монстра и швыряете его тело читателям.

Нобелевская премия по литературе (1953)

Я горд и, должен признать, до смерти перепуган вашим решением меня наградить. От души надеюсь, что вы оказались правы. Мне кажется, и вы и я очень рискуем, и ради меня идти на такой риск не стоило. Впрочем, если у вас нет дурных предчувствий, то не будет их и у меня.

Новый Коран (1948)

В "Mein Kampf" есть всё — программа германского возрождения, техника партийной пропаганды, план борьбы с марксизмом, концепция нацистского государства, мировое господство Германии. Эта книга явилась новым Кораном веры и войны — напыщенным, многословным, бесформенным, но внятным посланием миру.

Роман "Саврола" (1956)

"Никогда не читайте книгу, пока ей не исполнится год", — учил Эмерсон[1], и я этот завет не нарушал. Роман "Саврола" увидел свет в "Макмилланс мэгэзин" в 1897 году[2], когда мне было двадцать три года; в предисловии к первому изданию говорится, что "издатель рассчитывает на здравый смысл и снисходительность читателя". За прошедшие пятьдесят пять лет мое раздражение несколько поубавилось, но терпимее к этому опусу я не стал.

1. Ралф Уолдо Эмерсон (1803–1882) — американский писатель, поэт и философ.
2. В действительности роман Черчилля "Саврола" печатался в этом журнале с мая по декабрь 1899 г.

Цитаты (1951)

Мне вспомнился один профессор, которого, когда он находился при смерти, ученики попросили дать им прощальный совет. "Проверяйте цитаты", – сказал профессор.

Чтение (1934)

Молодые люди, думаю, должны быть не менее осторожны с чтением книг, чем старики – с едой. Не следует глотать все подряд. И надо тщательно прожевывать прочитанное.

Шекспир (50-е годы)

Мой принц, могу я воспользоваться вашей уборной?[1]

Личное

Алкоголь (1944)

Трезвенник – и умирает от подагры. Есть все-таки справедливость на этом свете![2]

Гольф (ок. 1915)

Это то же самое, что гоняться по пастбищу за таблеткой хинина.

Живопись (1921)

Подобно морскому зверю, выуженному со дна моря, или ныряльщику, которого слишком быстро поднимают на поверхность воды, я чувствовал, что мои вены вот-вот лопнут от перенапряжения... И вот тогда-то мне на помощь пришла муза живописи – явилась из милосердия, из благородства, ведь она не имела ко мне никакого отношения. Пришла и сказала: "Как ты думаешь, эти игрушки тебе пригодятся? Есть люди, которых они забавляют".

Животные

Собаки смотрят на вас снизу верх; кошки – сверху вниз. Дайте мне свинью! Она смотрит вам прямо в глаза и ведет себя с вами, как с равным.

Животные (ок. 1958)

Этого гуся, Клэмми, зарежьте сами. Мы ведь с ним были друзьями.

1. Сказано Ричарду Бертону в его гримерной в антракте "Гамлета".
2. Сказано после смерти Уильяма Темпла, архиепископа Кентерберийского.

Здоровье (ок. 1950)

Я нахожусь в хорошей физической форме, поскольку часто поднимаю гробы с телами своих друзей, которые всю жизнь поддерживали хорошую физическую форму.

Импровизация (1941–1954)

Гарольд Макмиллан. Что вы делаете, премьер-министр?
У. Ч. Репетирую экспромт.

Секс (1951)

Табак для любви вреден, но возраст — куда вреднее.

Рассказы и анекдоты

Невежество (1943)

Когда я слышу досужие рассуждения о том, чтобы высаживаться на берег где придется, как будто речь идет не о живых людях, а о тюках с товаром — выбросил на берег и забыл, меня поражает, как плохо люди разбираются в современной войне. Поневоле вспоминается история о моряке, который бросился в воду и спас тонущего мальчугана. На следующий день к нему подошла женщина и спрашивает:

— Это вы вчера вечером спасли моего сына?
— Так точно, мэм, — скромно отвечает моряк.
— Ага, значит, вас-то я и ищу. Где его кепка?

Порох для медведя (1951)

Я часто пытался представить высшие истины в форме незамысловатых анекдотов, чтобы истины эти запечатлелись в моей памяти. Такова, например, известная история о человеке, который решил угостить медведя порохом. Он растолок порох с величайшей тщательностью, проследив за тем, чтобы были соблюдены не только ингредиенты, но и все необходимые пропорции. Потом засыпал порох в длинную бумажную трубку и уже собирался засунуть ее медведю в глотку... Но медведь взорвался раньше, чем порох.

Черчиллизмы

Дальше собственного носа... (1940)

Есть люди, которые не видят дальше собственного носа. Иногда они спрашивают нас: "За что сражаются Англия с Францией?" На это я отвечаю: "Вот перестанем сражаться — тогда увидите!"

Дикобраз (1944)

Завоевывать Бирму с севера — все равно что есть дикобраза иглу за иглой.

Военно-морские каникулы (1937)[1]

Перед войной я предложил адмиралу фон Тирпицу устроить военно-морские каникулы. Если бы мое предложение было принято, напряженность в Европе наверняка бы спала, и, как знать, возможно, нам удалось бы избежать катастрофы.

Уинстонский архив (1905)

Благодарен Вам за это обстоятельное письмо. Отныне оно будет храниться в Уинстонском архиве.

1. В 1911 г. У. Ч. предложил Германии приостановить строительство военных кораблей. Альфред фон Тирпиц (1849–1930) — немецкий адмирал, создатель германского военно-морского флота.

Кристофер Ишервуд

Мемориал

[123
ИЛ 3/20.

Семейный портрет

Перевод Е. Суриц

Моему отцу

Книга первая
1928

I

— Ну, не то чтобы ах, — говорила Мэри. — А-а, это бы нас не спасло.

Дверь была приоткрыта. Энн лепила налоговые марки на зеленые и оранжевые билетики и хмурилась, слушая ленивые переливы материнского голоса.

В десятый раз Мэри живописала по телефону, какого страху на той неделе натерпелась с этим испанским квартетом. Виолончель и вторая скрипка — бедняжечки, чуть в голос не рыдали! — заперли партитуру Донаньи[1] в гостинице на Виктории, и, когда Мэри туда ринулась, схватив такси, имея в распоряжении всего-то четверть часика, пока они наяривают Шуберта, уж ей пришлось хлебнуть лиха, улещивая персонал, чтоб в номер пустили. О, ясно, все, в общем, вышло дико забавно. Дико, дико забавно, хмурилась Энн. Уж куда забавней.

— Ах, ну да, ну да, вот именно что. Тут-то и заковыка.

До чего же мать все это обожает. Ну а почему бы и нет? Энн оглядела миленькую комнатку: кипы бумаг где ни попадя, бретонский шкаф, репродукция Стейнлена[2], постель, туалетный столик, полка желтых бумажных переплетов, на окнах — игриво-клетчатые занавесочки. Нутро цыганской кибитки, ей-богу. Спать плюхаешься на переодетый диван, прямо в кучи дневного мусора — письма, газеты, вырезки, чьи-то музыкальные инструменты, теннисные ракетки и тут же тарелки грязные, а то пивные кружки, после веселой трапезы по недосмотру избегнувшие мытья. Так и живу, думала Энн.

© Christopher Isherwood, 1946
Copyright renewed © Christopher Isherwood, 1974. All Rights Reserved
© Е. Суриц. Перевод, 2011

1. Эрнст Донаньи (1877–1960) — венгерский композитор, пианист, дирижер. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Теофиль Стейнлен (1859–1923) — французский график.

Честно сказать, все еще чуточку зло берет, что пришлось втиснуться в эту музыкальную комнату: и дернуло же мать приютить студентку-художницу — на две недели, пока ту обеспечат жильем. Батареи в этой музыкальной комнате прямо возле постели. Утром встаешь — как вареный рак, буквально. И почему, собственно, эта девица несчастная заранее о себе не могла позаботиться, палец о палец не ударила? Да кто тут станет заранее о себе заботиться? Вечно эта внезапность, вдруг приспичит, идея в голову ударит и — киданье за едой, скликанье гостей. Вечно эта вокзальная атмосфера — вот, пожалуйста, и живешь на вокзале. Энн зевнула. Да ладно, я же вижу, как Мэри всем этим упивается.

— Ау... есть такое дело... Нас пригласили на шикарный ужин у Гауэров... Ах, да ладно тебе... Буду я воображать, мне и мама не велит... но из всех из этих... ну уж, и подумаешь... так чего же зря сотрясать атмосферу.

И это ведь не то чтобы делать ей нечего, ишачит не хуже любого служащего, одни эти ответы на несчетные письма чего стоят — машистым крупным почерком, с кучей орфографических ляпов. Часами протирает жесткий стул в Галерее. А вечером надо выпуливать на сборища, концерты, шоу по клубам, кого-то выуживать из художественной давки, чем черт не шутит, вдруг "нужный человек". И никогда не устает, всегда готова танцевать, пить, изображать сэра Генри Вуда, Гарриет Коэн[1], помогать стряпать чужой ужин, мурлыкать:

Поздно вечером, в театре
Смотреть, как в ложе он сидит,
Программку мнет
В ленивых пальцах...

Мать у тебя изумительная, все талдычат. Всю жизнь только и слышишь. Мать у тебя изумительная. А кто спорит?

И Энн прямо-таки с нежностью улыбнулась Мэри, которая возникла в дверях, сияя, обнимая охапку бумаг, в передничке, губами зажав сигарету.

— Мы миссис Гидден посылали ее членскую карту?

— По-моему, да.

— Вот специально пишет, не поленилась сообщить, что не получила.

— Минуточку, сейчас гляну... да, посылали.

— Вот сука!

Томно, неспешно Мэри присовокупила бумаги к кипе на столе, выбрала другие, адреса переписала в книжку и выплыла за порог.

1. Генри Вуд (1869–1944) — английский дирижер. Гарриет Коэн (1895–1967) — английская пианистка.

Все дело в том, думала Энн, чуть не влепив две марки на один билет, что как-то я не вписываюсь. Я не из их компашки.

Да, уж частенько приходила такая мысль. На шарадах, вот хотя бы на той неделе, когда изображали балетную сцену и Эдвард буквально стоял на ушах, ну, на одном ухе то есть, пятнадцать секунд кряду. И вдруг стукнуло: смотрю на них, как на совершенно чужих людей. И вот что странно — Морис, он вписывается. И вовсе не в одном отсутствии артистизма тут дело.

Не то чтоб я матери завидую. Суть не в том. Хотя, наверно, и не без того, что греха таить. Она со мной всегда добра. И даже более того — вполне пристойна. Может, лучше бы мне быть самой себе хозяйкой. Жить с тетей Лили. Ну нет уж, Боже упаси.

Я маме в подметки не гожусь. Мне до нее и отдаленно не дотянуться, думала Энн. И не надо.

— Миссис Опенхаймер хочет два пригласительных, для дочери, и с той кто-то еще, — из-за стенки кричала Мэри.

— Да за ради Бога.

— Боюсь, этот кто-то еще — увы, та пигалица, которую мы наблюдали на арфистке, помнишь?

— Очень даже не исключено, — крикнула Энн в ответ, доставая билеты и делая запись в тетради.

Если кому-то вздумается Мэри покритиковать, ничего он не наскребет, ничего, абсолютно. Мать выше критики. Но как можно вечно — порой подмывает взреветь вслух, — как можно вечно быть такой терпимой? Хоть когда-нибудь в жизни, хоть разок был у нее самомалейший, глупый, устарелый предрассудок? Хоть кого-то она ненавидит? Да хоть что-нибудь она по-настоящему чувствует? Вот не знаю, не знаю. Самая высокая оценка у нее: "Да, вполне себе ничего". Самый резкий приговор: "В твоем, не в моем вкусе". И хлебом ее не корми, лишь бы было над чем подхихикнуть: не важно, большевики это, христианская наука, лесбиянство, всеобщая забастовка — "Довольно невкусно", "Малосимпатично" или "Мне лично в жизни не допереть".

Нет, наверно, лучше бы уйти в монастырь. Год назад Энн всерьез подумывала, не податься ли в больничные сиделки. Наводила мосты, даже осторожно намекнула Мэри. Но как раз та томная, чуть лукавая улыбка матери все и решила. Нет, никогда, ни за что. Слишком жирно будет. Только представить, как в компашке своими этими шуточками, они все превратили бы во что-то новенькое, в новенькую игру. А какие бы посыпались вопросики! "Дико волнительно, да?" "Сногсшибательные душевные перипетии?" "Интересно, аж жуть?" Нет, видно, я просто глупая идеалистка, дура, великовозрастная школьница. Одно время Жанной д'Арк стать вознамерилась. Все это секс. Гормоны играют. Я интересная, аж жуть. Но мне до смерти нужен, нужен кто-то, у кого бы не было так потрясающе развито чувство юмора. Сразу Эрик пришел на ум. Нет, Эрик бы не смеялся.

Опять телефон. Мэри в дверях, с улыбкой:

— Тебя.

Энн встала, поймала себя на том, что краснеет, нахмурилась, прошла в смежную комнату. Прикрыть дверь? Еще чего!

А когда взяла трубку, вдруг вышел из повиновенья голос. Мягко, фальшиво, хрустально-звонко пропелось:

— Алло-о, Томми. Ну, как там у тебя дела-а?

От слабенького, зажатого голоса на том конце провода просто нельзя было не хмыкнуть тайком.

— О? Правда, миленький? Уже? Но как дивно... Потрясающе... Звучит волнительно. Ну, конечно, я бы с удовольствием... Минуточку, милый, сейчас провентилирую. Я не на сто процентов уверена...

Оглянулась, увидела в зеркале свои горящие щеки. Ну как? Я уверена? Волнительно это звучит? Ах, ну да, ну да. Вздохнула. И нельзя сказать, чтобы с тоской. Просто с Томми всегда чувствуешь свою ответственность.

Чуточку слишком бодро глянула в соседнюю комнату, где корпела над марками Мэри.

— У нас сегодня ничего такого сверхчрезвычайного в программе не обозначается?

— Нет, по-моему. Может, к Жоржу на вечерок прошвырнусь. Глядишь, Хаупштайна там подцеплю.

— А ты уверена, что со всем этим, на завтра, сама управишься?

— Вполне, спасибо, детка.

Мэри улыбалась. Энн объяснила, вдруг впадая в отчаяние:

— Я в театр иду. С Томми Рэмсботтэмом.

— А-а, ну, привет ему от меня.

Глаза их встретились. Невольно восхитясь, Энн улыбнулась матери. Мелькнула мысль: "Думаешь, ты уж хитрющая такая, да?"

— И, кстати, — сказала Мэри, — постарайся уж там как-нибудь поразведать насчет второй миссис Рэмсботтэм.

— Едва ли Томми особенно в курсе.

— А может, все вместе взятое очередной плод фантазии Чейпл-бридж.

— Не удивлюсь.

— Слишком уж на Рэма нашего непохоже.

* * *

И в соответственном порядке Энн влезла в простое, но безумно элегантное платье, тронула губы помадой, нос пуховкой, сунула ноги в новенькие туфельки — весь этот фокус-покус. Так подарки для ребенка складывают в нарядный пакет. Ох, вдруг себя почувствовала прямо-таки тридцатипятилетней — эта изысканность и шик, усталая фальшивость, во взоре нега материнства и — Бог ты мой! — эта снисходительность. Оглядела себя в зеркале. Скользнула вниз по лестнице.

Вся программа выучена наизусть. Немудрено — одно и то же всегда. Томми обожает размах и стиль. И что проку вскидываться, стонать, ах, зачем ты, мол, ухлопываешь все свои карманные деньги. Сам он буквально наслаждается. Я, наверно, дикая сволочь, да? — часто себя спрашиваешь, озираясь в самом роскошном ресторане. Сволочь, конечно, да, и лучше слегка надраться. В театре будет, естественно, ложа, не иначе. И, сидя с ним рядом, глядя на сцену, придется прямо-таки дрожать от жажды веселья, демонстрировать свой восторг. И как же он сам расхохочется, стоит только фыркнуть. А если вдруг рассмеется первый, как же он озирается на меня, будто руку тянет, молит присоединиться. А потом, в перерыве, до чего же небрежно он кинет:

— Ну и как тебе?

— По-моему, просто изумительно, — надо ответить, осияв его сверх-благодарностью, будто он самостоятельно сочинил текст и музыку и все партии лично пропел.

— Ничего, а? — и сквозь томный тон телефонным звоночком пробьется гордость.

А потом надо спросить про дела и как ему на работе, нравится ли, не слишком утомительно? И он станет рассказывать старательно, подробно, вдруг спохватится:

— Но ты уверена, что я тебя не занудил?

Ответ прозвучит присягой, клятвой на десяти Библиях сразу. Просто не хватит слов:

— Милый, ну с чего ты взял, это же дико интересно.

Потом поход в одно местечко — он так горд, что состоит тут членом. Одно только тут досадно — слишком все гладко, могло и порисковей быть. Даже налетов ни разу не было. Очень скоро нарежусь, буду хихикать, глядя ему в лицо, порхая по залу. Тут уж плевать, сволочь я или нет, ну и пусть, ну и пусть. Часть стены — сплошное зеркало. Куда ни повернешь глаза, со всех сторон смотрит на тебя твоя собственная морда. Да, надо признать, глаза сногшибательные, да, весьма и весьма, а как дивно я танцую. Надо его одарить сияющим взором. Он от счастья цветет.

В такси, на пути домой, она прямо сама на это набивается. Целуется он дивно. Как жизнь запутана, она думает, гладя его по волосам. Зачем я это? Зря, ах, ведь нехорошо. Вот чушь, какого черта, да пропади все пропадом! Ой, Господи, мы на Кингс-роуд уже.

— Слышишь, Энн, ты прямо изумительная.

— Мой милый старичок Томми.

Когда доезжают до Конюшен, у нее обычно хватает соображенья настоять, чтоб он не отпускал такси и ехал прямо к себе. Не то совсем разнюнится. В утешение она его целует на глазах у таксиста. Я курва, она думает.

А наутро, конечно, будут обычные угрызенья. Ах, как нехорошо. Будь он обыкновенный юный идиот — этих уж довольно навидалась. Но Томми — совсем другое дело. Он меня и вправ-

ду обожает. Очаровательная мысль. Трудно удержаться от улыбки, про себя произнеся эту фразу. Но ах, как нехорошо. Чуть ли не лучше было бы, если б я просто, как сука бессердечная, его окручивала, водила за нос. Но он же мне нравится. Вот почему все так сугубо аморально. Я с ним играю, как кошка с мышкой. Если бы он, бедненький, хотя бы не был так весь нараспашку. Все карты на стол выложил. Ни самомалейшей заначки. Нет, он прямо любит унижаться. Вот что ужасно. Эта моя полная безнаказанность, эта моя уверенность — вот я над ним и похмыкиваю, похлопываю его по плечу... Отвратно себя веду. А ведь он придет домой и будет мусолить каждое мое словечко, прикидывать: и что она хотела этим сказать?

Хуже всего бывает, когда он делает предложение. Вот уж поистине изощренная пытка. Как его жалко! Буквально уколы — иглы, булавки, кинжалы в сердце! Когда он рассуждает о своих видах на будущее... Джералда дело не слишком волнует. И если он, Томми, поднажмет, тут лишь вопрос времени... "Конечно, — он спохватывается, — я же понимаю, это будет жизнь не совсем для тебя..." Иногда думается — бессовестный, на жалость бьет. Такой дико верный, постоянный. Да, это истинная правда, я единственная его любовь, от самой колыбели — сочтем колыбелью Гейтсли — и до гроба. А ведь догадайся он приударить за другой да чтоб до меня дошло — о, ведь я бы взревновала не на шутку. Ох, еще как бы взревновала, на стенку бы лезла. И дело сдвинулось бы с мертвой точки. Но Томми начисто лишен коварства. Улегся под ноги — и на, пожалуйста, бери, топчи.

* * *

Автобус свернул на Кембридж-серкус, и Энн увидела: стоит, голубчик, ждет преданно, под сенью Палас Театр. И вдруг ей стало ужасно плохо, тошно, упало сердце — никогда еще так плохо не было. Вдруг она вся как протухла. Шик, негу, усталую фальшивость — все как рукой сняло.

О черт, она подумала, кажется, особого удовольствия я от этого вечера не получу.

II

Небольшое общество, к которому майор Чарлзуорт и миссис Вернон принадлежали оба, собиралось в неделю раз в течение всей зимы. Каждую неделю осматривали: то монумент, то реликт старого Лондона — церковь, ратушу, ворота елизаветинских времен у верфи на берегу Темзы. Члены общества были в основном одинокие дамы не первой свежести, юные училки в пенсне, изредка духовное лицо, чванное и склочное, склонное всех поучать — всё люди серьезные, любознательные, обычные, возведшие свои блужданья в культик, чуточку фанатичные, как бы шорами защищенные от комментариев ломовых

извозчиков и любопытства уличного хулиганья, вознамерившиеся осмотреть решительно все, однако радовавшиеся и чаю.

Майор Чарлзуорт и сам отдавал себе отчет в том, что в подобной компании ему не место. Очевидное оживление вековух при появлении в их рядах душки-военного усугубляло его неловкость. Но он не собирался капитулировать, отступать с поля боя. В молодости братья офицеры то и дело кололи его этой страстью к музеям, галереям, букинистам, да, довольно он нахлебался. А теперь он в отставке, молодость прошла, война кончилась, и можно со спокойной совестью предаться своему хобби. Каждую неделю он стоял позади толпы — благо рост позволял, — чуть сутулясь, красивым, жестким очерком челюсти напоминая самурая с японской гравюры, все выслушивая с гордым, тонким смиреньем, скрестив, как великомученик, руки на загибе идеально скатанного зонтика.

Дружба Роналда с миссис Вернон совершенно естественно началась несколько месяцев тому назад, в первый же раз, как она появилась на сходке. Пылкая особа, ведавшая в обществе организационными делами, представила его даме. Поговорили насчет места, с которым пришли ознакомиться, глазами спрашивая: а вас-то с какой стати сюда занесло? Среди типичных любителей старины оба заметно выделялись.

На вид миссис Вернон было не больше тридцати, но по странно зрелой печали и тихости, какие ее овевали, уже через несколько минут он понял, что ей на десять-пятнадцать лет больше. Да, она была печальна, как бы она ни смеялась, как бы бойко ни болтала о старинных зданиях и картинах. И потом, всегда она бывала в черном, правда, это черное оттеняло белизну кожи, яркость светлых волос, и временами она выглядела прямо девочкой.

После встреч общества неизменно вставал вопрос о чае. Иногда его обеспечивало само изучаемое место, либо платили по шиллингу с носа; иногда направлялись всем скопом в ближнюю кафешку. И миссис Вернон с Роналдом тогда неизменно оказывались рядом, не из снобизма, нет, просто инстинктивно сторонясь остальных. Им было что обсудить. Прежде всего общее хобби. Роналда поражали ее познанья. Не то чтоб уж очень глубокие, но он и отдаленно не ожидал такого от женщины. А уж эта ее любовь к прошлому, к романтической стороне истории совершенно его покоряла.

От археологии переходили на разные прочие темы. Оказалось, что миссис Вернон занимается живописью; верней, занималась раньше. Годами уже, она объяснила, кисти в руку не брала. Как-то так получилось, что она его пригласила к себе, на чашечку чаю. Ему показали папки акварельных эскизов с тысячей извинений за их несовершенства, и он уверял, что она просто не в праве бросать живопись.

— Ни малейшего желания, — она ответила с печальной улыбкой, — с тех пор как война началась.

И в эту самую минуту, хоть она головы не повернула, бровью не повела, вдруг Роналд заметил на каминной полке фотографию в серебряной рамке: молодой человек в мундире. Миссис Вернон в их разговорах ни словом не поминала о муже. Сам такой ранимый, он сразу прикусил язык, коря себя за то, что так неуклюже ее терзает своими расспросами. Но она — как угадала, — чтоб его успокоить, добавила:

— Мой муж тоже был художник. И гораздо лучше меня. Я вам с удовольствием кое-что покажу из его работ.

И как прелестно, он думал потом, она это сказала.

* * *

Хоть виделись они часто, дружба развивалась медленно. Но развивалась. Роналд робел, как школьник. Он предвидел — или это просто больное воображение, — что его, того гляди, осадят, и очень загодя пятился, давал задний ход. Он показал миссис Вернон свою квартиру, коллекцию гравюр, несколько ценных книг. Вместе ходили слушать лекции — в национальную портретную галерею, в музей Виктории и Альберта.

Сам одинокий, даже у себя в клубе почти не имея приятелей, часто маясь осложнениями после брюшного тифа, который трепал его на Бурской войне, Роналд все же считал жизнь миссис Вернон еще более сиротливой. Порой она ему представлялась прямо монашкой. Такая тихая, ясная. Как-то сказала с улыбкой, что прислуга, честь честью уведомив, уже с неделю как ее бросила. Теперь, она сказала, приходится на фруктах сидеть. Ничего, очень даже неплохо. Другую прислугу она заводить не спешит. Роналд всполошился не на шутку. Конечно, ей безразлично питание, сплошь да рядом, наверно, вообще забывает поесть. Так и расхвораться недолго. Ведь до чего она хрупкая, в чем душа держится. Но об этом он и заикнуться не смел, чтобы не показаться навязчивым. Только с помощью осторожных вопросов, наводящих, исподтишка, наконец он удостоверился, что найдена новая девушка. Несколько дней спустя, явившись к миссис Вернон на чашечку чаю, воочию увидал эту девушку, и прямо гора спала с плеч.

Долгое время он понятия не имел о том, что у миссис Вернон есть сын. Наконец она помянула о нем, но как-то походя, вскользь, и все же Роналд сразу учуял, что под напускным безразличием прячется драма. Что-то такое, она говорила, тот учинил в детстве; она про него говорила, как про покойника. Темная история, очевидно. Может, подделал чек. Или что и похуже. Покрыл себя бесчестьем. И тем разбил материнское сердце. Роналд был человек мягкий, но ловил себя на том, что совершенно беспощаден к юному хаму, который так низко по отношению к ней поступил. Единственное, что можно сказать в его пользу: хватает совести не мозолить матери глаза.

Не раз поминался дом в Чешире, где, как он понял, она задержалась на несколько лет, уже овдовев. Дом мужней родни.

Она показала Роналду акварельные зарисовки этого дома. А теперь, она сказала, он заперт и пуст, на попечении у смотрителей. И когда она это говорила, на глазах у нее были слезы.

Ах, какая это страшная несправедливость, прямо гнусно, что на нее обрушилось столько бед. Кажется, утратила женщина все, чем в этом мире дорожила. И вот — остается нежной и кроткой, ни малейшего ожесточенья. А он — да он бы с радостью дал освежевать себя заживо, если б только надеялся таким образом хоть на йоту облегчить ее участь. Он горевал над нею тайком. И не допускал ничего, не позволял себе даже слова сочувственного — как бы ненароком ее не смутить, не обеспокоить, не показаться нескромным.

Роналд, со своей самурайской челюстью, подорванным здоровьем, со своими гравюрами и книгами, как-то не припоминал, чтоб когда-нибудь его сильно тянуло к женщине. Разве что в чисто физическом смысле, да и то в желторотой юности; длинный, неловкий, невежественный, он был брошен в казармы — сам выплывай, как знаешь, раз уж ты младший сын. Страшный был фантазер, мечтатель, а все из-за робости. И прячась от манящих, грозных и мерзких привад, он выработал вокруг себя как бы панцирь из всякой всячины: неприятности, занятия, суета, рутина, дружба с братьями-офицерами, которые то и дело женились и звали его в шаферы. Вот из-под этого панциря он и подглядывал за женщинами, как те зыблются по краю его мира, словно тени в воде, прелестные, загадочные, волнящиеся усиками и цветками. Ах, да когда это было.

А теперь он сидел в клубе, потягивал санатоген с горячим молоком и старательно предвкушал завтрашнюю сходку общества ради еженедельной экскурсии.

* * *

В тот день они встретились на территории дома, который полагалось осматривать, — старой усадьбы на западной окраине, загородного прибежища семьи, вынужденной вскорости с ним распрощаться. Через несколько месяцев низкое белое здание с ионическим портиком, окнами в стиле королевы Анны, выбритым длинным лужком между высокими вязами, за которыми сквозит в отдаленье шоссе с ровным током машин и автобусов, будет продано, дом снесут, землю нарежут на участки, под корты и садики. Уже у ворот сгружали доски, и старика-сторожа, который их принимал, будто придавило нависшей бедой. Все тактично затихли. Разрешение на осмотр было пожаловано в виде особой милости. В длинной галерее обнаружились три Питера Лили, пейзажик Котмена[1]. Их про-

1. Питер Лили (1618–1680) — голландский и английский художник, знаменитый, в основном, своими портретами; Джон Котмен (1782–1842) — английский художник, главным образом пейзажист.

дадут на "Кристи". Кое-что поостававалось из дивной старинной мебели. Семью разметало по гостиницам, фермам, занесло на юг Франции. Сторож один-одинешенек остался встречать неприятеля.

Роналд медленно брел по въезду, давя сапогами хрусткий промокший гравий, втягивая сырой дух облетелой аллеи, — тут, небось, сыро всегда, такая низинища, — и душу давила почтительная печаль со смутно сладким привкусом, какую он в подобных случаях так часто испытывал. Миссис Вернон стояла на крыльце. Она улыбалась.

— А я вас жду, — сказала она.

Такое уже бывало. Ах, как эти знаки признания греют душу: ведь человеку, значит, хочется видеть все, стоя с вами рядышком, сопоставлять впечатленья, обрывки познаний.

Сегодня она была в сером, не в черном. И это так шло, так к лицу было бледному, печально-пепельному деньку и покинутым комнатам, где с лепных потолков свисали люстры, укутанные в мешковину. Все сегодня как-то напоминало церковную службу, и они встречались глазами с тем выражением, какое мелькает во взглядах, вдруг столкнувшихся за литургией. Голос сторожа разносило по коридорам полое эхо. Роналд и миссис Вернон то и дело вполголоса перебрасывались замечаниями — насчет фарфоровой статуэтки, резной спинки стула.

Потом, когда смотрели из окна второго этажа на лужок, она сказала:

— Даже подумать не могу, что этого скоро совсем не будет.

И в голосе — неподдельное волнение. Как глубоко он был тронут.

— Все этим людям надо разрушить, — она сказала. — Но что у них есть взамен?

Откровенность этой реакционной романтики вконец его проняла. Сам, положим, тоже ретроград, может быть, но — читаешь газеты, вдохновляешься планами новых зданий, игровых площадок, идеей Лондона, города-сада. Одним словом, и нашим, и вашим. А вот она, она — совсем другой коленкор. Особого уваженья достойно. Стоя у окна, в убывающем свете, тоненькая, своим тихим голосом она будто громко бросает вызов красным автобусам, черным крытым автомобилям, проносящимся в отдалении мимо ворот. Она же самому будущему бросает вызов, и столько страсти в этой кроткой обиде. И даже слезы у нее на глазах.

— А ведь ничего у них нет, — сказала она.

Что-то он такое промямлил, как-то такое он ей поддакнул.

Миссис Вернон, кажется, ободрилась его поддержкой. Улыбка вышла печальная, но тронутая лукавством.

— Во всяком случае, чего-чего, а ни малейшей потребности в нас с вами — у них нет и в помине.

III

Проходя конюшнями в свете газовых фонарей, крепко обняв три пивные бутылки, Мэри вдруг почувствовала — не впервой — нежный укол любви к своему дому. Мой домик миленький, пропело в душе. Кем-то там он битком набит. Подъезд стоит приоткрытый. Свет сплошь во всех окнах. Ароматы рыбного пирога ударили в ноздри, едва поднялась на ступеньки — собственно, на крутую, линолеумом прикрытую стремянку. Как-то раз оступилась, плюхнулась на задницу и благим матом орала на глазах у изумленной шоферни, прижимая к груди свежий батон.

— Ты дверь оставил открытую, Эрл, — летел сверху бесплотный голос Маргарет. — Там приперся кто-то.

Все смотрели вниз, на нее.

— А-а, это вы дорогуша. А мы перепугались, что снова незваные гости. Нас тут и так хватает.

— И только подумать, что бедная старая мать бегом трусила от самой аптеки, из-за того что вы ключ забыли. А окно музыкальной, по-моему, заперто.

— Подумаешь, ну и заперто, это не обескуражило нашего Мориса. По водосточной трубе залез.

Морис, в жилетке, подставляясь рукам Энн, которая ему завязывала вечерний галстук, гордо осклабился.

— Слушай, мальчик, ты же знаешь, я не люблю, чтоб мою очистительную систему использовали для гимнастических упражнений.

Всей гурьбой помогали накрыть на стол, протискиваясь и толкаясь в дверях, кто с единственной тарелкой, кто с вилкой.

— Ах, детки, очень мило, что вы оказываете посильную бескорыстную помощь матери, только, знаете, я бы со всем сама управилась в две минуты.

— Ладно-ладно. Посиди-ка ты, отдохни, бабуленька. Эй, кто-нибудь, притащите Мэри ее Библию и кашемировую шаль.

— Ей-богу, на это сто́ит скинуться по подписке. А? И хоть сейчас в Галерею! Она будет буквально, как те старые мосечки, ну вылитая, тик в тик, буквально каких видишь иной раз в женских уборных.

Эрл явился из кухни:

— Знаете, Мэри, если вы срочно не возьметесь за пирог, я полагаю, там ничего не останется, кроме рыбьих костей.

— Ах, Эрл, — сказала Маргарет, — поменьше бы ты полагал, ей-богу. Он просто еще не готов. Мы в этой стране предпочитаем прямые суждения.

— Oratio Recta[1], — вставил Морис.

— Какое оратио, говорите?

— Oratio Recta.

1. Прямые высказывания (*лат.*).

— Чем-то мне такое выражение подозрительно.

— А где Эрик? — спросила Мэри. — И Жорж?

— Эрик звонил, он опоздает, наверно, — сказала Энн. — На заседание комитета тащиться пришлось. Сказал, бутерброд, наверно, захватит и перекусит в автобусе.

— А Жорж никак с Хиндемитом не сладит.

Да, Мэри, конечно, слышала звуки скрипки, взмывавшие из-под лестницы. Там, у самой двери в угольный чулан, была печка, и Жорж любил пригреться, обняв ее коленями, когда что-то разучивал.

— Он в дикой панике, — сказал Морис.

— Но уж не в такой, наверно, как я, — вставил Эрл.

— Небось, забудешь посередине своего Дебюсси и придется наяривать "Мэри Лу"[1].

— Никто не заметит.

— И чего ты вредничаешь, сынок, — сказала Мэри. — Чего ты злобишься в такие в твои года, вдобавок при такой огромадной твоей красе.

— Не скажите, Олдуэй — тот уж точно заметит, — сказала Маргарет. — Напишет, что темп мистера Гардинера оставил желать лучшего.

— Ладно, детки, — сказала Мэри, — пора подкрепиться. Морис, не будь свинтусом. Ежели ты такой гордый, что не желаешь с нами ужинать, тогда сматывайся.

Морис исполнял свой испытанный трюк — дегустировал еду. Он облизал пальцы.

— Что ж, одобряю. Но все ж не такая вкуснятина, какую мы едали, когда тут Эдвард был. Лучший мастер рыбного пирога среди нас.

— Энн, можешь доложить Жоржу, что у нас все готово, — сказала Мэри, искоса глянув — не удержалась — в лицо Маргарет.

— Ох, Господи, — мне же умыться надо, — забормотала Маргарет. — Я такая чумазая.

* * *

Эрик сидел за билетным столиком, бубнил:

— Только члены расписываются. Гостевые билеты, пожалуйста, отдавайте в дверях.

Старые богатые дамы, в черных шелках, под вуалями, с помощью преданных музыке родственниц, проходили по коридору в концертную, сетуя на крутизну лестницы.

— Ты уверена, милочка, что это здесь? — брезгливо спрашивала одна.

Леди Крокер, и всегда хамоватая, объявила, что невозможно узок коридор. Директриса большой женской школы хлынула к Эрику:

1. "Мэри Лу" — скабрезная популярная песенка 20-х годов.

— Мы уверены, что получим *истинное* удовольствие.

Пожилой полковник по настоянию супруги вышел ябедничать, что члены аж по три места для знакомых занимают, буквально завалили все своими макинтошами. Низкорослый новоявленный член просто отказывался верить, что каждый может плюхаться, где ему вздумается. Несколько мужчин мешкали в дверях, выжидая, когда удобно будет спросить у Эрика, где тут сортир. И дознавалась всполошенная дама:

— Но вот вы мне объясните, моего членского билета и трех гостевых хватит еще на три концерта, хватит — да? — если я приведу подругу, а она в прошлом году купила билет на полсезона, но не доиспользовала?

И все это приходилось расхлебывать Эрику. Кое-кого он отсылал к Мэри — та стояла в дверях. Он слышал ее сильный, внушительный голос, увещевавший всех этих несчастных, суливший им все блага мира:

— Да-да, ну конечно, не беспокойтесь, все будет хорошо.

Студенты из Королевского колледжа, прихватившие по большой подушке, смекнув, что опаздывают и кресел им не видать. Бледные культурные евреи, богачи-любители. Оксфордский дон. Критики с заведомо скучливыми минами шагающие между кресел, по ногам. Несколько богемных миллионеров в грубом и мешковатом, безумно дорогом твиде. Учительница французского. Знаменитая актриса. Преподаватель химии из закрытой школы. Обрывки разговоров:

— Да, шестой ставит "Венецианского купца" в том семестре.

— А Рой-то! На последней минуте счет сравнял. Под конец я буквально охрип, только шепотом разговарил.

— О, ты много потерял, если не видел, какие у них тут наверху сортиры.

Но вот наконец все внутри. Отшелестел шепот. Хлопки. Начало партиты Баха. Эрик толкнул дверь и тихонько вошел в концертную. Мэри посторонилась, пропуская его в свой дальний уголок. Концертная комната — еще и галерея. По стенам — пронзительно-канареечные голые девицы в чулках на полосатых диванах, вперемешку с унылыми натюрмортами: блюдо неаппетитных бананов, нож, скатанное в трубочку "Le Matin", одинокая лайковая перчатка. Наскоро сооруженную сцену обрамляют занавеси из рядна. Громадность Жоржа делает скрипку детской игрушкой, а сам он — как гигантское приспособление для запуска тончайшего, крохотного механизма. Скрипку он держит с нелепой нежностью, как младенца, придавив своим двойным подбородком. Вот Эрл является исполнять прелюды Дебюсси, и видно, до чего он волнуется. Плюхнулся, не выжидая аплодисментов, вдарил по клавишам, будто судорожно спешит наверстать упущенное после какой-то помехи, скажем, вторжения телефонного непрошеного звонка. Господи, ну и грохот! "Вот уж от него не ожидала, — после второго прелюда шепчет Мэри Эри-

ку в своем дальнем уголке. — Не рухнет ли сцена, вот в чем вопрос? И зря мы рояль канатами не закрепили".

* * *

Да, вот именно так я себе представляю святого, думала Энн, остановившись взглядом на высокой тощей фигуре Эрика — вот он, в уголке, рядом с мамой сидит. Хоть сейчас тащи его в Библию, прямо как есть: простой, но явно дорогущий темный костюм, очки в металлической оправе, странные паузы в разговоре, пережитки заиканья. В самый раз бы пришелся. Можно ничего не менять. Что-то есть в нем такое — древнее, сумеречное. И когда он на тебя смотрит, чувствуешь, до чего он честный, бесстрашный и добрый. И такие красивые они у него, эти глазища.

Может, все мы чуточку побаиваемся Эрика, да и Мэри даже. Видно же, когда мы с ним болтаем, шутки шутим на своем этом птичьем языке, притворяясь, будто бы он точно такой же, как все, и бояться нечего. Зачем врать, отлично мы понимаем — он не нам чета.

Ах, да много ли нам про него известно, в сущности? Вот что, например, его заставило во время всеобщей забастовки бросить карьеру в Кэмбридже, где он ведь блистал, громадные, говорят, подавал надежды, и взяться за эту свою работу? Конечно, это изумительно, великолепно — до того великолепно, что даже подумать страшно, прямо мороз по коже. И ведь Эрика теперь уже не интересует политика. Послушать, что он на днях говорил, — так он, кажется, валит коммунистов, фашистов, всех-всех в одну кучу. И теперь, когда он богат, он ну нисколечко не изменился. Тратит половину состояния, что ли, на всякие фонды, клубы и общества. Богатство просто чуть больше его от нас отдалило — хотя он щедрый безумно, вот манеру взял, снабжает Мэри ее излюбленным сортом виски. И как странно — наш ровесник, а к нему ведь прислушиваются, с ним совещаются в комитетах, и он организует помощь, всерьез, и готовит отчеты. Только представить себе — чтоб я и вдруг такими вещами ворочала, и даже Морис, хотя он-то теперь у нас деловой. И в жизни Эрик не будет совать свою деятельность нам в нос. Даже наоборот, часто стесняется, извиняется — как тогда, например: явился в гости, промямлил, мол, пришлось дать кому-то там наш номер, ему сюда будут звонить в такое-то и такое-то время. Вечно в работе.

Хорошо бы, думала Энн, набраться храбрости и поговорить с Эриком. Поговорить по душам. Начистоту. Хорошо бы — это, конечно, звучит идиотски, но хорошо бы у него попросить совета. И как он скажет — так тому и быть. Надо, надо с ним посоветоваться. Обо всем, обо всем, и даже — о, черт! — насчет Томми.

* * *

— Уж я на вас полагаюсь, моя дорогая, вы уж как-нибудь сделайте этот вечер сносным, — леди Клейн говорила Мэри, пока

удалялись последние слушатели. Эрик, на стремянке, помогал Энн откнопливать от стены рогожный занавес. Уже явились рабочие — уносить рояль. Мэри наводила порядок, ободряла юных энтузиастов, вызвавшихся втиснуть в шкаф складные кресла, подсчитывала кое-какие деньжата в конвертах, нелегально полученные за билеты у двери.

— Я постараюсь, — пообещала она леди Клейн.

— И приводите, кого сможете. Я пока улетучиваюсь. Скажу, чтоб машина подождала.

— Отряды не останутся без работы, — сказала Мэри Эрику и Энн, когда леди Клейн удалилась. — Вы уж будьте маленькими героями, подсобите старушке-матери, а?

* * *

На вощеной лестнице в доме леди Клейн нет ковра. Предосторожность, кто-то объяснял, из-за пьяниц. В гостиной: кони династии Минь, китайская вышивка, лак, старое стекло, лампы в стиле модерн и в роли абажуров — бронзовые листы, призванные, кажется, отображать растительность мексиканской пустыни. В столовой портрет Джона[1] и ужин. Чаши с салатом. Цыплята в скромном количестве. Фрукты. Кто-то играет на спинете в алькове. Никто не садится. Медленно, принужденно бродят, циркулируют гранулами в амебе. Эрик чувствует: надо вертеться, вертеться, чтоб никто не напал со спины.

Он разговаривает с Присциллой Гор-Эккерсли и Наоми Карсон. Оглядываясь, видит Мэри: как испытанный старый воин, в одиночку, шутя отбивается сразу от шестерых. Жорж зажат в кружок обожательниц, желающих поболтать по-французски. Сэр Чарлз Клейн, человек простой и прямой, подходит к Эрлу, поздравить. Потрясен исполнением Эрла. "Ей-богу, юноша, не хотел бы с вами столкнуться на узкой дорожке". Взмывает звонкий хохот Маргарет. А вот и Морис, только что явился, с девицей, — выводит ее в свет. Опять новенькая.

Женщины смеются. Присцилла и Наоми смеются, вечно они жаждут, чтоб их ублажали, но никто не в силах их ублажить. Интересно, они так же презирают меня, как я их презираю? — думает Эрик. Курят, хохочут, гордые враги. "Ах, как это забавно, просто безумно забавно". Нет, таких не попрезираешь, думает Эрик. Страшные. Скушают. Ну объясни ты, какого тебе еще рожна, — подмывает спросить эту Присциллу Гор-Эккерли, биологиню; которая так блистала на всех экзаменах; теперь читает лекции в лондонском университете. Вот расспрашивает про работу в Южном Уэльсе. Стал рассказывать: карточки, их рапределяют попечители, такая система. Часть продуктов, полученных по довольно жалостной карточке, рассказывает Эрик, сплошь

1. Мартин Джон (1789—1854) — английский художник-романтик.

да рядом идет на уплату ренты. И, забыв, где находится, забыв о существовании леди Клейн, увлекается и, размахивая руками, серьезно расписывает город, где позакрывали четырнадцать из девятнадцати шахт, где тринадцать лавок на главной улице пришлось запереть навсегда. Даже председатель попечительского бюро чуть ли не голодает. Хозяин четырех домов — голодает, потому что ренту ему не платят, а пособие домовладельцу — кто ж станет выделять. Все мучаются. Младенцы в чахотке. Семья, восемь человек, сплошь да рядом ютится в одной комнате. Чуть ли не на хлебе и на воде. Дома по большей части обречены на снос. Присцилла важно кивает, поводит ресницами. Да о чем мы толкуем! — вдруг хочется крикнуть Эрику, крикнуть в лицо полуголой кукле, кое-что ловко прикрывшей, кое-что ловко выставившей напоказ, и модная стрижка, выщипанные брови, томный запах духов, — О Господи, да как же тебе не стыдно? А ну-ка живо наверх, марш, марш. Найдется ведь где-то постель в этом клятом доме! Э нет, не нужна ей постель. Во всяком случае, не со мной. Так зачем отнимать мое время! Он отворачивается от нее к Наоми, менее тонкой шлюхе, та спрашивает с ухмылкой:

— Эрик, может, в коммунистической воскресной школе мне работенку подыщете?

* * *

Привычный вопль. Кто-нибудь, ну сделайте что-то! Вечеринка запнулась. У леди Клейн кислый вид. Предлагают шарады. Предлагают дружно. Но изображать никому неохота.

— Мэри — королева Виктория.

— Мэри — королева Виктория.

— Я лично в жизни не видел бессмертного действа.

— Ах, лапка, но как же, этак и жить невозможно. Это классика! Мэри, ну!

— Мэри, ну пожалуйста!

— Не дай нам сойти в могилу с неутоленной мечтой!

— Да вы уже это видели все сто раз, — отбивается Мэри.

— И жаждем снова увидеть.

— Ладно уж. Но мне понадобится вся моя лондонская рать. Дайте-ка гляну. Кто это исполнял...

Кое-кто из прежних участников налицо.

Да и Маргарет была ведь придворной дамой. Но как же лорд Теннисон?

— Да, амплуа благородного старца? Ой, это же Эдвард Блейк! Помните, какая сногсшибательная была умора, когда он в этой бороде декламировал "In Memoriam"[1]?

— Вот жалость, что его нет.

— Что ли из города умотал?

1. Скорбная поэма (1850) английского поэта Альфреда Теннисона, посвященная памяти рано умершего друга.

Ну наконец-то актерский состав в полном сборе. Леди Клейн, лучась признательностью, отвела Мэри с Маргарет в чуть ли не лучшую гостевую, завалила платьями, старинными кружевами, брошками, всем, что требуется для грима.

— Используйте все-все что угодно, творите.

— Спасибо большое. Мы скоренько.

Мэри села перед зеркалом и занялась прической. Маргарет уныло перебирает шарфы и шали. Вдруг она кричит:

— Ну почему, почему он не пишет?

Мэри продолжает мерно водить щеткой по волосам. Говорит как можно спокойней:

— Никогда Эдвард не отличался аккуратностью по части переписки.

— Ах, да знаю я... Но сейчас тут что-то другое, — голос у Маргарет дрожит. — Мэри, как по-вашему, что случилось?

— Ну что такое, миленькая, могло вдруг случиться?

— Ох, да Бог его знает. Все на свете. Что угодно. Он в таком состоянии.

Мэри стянула волосы в пучок.

— Завтра будет весточка, вот увидишь.

— О Господи, не могу я больше ждать.

Мэри вздохнула и встала. Маргарет сидит на кровати, вся скрюченная, и у нее дрожат плечи. Она терзает, рвет зубами свой носовой платок.

— Если хочешь, я им скажу, что тебе плоховато. Икры объелась. Оставайся тут. Как-нибудь без тебя перебьемся.

— Большое спасибо, Мэри. Но я ничего, я сейчас. Дура я, нюни распустила.

Мэри порылась в сумке.

— Может, хлебнешь глоточек вредоносного зелья?

Маргарет глотнула из фляжки. Потом подошла к зеркалу, утерла глаза.

— Батюшки, ну и видик!

* * *

— Послушай-ка, Эрик. Вот, значит, понимаешь, какое дело, у меня к тебе очень важная просьба.

Общество уже разбредается. Эрик видел, как Морис попросил свою девицу минуточку обождать и двинулся через зал.

— Да, что такое?

— Ну, ты понимаешь, Эрик, дело такое... сам знаешь, как я вечно влипаю... сегодня, например, пока в полпервого не узрел начальство, понятия не имел, что придется всю ночь валандаться в городе... то есть с девяти утра надо, оказывается, опять приступать... а, как тебе известно, конец месяца на носу, и надоело вечно клянчить у Мэри...

— Сколько тебе? — Эрик улыбается.

— Ну...

По лицу Мориса ясно: гадает, помнит ли Эрик о другом небольшом одолжении, не говоря о десятишиллинговой купюре "только пока разменяю", в тот день, когда всей оравой выкатили на автомобиле. Эрику так жаль оконфуженного Мориса, что он поскорей бормочет:

— У меня, правда, кажется, только два фунта с собой и еще серебро. Тебе хватит?

Лицо у Мориса проясняется.

— Вполне. Колоссальное тебе спасибо, Эрик.

Осклабился и прибавил — на голубом глазу, сама искренность:

— Не думай, я не забыл... тот раз, ну и вообще, сам знаешь.

"Забудь, ах оставь" — не сказал, удержался Эрик, чтоб не оскорбить чувств Мориса.

— И, естественно, ты завтра получишь все, с первой же почтой.

— Ну, мне не так уж безумно к спеху, — бормочет Эрик.

IV

Работница вносила в столовую серебряную вазу с миндальным кремом, и Лили говорила, вздыхая:

— А дни, и правда стали длинней.

Эрик не шелохнулся. Мать на него не смотрела. Подальше сдвинула столовую ложку с вилкой, шелковым рукавом задев стакан, ответивший нежным звоном. Тихий ангел пролетел. Работница поставила вазу на уготованную салфетку.

Эрик разглядывал потолок. Лили положила ему крема, только чуть-чуть оставив себе. Начала есть, и по всему было ясно, насколько ей неведомо чувство голода.

Эрик разглядывал потолок, разглядывал небо за важным окном, за пышным шелком серебристо-лазоревых штор. И думал: с какой стати, за что, зачем надо этому подвергаться? Кому из нас это нужно? Тут совсем отупеешь: такая жаркая духота в комнате. Запахи Старого Кенсингтона — подгнившие сушеные лепестки, в каминах тлеющий кедр.

Глянул на мать. Та улыбнулась. Спросила:

— Вкусно тебе?

— Да, мое любимое сладкое.

Смутную, нежную улыбку не спугнула сухость ответа. Она всего-навсего, он подумал, спросила: "Ты признаешь, что я добросовестно исполнила свою роль?"

Он кивнул, мысленно отвечая на то, чего она не спросила: "Да, и не только. Ты сделала все".

Телефон. Слышно, как работница отвечает, жеманясь:

— Да, квартира миссис Вернон.

— Меня кто-нибудь? — спрашивает Лили.

— Да, мэм. Майор Чарлзуорт.

— Хочет, чтоб я подошла?

— Если, говорит, вы можете уделить минутку.

Лили улыбнулась, встала. Исчезла в прихожей. Он сидел, слушал материнский голос. Изменившийся в миг. Этот ее телефонный голос. Веселый, почти игривый.

— Да. А-а. Добрый день! Да, ну разумеется, я пойду.

Из вазы с фруктами Эрик выбрал орех.

— Да, по-моему, всего разумней доехать на метро до Марклейн, а уж там на автобусе. К самой двери доставит.

Вернулась. Странно. В который раз он смутно удивился, обнаружа, что вовсе она не обернулась юной девушкой, как сулил голос. Хоть вообще-то она ведь не старо выглядит. В светлых волосах почти не разглядеть седины. Печальная, ясная улыбка:

— Наше небольшое общество, знаешь ли.

Она улыбается. Она спрашивает:

— А почему бы тебе в следующий раз к нам не присоединиться? Просто не хочется, да?

— Боюсь, подобного рода затеи не очень по мне.

Тронув утаенную под столешницей кнопку звонка, она спрашивает:

— Кофе здесь будешь или в гостиной?

Сообразив про себя — так смоюсь быстрей, он бормочет:

— Здесь, если ты не возражаешь.

Являются кофейные чашечки. Перед ним ставят поднос. Лили смутно улыбается. Сила привычки, он думает, власть ритуала. Как она это все обожает. Он вдвигает под кофейник спиртовую горелку.

— У меня чашки новенькие, видишь?

— Угу.

— И как тебе?

Он тупо на них глянул. Да, чашки. Ну, чашки.

— Очень милые.

Можно подумать, ее осчастливила его похвала.

— Я их в этом новом магазине купила, прямо напротив банка. Не знаю, ты заметил, когда мимо шел?

— Нет, не заметил.

Лили прихлебнула кофе. Сказала работнице:

— Да принесите-ка сигаретницу из гостиной.

Сигаретница явилась.

Серебряный ящичек, и на нем выгравированы факсимильные имена отцовых друзей — подарили ему на свадьбу. Внутри нераспечатанная пачка сигарет.

— Ты эти ведь любишь, да?

— Да, спасибо. Эти как раз.

Вскрыл пачку, зажег сигарету. Совершенно ее не хотелось курить. Лили сказала:

— Почему бы тебе всё не взять? — грустная улыбка. — Выдыхаются только.

— Спасибо большое.

Покорно сунул пачку в карман. Она смотрела, как он курит.

— Давно вернулся?

— Всего несколько дней.

Ну вот зачем ты все это спрашиваешь? — ныло в душе.

— И в каких краях побывал на сей раз?

— В Южном Уэльсе.

Вдруг — ярко, весело, просияв, как дитя — она просит:

— Ой, скажи мне, как там какие места называются! — и поскорей поясняет, будто нарывается, смеясь, на отказ. — Хочется их на карте найти.

Поразительная женщина. Вечно способ найдет его огорошить. Он тупо повторяет названья. Она их повторяет за ним, расспрашивает, как что пишется.

— А потом куда?

— Не знаю, — солгал он.

Она улыбается. Нет, она ведь насквозь его видит, сидит, забавляется, прикидывает, как долго он сегодня себе позволит так с ней играть в поддавки.

Пробили часы на камине. Он изобразил удивление, довольно неуклюже: непривычен к подобным трюкам.

— Я через полчаса должен быть в Сити.

— Должен? — грустная улыбка. Встали. Она спросила:

— Когда же я буду иметь удовольствие снова тебя видеть?

Он вспыхнул.

— Скоро я снова уезжаю. Я тебя извещу.

— Можешь не приходить, если времени нет. Я совсем не хочу тебя отрывать от работы.

Снова эти печальные шуточки. Не стал отвечать. Как бы невзначай, она спрашивает:

— Ты Скривенов увидишь перед отъездом из Лондона?

— Я вчера их видел. Концерт был.

— Ах, как мило!

Этот печальный тон его бесит. Он говорит:

— Если бы ты захотела пойти, я уверен, билет тебе всегда обеспечен.

— Очень мило с твоей стороны, — она качает головой, усмехается. — Но стоит ли тратить на меня билет? Я не понимаю музыки.

— Я тоже, — нотка отчаяния в его голосе вызывает у ней улыбку. — Тем не менее, ты вполне можешь пойти, если только захочешь.

— Едва ли я выберусь. Спасибо, милый. Я теперь очень редко выбираюсь из дому по вечерам.

Нет, ей-богу, он поклясться готов, она же удовольствие получает, пробиваясь сквозь его панцирь. Выкованный с таким тщанием и трудом — из вежливости, терпимости, скуки. И как это мило у ней получается:

— Ты передашь Мэри привет от меня, да, когда в следующий раз у них будешь? Сто лет ее не видала. Скажи, пусть приходит ко мне на чашечку чаю, в любое время, когда ей вздумается, я ужасно буду рада. Но я знаю, конечно, она же так занята. — Она ему подает пальто. — У самой-то у меня дел особенных нет, — вдруг она смеется тихонько, — вот вечно и ловлю себя на том, что забываю вдруг, как тяжко трудятся все остальные.

Она его провожает через тесную прихожую к двери. Тон ее меняется.

— Надеюсь, твоя домовладелица пристойно тебя кормит?

— Разумеется, — ему кое-как удается улыбка.

— И не вписывает разных глупостей тебе в счет?

— Нет.

— Ну, до свиданья, мальчик.

— До свиданья, мама.

Наклонился, поцеловал ее в щеку. Подмывало очертя голову кинуться вниз по ступеням. Нажал на кнопку лифта.

* * *

На улице, спеша широким шагом, он тупо думал: и зачем я сюда хожу? зачем ей нужно меня видеть?

Ей все это шуточки, все пустяки, — мелькнуло в припадке злобы. Недорого стоит. Ничего она не чувствует. Так, сладкая печаль. Роскошь сентиментов.

Нет, он думал, неправда. Я грубый скот. Сволочь. Так несправедливо к ней относиться.

Мамочка, милая. Как же тебе помочь? Ну сколько может такое тянуться? Жалостная бессмыслица.

Ум терзался, в поисках решенья кружа по старому кругу. Нет, ничего не найти.

Ничего, ничего, он думал, видя трамвай, магазин, покупателей. Нормальные женщины, с кошелками, выбирают рыбу, выискивают материю для занавесок. Чувствительность — изобретение богатых, так он читал, так он всегда говорит. Что, если кинуться с откровенностями вон к тому полицейскому? Чего? С мамашей нелады, э? Положим, кое-что и поддается переводу на этот язык. Только как бы в ответ не был предъявлен синяк под глазом, кровоподтек от применения кочерги.

* * *

Прелестный денек. Вдруг потянуло в парк. Но яркий, чистый Кенсингтон со своими нянями, старыми дамами, столь чинный, уютный, богатый — нет уж, спасибо, слишком крепко засела в сердце память о валлийской деревне. Странно тесные ряды домов, рояльной клавиатурой взбирающиеся в гору. Мертвые шахты, темные, обездвиженные копры. Мужчины, без дела толкущиеся на перекрестках. Взмокшие от дождей поля. Сырое серое небо. Нет, за дело пора. Вернуться на Олдгейт, добавить хоть не-

сколько страниц к своему отчету. Потом надо бы глянуть, как там дела у мальчишек, в этом их новом Клубе. Да, и раз обещано приятелю, надзирающему за досрочно освобожденными, уж надо разыскать того парня: пристроили после колонии коридорным в гостиницу, а он исчез. Дядька его живет где-то такое неподалеку от Хакни-марч, вдруг ему что-то известно.

V

Эдвард Блейк минуту постоял на углу под фонарем, мягко покачиваясь на пятках. Позади чернильно чернел Тиргартен. В ногах у голых лип синевато сияли снежные прошвы. И сыпал алмазно острые, жесткие искры заледенелый отряд статуй в Зигес-аллее. Холод, холод, страшней гораздо, чем на Севером полюсе.

Эдварда этот холод не пробирал. Он снова двинулся, подкидывая коленями полы пальто, напевая себе под нос. Было дивно тепло внутри, и то, что жужжало, кружась в мозгу, дарило уютным подобьем глухоты, а глухота сама по себе как-то грела, тупя углы вымерзающего внешнего мира. Довольно долго удавалось продвигаться почти по прямой, потом вдруг, мотнув, несло на обочину, било о ступени статуй. И неизменно он притом отдавал честь, говорил: "Прошу прощенья".

Статуи — старые приятели. Heinrich das Kind[1], конечно, милашка, но Карл IV, вот кого я просто обожаю. Кое-что с этим Карлом у нас общее. Вечно у Карла такой вид, будто безумно приманчивое что-то он высматривает через дорогу. Дойдя до Карла, Эдвард решил чуточку посидеть у него на ступеньках, потом поднялся, побрел дальше.

— Ну вот, — выговорил вслух, хоть и не обращаясь к Карлу, — вот он я, пожалуйста, видали, а?

Потому что вдруг стукнуло: как странно; десять лет назад мне по этой дороге ходить было нельзя. Сейчас снова можно. А лет через десять-двадцать, глядишь, опять нельзя будет. Чушь собачья. Собирались бомбить Берлин в 1919-м. Рассуждая математически, я мог бы, да, нет оснований исключать такую возможность, мог бы за милую душу бросить бомбу в самого себя вот в этот самый момент.

Непонятно — и как удалось нераздавленным перебраться через Кемпер-платц. Странное ощущение: ни направо, ни налево не глянуть, — как в шорах.

Он уже часами бродил, и гудели ноги. Взбирался на Панков, через Веддинг спускался. Раз двадцать, может, тридцать останавливался промочить горло. Ну вот, теперь недалеко, почти уже и дóма. На Постдамерплатц перед самым носом грозно взмыл омнибус, вынырнув из темноты, пошевеливая

1. "Генрих-дитя" (*нем.*). Так называли первого ландграфа гессенского Генриха 1 (1244–1308).

озаренными плавниками. Пришлось отскочить на тротуар. Чуть не сдох под колесами, пронеслось в голове, то-то умора.

Гостиница была в боковой улочке, за Анхальтер Банхофом. Весь собрался, подтянулся, сказал "Guten Abend" девице в регистратуре, снял с гвоздя ключ. На пути в номер никто не попался. Как здесь тихо — рано, под вечер, в такой час. Распахнул дверь. Бухнулась о спинку кровати.

Невыносимо ярко горела электрическая лампа. Собственное отражение било из зеркала в шкафу, из зеркала над величавым умывальником. В комнате-то тепло. Даже чересчур. Присел на постель. Голова кружилась от этой яркости.

Встал, открыл стоявший на стуле чемодан. Да, тут они, как миленькие, куда ж они денутся. Два конверта поверх сложенных рубашек. Вынул оба. Мисс Маргарет Ланвин. Эрику Вернону, эсквайру. Сперва вскрыл то, что к Маргарет. На трех страницах. А прелестно ведь написано. Как ловко я все это накатал, пока еще не надрался. Милая Маргарет, когда ты будешь держать в руках мое письмо, надеюсь, ты чуточку лучше станешь обо мне думать, чем думаешь сейчас.

К черту, зачем рассусоливать. И в суде будут все это полоскать. Может, отослать по почте? А-а, да ладно, он решил, распрямляясь на постели, надоело, устал, никаких сил. Медленно порвал письмо. А вдруг обрывки найдут, сложат, склеят? Немцы, говорят, народ дотошный. Нет-нет, сжечь. Подошел к умывальнику, взял мыльницу, сунул туда обрывки, подпалил. Потом бережно собрал пепел, открыл окно, развеял. Мыльницу лучше помыть. Тоже улика. Начал ее мыть, уронил. Разбилась на три части. О, черт. Но ничего, вставят в счет. Кто-нибудь же оплатит мой счет.

Вскрыл второе письмо:

Дорогой Эрик,

у меня в банке есть небольшой черный металлический ящичек. Присмотришь за тем, чтоб *все* бумаги там были уничтожены?

Обращаюсь с этой просьбой к тебе, потому что ты единственный, кому я могу довериться.

Оставляю кое-какую наличность для твоих фондов. Распорядись по своему усмотрению.

Эдвард.

Ну вот, дело сделано. Сунул письмо обратно в чемодан, прикрыл крышку. Запереть? Не сто́ит. Зачем? Только лишняя будет морока.

На туалетном столике визитная карточка — типа этого, у которого вчера был. Психоаналитик. Кто-то его расписывал на посиделках у Мэри. Сногсшибательный. Лучший в Европе. Огромные успехи в лечении послевоенных неврозов, контузий. Мелькнула надежда: может спать меня научит.

Но все, разумеется, оказалось в точности как всегда. Затененная комната. Господин в манжетах. Расспросы о раннем детстве. Был один такой, был, сразу после войны к нему таскался, так тот с великим торжеством допер, что в 1917-м Эдвард несколько раз, можно сказать, уклонялся от исполнения долга. Симулировал приступы ревматизма, получал освобожденье на несколько дней. "Ну вот видите — победно протрубил этот коротышка, — наконец-то мы и подкопались под самый корень проблемы. Подсознательно вы так себя и не простили. А теперь постарайтесь взглянуть на дело рациональней. Вспомните о своей безупречной службе. У каждого бывают свои приступы слабости, кто без греха. Мы не железные. И ничего тут постыдного нет. Ровным счетом ничего. В подобных обстоятельствах это только естественно." — "В подобных обстоятельствах, — Эдвард тогда ответил, — держу пари, вас бы и штыками не затолкали в проклятую машину".

Вчера доктор был полон надежд. На его взгляд, он говорил, случай совершенно очевидный. Да уж, Эдвард подумал, и завтра утром еще очевидней будет.

А теперь — выдвинуть ящик стола. Вытащить свою кожаную коробку для воротничков. Отстегнуть застежки. В скобки воротничков заключен пистолет. Блеснул на свету. Вынул его, взвесил на ладони. Черт, до чего крошечный. Снова шевельнулось сомнение. Не подведет? Нет, надо только поаккуратней. Эх, мне бы сейчас мой служебный маузер. Уж тот бы разнес — за милую душу.

Стоя перед зеркалом, открыл рот, прижал к небу тупое дуло. Так, хорошо, хорошо. Нет, чуть поглубже. И наклонить. Чуть-чуть. Поаккуратней, поаккуратней, так, так. Качнулся. Кровь колотилась в ушах. И зачем было так надираться. Нет, лучше лежа. Устойчивости больше.

Пошатываясь, клонясь, двинулся к кровати. Уже когда уселся, подумал про пальто. Жалко портить, вещь же отличная. Снять, бросить на спинку стула. Ну вот. Снова уселся, потом тяжело откинулся. Минуту полежал, уставясь в потолок. Поднес пистолет ко рту.

Может, свет выключить? Нет. Теперь уже не встать. Дудки. Уже не шелохнуться. Если никто не услышит выстрела, так и будет гореть часами. Плевать. Вставят в счет. Все вставят в счет.

Закрыл глаза. Сразу кровь заколотилась чаще, удары слились в ровный гул. Громче, громче. Сейчас отключусь. Прижать дуло к нёбу. Поглубже. А-а, плевать. Дикий грохот. Как падаешь. В первый раз прыгаешь с парашютом. Да. Живо. Ну. Приподнявшись на локте, он выстрелил.

* * *

Яркая поверхность. Какие-то кубы. Яркий угол, вдвинутый в темноту. Что-то твердое, продолговатое, и ширится кверху. Вид шкафа с полу.

Он перемигнул. Веки слиплись. Как туча, набегало на мозг беспамятство, длилось по нескольку секунд, может быть, или по нескольку минут. Потом снова вторгалась в сознание непереносимая яркость электричества. Перемигнул. Что это шевельнулось сверху? А-а, моя нога.

Он свалился с постели и теперь лежал головой на ковре.

Кое-как, очень тщательным усилием мысли, установил контакт с правой рукой, приподнял ее, уронил. В левой тоже была чувствительность. Поднес ладонь к губам, подержал на свету. Кровь. Совсем немного.

О Господи, промазал. Идиот несчастный.

Шевельнулась вялая мысль: интересно, какой я им нанес ущерб. Боли пока нет. Только невыносимо тошно, гадко, будто что-то выдернули из нутра, оставив рваную культю. И мутит.

Идиот, идиот.

Снова прояснилось сознанье. Собрать все силы, двинуться. Раз. Два. Три. Сбросил ноги с постели. Пятки стукнули об пол. Так-то лучше. Потом, опираясь на локти, перевернулся ничком.

Локоть ткнулся во что-то твердое. Поднял, поднес к глазам. Пистолет. Дуло замарано кровью. Ужасно тошно смотреть. Бросить его. Мутит. Да, сейчас вырвет. Сейчас. На четвереньках прополз через всю комнату к помойному ведру. И сразу скинуло с души. В основном кровь. Уф! Гадость! Затих, дыша трудно, как собака, с глазами, полными слез. Несколько капель яркой свежей крови вытекли изо рта на пол. И это всё.

Уцепившись за край умывальника, подтянул под себя ногу, встал.

Комната мягко тронулась вместе с пронзительной лампой, качнулась, прошла полоборота, как смазанный маховик. Эдвард качнулся и рухнул поперек постели.

Полежал так немного, может, четверть часа, уставясь в потолок.

Идиот несчастный.

Уже хотелось встать, выйти отсюда, на воздух. Осторожно сел, изо всех сил обарывая дурноту. Накатило. Прошло. Встал на ноги. Шаркнул, сделал шаг, чуть не наступил на пистолет. Нет, нельзя ему здесь лежать. Сел на постель, поддел его стопою, вот, вот так. Наклонился, очень медленно, поднял, закрыл на предохранитель, сунул в карман.

Снова встал. Усилием воли заставил себя подойти к зеркалу. Глянул. Нет, ничего, думал, вид пострашнее будет. Кровь размазана по щеке, застыла струйкой в углу рта. Рот перекошен. Будто принял человек дозу мерзкого снадобья.

Сумел кое-как добраться до стула, снял со спинки пальто, уронил. Сил нет надеть. Всего трясет. С волос течет пот. Выйти. Выйти скорей.

Прошел к двери, на ходу выключил свет.

В коридоре нет никого, хотя этажом выше, слышно, топают. А-а, пусть кто и втретится, плевать. Не остановят. Пошел, держась за стенку. Ступя на лестницу, чуть не свалился вниз головой. Пришлось минуту посидеть на ступеньке, чтобы очухаться.

Снова пошла изо рта кровь. Нашарил носовой платок, прижал к губам. Скорей, скорей.

В регистратуре никого. Вывалился в дверь. Уличный холод резанул железом. И сразу прочистил мозги. Встречный глянул с интересом, но не остановился. Такси. Помахал. Подъехало. Куда? Тут только вдруг дошло, что он мнет в руке карточку психоаналитика. Потешно. Сунул шоферу, тот долго разбирал адрес. Плюхнулся на сиденье.

Боль резанула меж глаз раскаленным ланцетом. Началось. Застонал, откинулся, закрыл лицо руками. Такси металось направо, налево. Вдруг подступила мучительная тошнота, высунул голову в окно, не удалось, не удалось, сблевал на пол. Снова ударила боль, сразу все зачернив.

Его взволокли на несколько ступенек, в дом. Таксист, еще кто-то. Хотелось извиниться, что напакостил. Вставьте это мне в счет. Но выходил только кашель. А вот и старый приятель, психоаналитик. Кажется, не очень-то он рад меня видеть.

Уложили на койку. Вокруг суетились. Свет. Голоса. Кто-то вызывал "скорую". Немедленная операция, а потом много чего еще, не разобрать. Вот — губками промокают лицо.

Ну, слава Богу, думал Эдвард, уж они меня сообща-то разделают под орех.

Книга вторая
1920

I

С ногами примостившись на мягком кресле в углублении окна, щекою вжавшись в дубовый ставень, Лили думала: как я устала. Как я смертельно устала.

Был уже двенадцатый час. Кент, на козлах виктории, кружил, кружил, секундной стрелкой вокруг песочных часов. Тяжело давило сырое, жаркое августовское утро. Пар шел от верхушек вязов. Жужжанье дальних мельниц, неслышное, на все вокруг навевало сон.

Лили думала: и так это будет всегда. Пока не умру.

Прямо за низиной, куда выходило другое окно спальни, в тылу дома, тоненько, отчаянно, грустно свистнул паровоз. У нее горло перехватило от тоски, на глаза навернулись слезы. Мысль о смерти должна бы меня только радовать, она подумала. И сама растрогалась. Всхлипнула даже разок — больше не получилось. Утерла глаза. Но, едва отложила носовой платок, опять потекли по лицу слезы.

В этом году все чаще, когда одна, взяла манеру плакать. Так легко теперь это получается, в привычку вошло. А раз это дурная привычка, с ней надо бороться. Кто-то, а может, и сразу несколько человек, поучают: надо быть храброй. Храброй. Легко сказать. Слово утратило смысл. Звучит прямо по-идиотски. С какой стати, зачем, чего ради мне надо быть храброй? Кому это важно, я храбрая или нет? Я совсем одна. Никто меня не понимает, всем все равно. Слезы выступили на глаза, потекли по щекам, вниз, на платье — ну и пусть, и пусть. Пока еще шла война — дело другое. Тогда храброй быть стоило. Когда еще шла война, мое горе имело смысл. Нас таких были тысячи. Тогда мы как-то сплотились, как-то поддерживали друг друга, что ли. Тогда была ненависть, тогда был патриотизм. Карикатуры в газетах, по стенам плакаты, плакаты. Правда, все эти матери и вдовы, ну, или почти все, и поныне живы — это нельзя забывать. А-а, но теперь мы не в счет, вышли в тираж. Нет, наша песенка спета. Уже новое поколение подросло.

И как вспомнила про это новое поколение, жадное до новой жизни, до новых удовольствий, с их этими новыми понятиями о том, как надо, видите ли, танцевать, как одеваться и как вести себя в гостях за чаем, да, и они ведь всегда готовы потешаться над тем, чему так радовались, чем так упивались девушки девяностых, — как вспомнила про это новое поколение, сразу почувствовала уже не укол нежной грусти, а грубый тычок тоски. Да, жить приходится в новом, непонятном мире, докучной, лишней и чужой, в окруженье врагов. Стара, устарела, сброшена со счетов. Ведь и сама, бывало, в школе подхихикивала с подружками над не первой молодости классной наставницей.

"Постарайтесь жить ради вашего мальчика", — кто-то написал. Милый Эрик, Лили подумала механически. Всегда так о нем думала: "Милый Эрик"; прямо как отдался в ушах произносящий эти два слова собственный голос. Нет, никто, никто ничего никогда не хочет понять. Ну как, ну как я буду жить ради Эрика, если по восемь месяцев в году он далеко, невесть где, у себя в школе? И он такой еще кроха был, когда убили Ричарда. Никогда мы с ним не разделим горя.

Тем не менее, можно постараться воскресить хоть какие-то сценки из детства и отрочества Эрика. Вот он, бежит по саду, в такой же августовский день, пятилеточка, — красный костюмчик, очечки малюсенькие. Бедный Эрик. Бедняжечка. Всегда был до того некрасивый. Ну ни капельки не напоминает Ричарда. Может, разве что, на дорогого Папу чуть-чуть похож. Лили нежно улыбнулась сама себе и глянула в окно. Кокарда на черном блеске высокой Кентовой шляпы все так же кружила, кружила секундной стрелкой вкруг солнечных часов. Ах, мы же опаздываем, опаздываем. И тут еще другое про Эрика вынырнуло: в форменой курточке приготовишки своей школы едет на новеньком велосипедике, очки другие, теперь

окончательно уж безобразные — как-то так особенно выкрученные, чтоб не давили на переносицу.

Конечно, милый Эрик мне всегда, всегда будет самой большой радостью, самым большим утешением. И с каждым годом он будет взрослеть, мужать, все больше будет способен скрашивать мое одиночество. Ах, как опять сердце сжалось. Скрашивать одиночество! Как компаньонка. Чтоб вязание держать. Нет, это не жизнь. Чуть вслух не закричала. Не жизнь. Все к тебе добры, говорят ласковым голосом, прикидывают, что бы сказать такое, тебя развлечь. Не жизнь. Она встала, подошла к другому окну, глянула через долину, вдаль, на горы, убегающие к Йоркширу, на трубы белилен на речном берегу и на этот кошмар, который портит весь вид: новый санаторий для туберкулезных детей из трущоб Манчестера. "Вот кошмар", — она прокричала свекру, и тот, как водится, хмыкнул.

А моя жизнь кончена, кончена.

Может, вот в это самое окно девушка из преданья Верноновв смотрела, как тонет любовник. Там две крохотные фигурки в низине. Надо бы телескоп завести. Какие глупости. Высокая, важная труба выдавила в небо дым — длинной, грязной загогулиной. Лили отвернулась от вида, слишком больно терзавшего память, встретила взглядом комнату — вот и все, что от жизни осталось: фотография в серебряной рамке — Ричард перед самым отплытием во Францию; щетки для волос — подарили на свадьбу; черный шелковый плащ, часть вдовьей униформы, раскинулся в ногах одинокой, узкой постели.

Одна подруга, она сына потеряла под Аррасом, все тащит к некой женщине на Мейда-Вейл. Не сеансы, нет, просто — она да ты, парочкой, наедине, и даже не затенена комната. Она раньше в магазине работала, эта женщина. Совершенно необразованная. Ее устами вещает краснокожий индеец. Поразительное впечатление, подруга говорит, когда она, в трансе, урчит мужским басом, кричит и хохочет. А сама маленькая, тощая, в чем душа держится. И этот краснокожий индеец через нее выходит, сообщил подруге, что сыну хорошо и он дожидается, когда она к нему придет. Бедняжка-мать заметно повеселела. Трогательно. Но как можно в такое верить? Краснокожий индеец — спасибо большое. Есть, наверно, вещи, которые нам просто не дано постичь, не нашего ума дело. Читаешь книжки, например, "Евангелие будущего"[1], и все так ясно кажется, так хорошо, утешно. А потом — пытаешься сделать еще шажок, а там одна насмешка и тьма сплошная.

И все же искушенье сильное, не отпускает. Пойти, например, к этой женщине, а вдруг и получишь весть — ну, хоть несколько словечек, ах, да что угодно, лишь бы можно поверить. Только представить себе! Женщина, она тебя держит за руку и

1. Книга Джона Патерсона Смита (1852–1932), опубликованная в 1910 г.

вдруг — начинает говорить голосом твоего мужа. Голосом Ричарда. Боже ты мой, как страшно и как изумительно! Выйти из той комнаты и больше никогда, никогда не мучиться. Или, подумала Лили, выйти оттуда, пойти домой, выпить такого чего-нибудь и — уснуть. И сразу оказаться снова с ним вместе.

А еще другая подруга недавно до глубины души потрясла: рассказала, как увидала своего покойного мужа, совершенно отчетливо, он стоял на верху лестницы, дома. У подруги не явилось ни малейших сомнений, что это именно он, муж, пришел ее навестить, утешить, показать, что он живой, как и был, — только на том свете.

Лили все об этом думала, думала. И в конце концов встала на колени и помолилась, чтоб ей явился Ричард. Несколько вечеров подряд так молилась. В начале войны, когда Ричард еще был жив, исправно молилась о том, чтоб он уцелел. Почти все тогда молились. Но с тех пор как его нет, стала молиться только изредка, да, или уж в церкви. Ну так вот, молилась таким образом несколько дней подряд. А потом, вечером, пошла из прихожей по лестнице к себе наверх, переодеваться к ужину, и вдруг: Ричард стоит. Уже почти стемнело, а он стоит, так отчетливо, странно даже, на лестничной площадке у загиба в коридор. Такой, как был в последний раз, в последний отпуск, чуть-чуть сутулый, в теплой шинели, в потертом мундире, и вокруг милых глаз морщинки, совсем как у отца, но прежде времени только, и лоб в глубоких бороздах, и светлые, пушистые усы. Так и стоит. А потом ушел. На минуту застыла на верхней ступеньке марша, и — тупо прошла то место, где он стоял, и дальше, по коридору, к себе в комнату. Несколько дней не могла толком осознать, что же произошло. Пробовала взглянуть на дело и так и эдак, старалась себе внушить, что то был знак и что теперь на душе, значит, стало спокойно и хорошо. Но не стало на душе хорошо. Сомнения мучили. Ну невозможно в такое поверить. Нет-нет, все это — результат усилия воли: захотела увидеть, увидела. И в самом желании было ведь что-то низкое. И — взяла и выкинула все из головы. Больше никогда не молилась о том, чтоб увидеть Ричарда.

Ах, как я безумно устала, думала Лили. Я совершенно изнемогаю. Хватит мне изводиться. Да и не о чем мне волноваться. Но ведь эта мысль так же ранит, как и другие. Снова глаза затуманили слезы. И вот моя жизнь. Все кончено, да? Двенадцать лет счастья; больше чем двенадцатикратно оплаченные тряской тех жутких месяцев, когда ежечасно могла прийти та телеграмма из военного ведомства, которая и пришла наконец. Пал смертью храбрых. Лили посмотрелась в зеркало.

Губы дрожат; растянулись в блеклой улыбке; так я на лягушку похожа. Кто это там стучится? Она глубоко вздохнула. Лицо сразу опало у губ, возле глаз. На пять лет постарело.

— Войдите, — выдохнула вслух.

Взяла шляпу с туалетного столика и надела, оправив вуальку. Под этой шляпой глаза сияют поразительной отрешенностью и печалью. Порой сама удивляешься, как трогательна в черном, маленькая, собранная фигурка, а рядом — в душе — не отмерк еще пленительный образ той девочки в веющей палевой юбке, широкой шляпе с цветами, с фонариками рукавов; образ юной матери. Стук со скромной настырностью повторился. Лили нахмурилась, крикнула резко:

— Войдите.

— Мастер аккурат к карете сошли, миссис Ричард. Велели вам сказать, чтобы поспешали, а то поздно уже.

Миссис Беддоуз улыбалась с иронией, по праву преданной старой служанки.

Лили сказала:

— Да я уж полчаса как готова.

И сама тоже улыбнулась, и улыбка, — вдруг поняла, промельк поймала в зеркале — вышла на редкость трогательная, прелестная. Видно было, какое впечатление эта беглая печальная улыбка вкупе с заплаканными глазами произвела на миссис Беддоуз, когда с каким-то усугубленным почтением та отстранилась, пропуская в дверь госпожу. С почтением, уважением к ее горю. Это ж какой страсти пришлось натерпеться. Бедная миссис Ричард.

Лили быстро пошла по сумрачному коридору, легким шагом, в плаще. Солнечный сноп, крутя несчетные пылинки, падал на лестницу из высокого стрельчатого окна. Лестница скрипела даже под таким невесомым шагом. Дубовые резные фрукты на тяжелых балясинах от старости почти совсем почернели. На полпути вниз Лили замерла, постояла, как часто стаивала, вбирая тишь и древность дома. Этот огромный выцветший ковер сверху на стене. Эти сырно-бледные лица, писанные по дереву триста лет тому. И часы тикают так, будто ходит рыцарь в латах. И стало вдруг покойно, тихо, и дивно хорошо так вот стоять, будто бы зарождается внутри надежда. Но нет. Нет, никогда мне его не забыть, никогда. Не забыть нашу жизнь. Не забыть, как мы были счастливы. И потом, Лили думала, надо же быть храброй. Совсем не трудно. Быть храброй, и улыбаться, и дивно всем-всем сочувствовать, просто потому что никто же не знает, как мы жили с Ричардом. Как невозможно счастливы мы были. И раз никто не знает, а мне никогда не забыть, какая была у нас жизнь, и хорошо, и довольно. Я буду храброй и совсем-совсем спокойной, ведь после *того*, что еще уж такого страшного может со мной случиться, меня пронять? Спустилась на две ступеньки, стояла теперь на свету. Она стояла, облитая чистым золотом, и лицо у нее было, как у ангела, когда Эрик взбежал по ступенькам, к ней, за ней. Весь бледный и запыхался. Будто она его ослепила.

— М-м-м, — он выдавил с этим своим безобразным заиканьем.

— Милый, ну надо же помнить, ты считай, прежде чем заговоришь. Ты еще хуже стал.

— П-п-п-прости.

Вот он стоит — до того нескладный и как будто вдруг еще выше ростом, руки-ноги развинчены, и костюм чуть-чуть маловат. Это такая возня, суетня — одежду покупать, и у самого Эрика на сей счет нет, кажется, особых идей — ему бы просто никаких не надо обновок. Другие мальчики в семнадцать уже любят приодеться и такие привереды. Морис выглядел ну прямо как взрослый, когда в последний раз его видала при всем параде. И, главное, это же мне вполне по карману, думала Лили. А вот как Мэри выкручивается, буквально ума не приложу.

— Потому что я совершенно уверена, миленький, ты от этого излечишься, но надо бороться. Нельзя отчаиваться. От всего можно излечиться.

Говоря это, она тянула руки в перчатках, чтоб поправить ему галстук, и лицо ее сияло. Вот — произнесла эти слова и как припечатала все, что сейчас передумала. С нежностью заглянула сыну в глаза за линзами сильных очков. Сам выбрал эти, стальные, когда новые весной покупали, хоть те, в роговой оправе гораздо больше, конечно, ему шли. Ей-богу, иногда кажется, что он прямо нарочно старается быть как можно уродливей: такая гордость превратная. Приглаживая ему волосы, спросила с улыбкой:

— А что, и вправду нельзя, чтоб они получше лежали?

Он вспыхнул, и пришлось, не без раздраженья, себе признаться, что одно только и удалось — вконец его переконфузить.

— Я с-с-старался, мам.

— Милый. — Она нежно улыбнулась, его поцеловала. — Давай поторопимся, нас дедушка ждет.

Под руку сошли в прихожую. Снаружи, в раме крыльца, сверкал сад. У дверей стояла карета, и зад Джона Вернона, водружаемый Кентом и миссис Поттс, застряв на весу, заполонил все пространство от сиденья до козел. Как будто втаскивали большой серый твидовый тюк, до отказа набитый, по горловине стянутый белым шерстяным шарфом и приплюснутый фетровой шляпой. Кент пыхтел, миссис Поттс сопела на последнем рывке. Втащенный наконец в карету, старик повернулся, тяжко плюхнулся на свое место. Заметно осели набок рессоры. На розовом, вальяжном лице Джона Вернона, с серебряными усами и детским слюнявым ртом, стояла улыбка радости и растроганности тем, что он так бессилен, дороден, тем, сколько он доставил хлопот и вот, наконец-то, снова готов к главному своему нынешнему приключению, к поездке. Рыхлая белая веснушчатая рука держала недокуренную сигару в опасной близости от распахнутого пальто, от жилета с пятнами еды, составлявшими трагедию миссис Поттс; только выведешь их керосинчиком, глядь, уж новые понасажены. Очень миссис Поттс беспокоила эта сигара. Она повела бровью на Кента, тот мигом смекнул и, подтыкая плед хозяину под бока,

исхитрился так поддеть хозяйскую руку, чтоб была от пальто подальше. Миссис Поттс рассиялась блаженной улыбкой, и миссис Беддоуз, выйдя из дому вслед за Лили, заулыбалась тоже. Лили влезла в карету, поцеловала Папу. Села с ним рядом, Эрик примостился напротив. В черном школьном пальтеце, в котелке. Все были в полном трауре, кроме Джона. Миссис Беддоуз даже не сомневалась, что хозяин уж точно подцепит простуду, если только в цилиндре отправится. Они с миссис Поттс, обе седые, в передничках, провожали взглядом своего господина, пока карета выезжала в парк. И прошли за ней следом: затворить садовые ворота.

Они обе прямо невероятно его обожают, думала Лили. И каким же особенным он наделен достоинством — при одной мысли даже гордость охватывает. Это достоинство прирожденное, неотторжимое, от внешних обстоятельств почти не зависит, недаром же им так прониклись эти две женщины, которые последние пять лет, после того легкого удара, моют Папу, одевают, ходят за ним, как сиделки. Вот, катит виктория по ровной, голой части парка — совсем пустой, разве что куст вдруг встанет, сверкнет прудок, а он сидит себе, вот вкатили в аллею: дубы, ясени, буки, — а он сидит себе, улыбается, по-хозяйски довольный, ни на что не глядит, и край пледа уже подпаляет сигара. Улыбнулся, когда она с улыбкой осторожненько плед отстранила. Руку ему пощупала: не окоченела ли. Он хмыкнул.

Тут ни одно дерево не вытягивается в полный рост, потому что парк, хоть в низине, чуть ли не на болоте, все же расположен выше уровня Чеширской долины и продувается ветром с моря; зимой так прямо ураганы бушуют; даже сегодня дует слегка. Есть у Папы любимая байка про то, как он, когда еще пускался в недальние прогулки, встретил однажды в парке американца, морского капитана. Морской капитан понятия не имел, что забрался в чужие владенья. Он сюда ходит каждый день, он сообщил, подышать воздухом. Тут, он объяснил, озоном пахнет. Лучший воздух во всей нашей средней полосе. Бывает же нахальство у людей. Вот ясенек, в тот год посадили, когда Эрик родился; а там, чуть подальше, отсюда не видать, другой, посадили в день свадьбы. И, нарочно себя мучая, Лили стала вспоминать день, который был еще раньше, день, когда впервые увидела Холл. Стояла весна. И, закрыв глаза, ухитрилась, на одну минутку, представить себе парк и дом, как они тогда на нее глянули, — совсем не те, что теперь, но, в сущности, те же, всего-то и разницы, что вокруг солнечных часов были цветочные клумбы, да не срубили еще смоковницу в глубине сада. Пустяшная разница, да, и лучше не думать о прочем, что было, то быльем поросло, и уже не вернешь, не вернешь.

* * *

В тот вечер Лили, в халатике, встав на коленки, локтями опершись на туалетный столик, поправила свечи по обе стороны зеркала. Открыла шелковый бювар и продолжила письмо к тетушке:

"Сам дом елизаветинский отчасти..."

Прервалась, погляделась в зеркало. В глазах плясали несчетные блестки свечного пламени. Глаза сияли счастьем. Стекали на плечи яркие волосы, щеки пылали. Какой день! В дневнике — она новый завела — отводилось на каждый день по странице, и была такая детская дурь — не выходить за эти рамки, вот почерк и делался то тесней, то просторней. Уж в такой-то вечер, конечно, придется писать поубористей.

"Сам дом елизаветинский отчасти". Лили вгляделась в зеркало, в густые тени огромной, важной гостевой с высокоспинными креслами, обитыми кретоном с таким крупным, крупным рисунком. Яркий огонь в камине — для уюта, для настроенья развели, конечно, не то чтоб погода требовала — этих теней не разгонял, только делал их странными, фантастическими. И был еще деревянный резной экран, смешной, прелестный, прямо привет от ранних викторианцев. А на каминной полке немыслимые фарфоровые китайские овечки с китайским густым руном — об них можно спички зажигать.

Нет, Лили вовсе не находила комнату такой уж мрачной. Она ждала — ах, да теперь разве уж вспомнить, чего ждала от Холла? Ричард порой говорил о нем так, как будто это тюрьма да и только. Но ведь он просто обожал свой дом; буквально обожал. Я-то, конечно, я-то все бы тут нашла безупречным, неважно, чем это оказалось бы на поверку. Но все и на самом деле оказалось так хорошо!

"...только фасад перестроили, — вдруг решительно побежало перо, — распашные оконные рамы справа от крыльца заменили подъемными аж во времена прапрадедушки мистера Вернона".

Ричард прямо поразился, и так он весь сиял, когда она за ужином расспрашивала его отца насчет этих окон. Потому что, он объяснил, она же с дороги все углядела, когда они въезжали в ворота. Они ведь даже вокруг дома пока еще не обходили.

— Лили все замечает, — он хвастал, и давай рассказывать, вот мол, ходит по старым церквям — не во время службы, конечно, — рулеткой меряет длину нефа, ширину алтаря и так далее, и делает карандашные зарисовки резьбы и лепнины, и все складывает в блокнот. — Ей бы архитектором быть, — и он хохотал, он вгонял ее в краску. Но миссис Вернон была такая милая и внимательная и расспрашивала про Святую Марию на Стрэнде, про Святого Клемента Датского[1]. А потом мистер Вернон рассказал, как несколько окон, выходящих на конюшни, во времена Оконного налога[2] пришлось замуровать. А потом еще рассказал, медленно, уютно перекатывая слова, историю про кавалера, который перед самой Гражданской войной повадился в дом к

1. Старые лондонские церкви.
2. Оконный налог существовал с 1696 по 1851 г.: бесплатно разрешалось иметь только пять окон, все остальные облагались налогом.

барышне, к своей зазнобе. Верноны стояли за парламент[1]. Както ночью мать этой самой зазнобы обнаружила, что при кавалере секретные бумаги; и в их числе смертный приговор ее супругу. Вышел кавалер из дому на другое утро, а с ним слугу отправили, брод через реку показать. И отвел этот слуга по приказу хозяйки кавалера на такое место, где течение побыстрей и поглубже вода. И утонул кавалер, а девица все видела из окна и лишилась рассудка. "Говорят, наведывается темными ночами в тот лес за домом. Откуда и название Девичий лес", — и мистер Вернон расцвел медленной, прелестной улыбкой. За обедом он не прикасался к своему спиртному. А тут взял свой стакан шабли, стакан портвейна, виски с содовой, ликер и выпил залпом, все подряд. Подмигивая и улыбаясь. Такая прелесть, так смешно. Как будто мальчик лекарства глотает. Милый, милый.

Все, все были милые. Ей необыкновенно обрадовался Кент, кучер, это ясно было по тому, как он поднял руку к своей кокарде, когда они с Ричардом влезали в карету на вокзале в Стокпорте. Стокпорт, Ричард говорил, жуткая дыра, а ей все тут очень даже нравилось, пока гремели по брусчатке. Ну, конечно, не то, что юг; серость, задымленность и скука, каких она не видывала и в Лондоне — но во всем ведь можно найти романтику. И в этом смысле мистер Вернон очень помог, за ним дело не стало. "Всегда говорят, — он сообщил доверительно, — что Стокпорт похож на Рим — и то правда, небось, на семи холмах построен".

Потом еще долго катили по грязным, вихлявым дорогам, мимо разбредшихся далеко один от другого домов, через канал — высокой аркой моста, — вниз по крутому скату, под стон рессор. Ричард показывал некоторые соседние "места", в полях, среди деревьев. Непривычные названия веселили сердце. И он держал ее за руку.

Мистер Вернон стоял на крыльце, когда они подъезжали. Не такой высоченный, каким запомнился Лили в доме у тети, в Кенсингтоне, но тут дело в том, наверно, что все Верноны оказались рослые необычайно. Целуя его, оглянулась на высокую темную девушку сзади — конечно, Мэри, сразу догадалась — и пожала ей руку, и все время, все время спиною чувствовала зал, выложенный плитами, с высокими креслами подле камина, с древними портретами по стенам. Да, глаза у Мэри, как у Ричарда, красивые глаза, хотя сама-то она отнюдь не такая красавица. Сразу она понравилась, к себе расположила. Застенчивая, неловкая. И до того большая. Может, надо было ее поцеловать? Улыбнулись друг другу. Так и засело то первое впечатление: прелестные глаза на некрасивом, очень бледном лице.

Далее была представлена миссис Беддоуз, экономка. И миссис Беддоуз, слегка присев, проговорила:

1. Речь идет о войне (1642–1649) между роялистами (кавалерами), сторонниками короля Карла I, и парламентом.

— Добро пожаловать в Холл, мисс.

Ах, боже ты мой, какие тонкости! Хотелось прямо на шею кинуться к этой миссис Беддоуз. В глазах накипали слезы. Ах, все тут были слишком, слишком добры! Мистер Вернон, высокий, медленный, сутулый, с пшеничными усами, лепными морщинами у милых глаз, говорил: "Небось, комнату свою посмотреть хотите?" И Мэри, дичась, стесняясь, вела по резной, изумительной, от старости скособоченной лестнице, отворяла дверь: "Надеюсь, тут будет уютно".

— Какая прелесть.

Постояли, вопросительно глядя друг на друга. Мэри улыбнулась быстро, странно. А какой у нее голос оказался — хриплый, милый.

— Вот и хорошо, — она сказала. И всё. Тут садовничий мальчишка принес багаж. Явилась миссис Беддоуз: вещи распаковывать. Весь дом ходуном ходил.

— Я этого дня неделями ждала, мисс, — сказала мисис Беддоуз, оставшись с Лили наедине. — И хозяин с хозяйкой тоже, прямо вы не представляете.

Ну что на это скажешь? Тогда, как и потом, когда сжимала руку миссис Вернон и целовала ее в гостиной под огромной хрустальной люстрой, хотелось крикнуть: спасибо вам, спасибо — за то, что живете в этом доме, за то, что вы так несказанно хороши. Хотелось себя вести, как школьница. Но раз уж ты взрослая, так вести себя неприлично, и вот надела самое свое лучшее платье — розовое с серебристой искоркой — чтобы им всем понравиться.

Ну и что про все про это расскажешь тете? Напишешь в дневнике? Ах, невозможно. И я так устала.

Но она не сразу легла в постель. Сидела, гляделась в зеркало, от счастья глупая, и прижимала к губам обручальное кольцо.

* * *

"Неужто я здесь всего-навсего две недели? — попозже писала в дневнике. — Утром ездили по деревне с Мамой и Папой..."

Чуть не каждое утро ездили по деревне. Сперва останавливались у бакалейной, потом у мясной, потом у рыбной лавки. Лавочники выбегали, стояли, кланялись каретному окну. У табачника мистер Вернон запасался своим табачком, выбирал роман пострашней, а Лили с миссис Вернон самостоятельно отправлялись дальше, к бедным домишкам на задворках за методистской церковью. Кента засылали внутрь, со свертками, и женщины выходили благодарить Лили с миссис Вернон, утирая о передник ладони. Могли бы и книксен сделать, Лили считала, она же видела, как книксен делают — в одной деревне в Саффолке, иногда там гостила летом. Вот что единственно было не очень хорошо в Чейпл-бридж — люди такие неотесанные, бесцеремонные. Поклонись, голова не отвалится, нет, только кив-

нут слегка. А женщины в шалях и деревянных башмаках, в полдень толпой валившие с фабрики, те даже и не поклонятся, только посмотрят на тебя, не то чтобы с неприязнью, а так, будто ты выставлена в музее. Ну никакой благодарности. Однажды она до того возмутилась, что не выдержала, крикнула в справедливом негодовании, когда уже карета катила прочь:

— По-моему, вы чересчур к ним добры, мамочка. Люди этого класса, к сожалению, не в состоянии оценить то, что для них делается.

У миссис Вернон были удивительно тонкие, бледные греческие черты. Да таких красавиц поискать, это уж точно. Миссис Вернон прикрыла тогда глаза и ответила:

— В этих краях, душенька, самим бы научиться ценить.

Весь день и весь вечер миссис Вернон лежала в гостиной, на диване под люстрой. Так, собственно, и не выяснилось, какой болезнью она страдала. Ну, просто хрупкая, наверно, как хрупок благородный фарфор. Все хозяйство было на Мэри; мистер Вернон приносил бумаги и книги из других комнат; она благодарила, только жестами, но сколько было в них невыразимой прелести. Или говорила:

— Балуете вы меня. Совсем испортите, вот увидите.

Лежала, прикрыв глаза, — пушистый боа на плечах, золотые длинные серьги. Смотришь на нее, бывало, буквально с благоговением, с обожанием. Миссис Вернон была такая драгоценная, священная, как икона. Ей, кстати, тайно готовилось жертвоприношение, альбом зарисовок Холла. С самого начала было задумано: кончу и собственноручно переплету. Переплетное дело — имеется у нас еще один такой скромный дар. Ричарду, конечно, альбом показывали, под строжайшим секретом, по мере продвижения. Он видел, естественно, все прежние рисунки и акварели. И он говорил: тут ты превзошла себя. Это прямо роскошь что такое! Какие работы — просто изумительные! Лили таяла от этих похвал.

— Еще бы им не быть изумительными, — она отвечала, — когда здесь все так дивно.

— Пока ты не приехала, ты даже себе представить не можешь, какая тут была тоска зеленая, унылая старая дыра.

— Ты не достоин жить в таком доме, — возмущалась Лили. — Ты не умеешь его ценить.

— Вот оценил же, когда ты научила, — сказал Ричард.

Недели шли, перешли в лето. Миссис Вернон уже не лежала в четырех стенах, ей поставили шезлонг под буком на лужайке. Красный зонт ее защищал от затекавшего под листья резкого света. Лили устраивалась рядышком. Говорили о детстве Лили, о покойных родителях, о тетушке, которой миссис Вернон всегда просила Лили кланяться в письмах, о предстоящей осенью свадьбе. Говорили про Ричарда. "Обещай, что будешь о нем заботиться, — просила миссис Вернон, а однажды

она сказала: — И как мне простить тебе, детка, что ты у меня его отнимаешь?" Ведь работа у Ричарда будет в Лондоне, и они туда переедут после первого года. А Лили ответила: "Знаете, мамочка, будь моя воля, я бы навсегда здесь осталась". И миссис Вернон смеялась и гладила Лили по руке.

Раза два в неделю отправлялись в виктории по визитам. Часто принимали гостей. Приезжали Уилмоты из Торкингтона, Ноулзы из Меллора, прихватывая собственных гостей, чтобы им показать Холл. Чай пили в саду, а потом миссис Вернон отряжала Лили — не Мэри, не Ричарда! — водить гостей по дому. "Она самый лучший гид, — объясняла она с улыбкой. — Лили знает дом лучше нас самих". И вот Лили, зардевшись от гордости, вела полковника Такого-то, леди Такую-то, сперва в библиотеку, потом, ничего не пропуская, по всему дому, вовсю стараясь передать им собственный восторг, и сердилась не на шутку, если господа больше заглядывались на нее, чем, скажем, на старинное голубое блюдо на поставце в простенке. Раз до того дошла, что даже крикнула: "По-моему, вы ни единого слова не слышите из того, что я вам тут толкую!" Господин полковник был от смущенья сам не свой: "Ах, знаете ли, ха-ха, ну да, ей-богу же, вещица прямо высший класс, клянусь честью..." — "Вам бы тоже, наверно, не понравилось, — оборвала его Лили и улыбнулась, испугавшись собственной дерзости, — если бы я не слушала всех этих дико интересных вещей, какие вы рассказывали про буров".

А бывало — то-то радость, то-то удовольствие — являлись гости из Чейпл-бридж. Жена викария, и доктор, и банковский служащий. Их всех Лили характеризовала в письмах. Бывала снисходительна, не язвила, просто писала от души, что "мистер Хэссоп восхитительно неотесан". Смотрела во все глаза, как Папа с ним гуляет по саду, беседует с ним на равных, потчует его сигарами. И как раз благодаря мистеру Хэссопу и поняла, что Холл пользуется особым уважением в округе, среди церковных старост, среди людей почтенных. Папу он называл исключительно Хозяином, с Мамой обращался прямо как с королевой. А что, часто думалось, из них прекрасная бы вышла королевская чета.

В то лето, в том жарком саду, в том мире — ничего, ничего не могло приключиться. Вот докладывают о гостях, и мама под деревом усмехается: "Филистимляне идут на нас!"[1] Вот Папа рассказывает, как кучер-итальянец в сердцах выхватил у него трость и переломил о колено. "И, можете себе представить, больше ни слова — вскочил опять на свое место, погнал во весь опор и гнал до самой виллы!" Вот голос Ричарда несется с теннисного корта, он выкликает счет. Чудный, блаженный мир, где и на другое лето все так же будет, и потом, потом — деревенские пересуды, балы, помолвки, и новых девушек вывозят в

1. Слегка перефразированная цитата из Библии. Книга Судей. 16:9.

свет, и говорят о живности, ценах — о стрельбе, охоте, смеясь, намекают на кого-то, кто нечестно нажился, и миссис Беддоуз скользит с подносом между чайным столом и прохладным домом, разносит бутерброды с огурчиками. Старый беспечный, счастливый, чудный, чудный мир.

* * *

Папа вдруг весь передернулся, будто решил покончить с собой, выкинувшись из кареты. На самом деле, просто пытался сигару выбросить. Кент слез с козел и отобрал у него эту сигару, покуда Эрик отворял парковые ворота. Лили не раз видела, как Кент раскуривает папины трубки, сперва сам несколько раз пыхнет, потом утрет мундштук рукавом. Еще в его обязанности входит бритвой срезать хозяйские мозоли в чердачной курительной. Теперь вот раздавил эту сигару о колесо. Впрочем, нельзя поклясться, что он ее не сунул к себе в карман.

Она глянула на часы, подалась вперед.

— Мы, по-моему, все-таки успеваем! — сказала мистеру Вернону, старательно выговаривая каждый слог.

— Что?

Он сказал не "что", а "шу" — простейший пример того хрюканья, не внятного ни для кого, кроме Кента, Лили, Эрика, миссис Беддоуз и миссис Поттс, с помощью которого он теперь изъяснялся, отчасти из-за своей болезни, отчасти по лени.

— А если и опоздаем, так чуточку только, — сказала Лили.

Мистер Вернон издал утвердительный хрюк. Он широко улыбался. Опоздают они, нет ли — ему что за дело.

И Лили, нежно на него глядя, вполне понимала миссис Беддоуз и миссис Поттс с их поклонением. Сколько он в молодости путешествовал! Исколесил всю Европу, побывал в Ост-Индии, в Америке. И морская болезнь не брала — как-то, в норвежских водах, один капитан с ним затеял спор, кто дольше продержится — ели застывший бараний жир — и продулся в прах. И еще случай был — так наутро вся команда у него просила пощады. Семь раз он делал предложение Маме. Играл с деревенскими в крикет. Толкал речи в Индии, на открытии благотворительных базаров. Был мировым судьей. В Манчестере познакомился с Фордом Мэдоксом Брауном[1], звал его к нам, гобелены смотреть. Теперь он воплощение всего-всего прошлого, Мамы нет, Ричарда нет, нет и тетушки — все умерли, кого любила, кого вспоминаешь с тоской.

Но Папа по-настоящему никогда не понимал Ричарда. Что ж, ему это можно простить. Никто ведь, кроме меня, толком не понимал Ричарда. Зато осталась хоть эта гордость, хоть эта услада. Нет чтобы в Оксфорд его послать, или в Кембридж, и стал бы он доном, чем совать в этот Оуэновский колледж, а потом в адво-

1. Форд Мэдокс Браун (1821—1943) — английский художник.

катскую контору. Никогда Ричарда особенно не прельщало адвокатское поприще. Взяли и загубили у человека талант.

Но ничего-ничего, чуть ли не самые блаженные часы недолгой совместной жизни проведены в музеях, библиотеках, храмах. У Ричарда прорезались вкусы, которые, очевидно, в нем все время дремали. Стал рисовать. И у него получалось — лучше даже, чем у меня. Как гордилась его работами, показывала каждому, кто только придет в дом.

За воротами парка почти сразу — деревня, и каких тут теперь понастроили уродских кирпичных домов. Все больше одноэтажек. Окна все в мелких витражиках: фрукты, цветы. Ну а внутрь заглянешь, такие увидишь умопомрачительные лакированные сооруженья, и ящики, консоли, фигурки, зеркала, и буфетище, уставленный фоточками и поддельным фарфором с гербами морских курортов. И как тут можно жить? Прямо в дрожь кидает. Где же романтика? Проехали Рэма, затряслись по брусчатке. Да, так о чем это я? Впереди разматывается деревенская улица, два ряда темных неказистых домов, кондитерские, булыжная мостовая, фонари, ни деревца, и фабрика застит небо. И вдруг то, что давно уже туманилось в голове, как-то уточнилось. Милый Эрик. Он осуществит то, чего так хотелось Ричарду. Станет доном. Он же такая умница — все говорят. Учитель истории не сомневается, что он может получить вступительную стипендию в Кембридж. Еще бы. Вот будет прелесть! И как бы Ричард порадовался! Уже рисовалось: вот идут с сыном, рука об руку, по муравчатому, самому дивному месту во всем Кембридже, по тропке по-над рекой, где деревья, как папоротники. На нем плащ, четырехугольная шапочка, и звонят университетские колокола. От этой картины на глаза навернулись слезы. Но поскольку срочно, сейчас, все это невозможно было рассказать Эрику, пришлось потянуться вперед и, улыбнувшись, спросить:

— А как подвигается книга, которую ты должен прочесть, детка?

Книга была — "Факторы новейшей истории" Полларда[1]. Эрику полагалось ее и еще несколько книг по списку прочесть за каникулы. На днях было заглянула в нее и попросила Эрика почитать вслух. Кстати, хорошее средство от заиканья. Правда, усвоить мало что удалось. Все время автор намекал на какие-то совершенно неведомые обстоятельства, как будто все их обязаны знать. История, оказывается, для разных людей означает совершенно разные вещи. Лили, между прочим, всегда считала, что неплохо знает историю. Было время, ночью ее разбудите — с ходу вам скажет, кто кем кому приходится из королевских особ, кто на ком женат, и даже как чуть ли не всех у них детей звали. Но все равно ужасно приятно было слушать, как Эрик чи-

1. Альберт Фредрик Поллард (1869–1948) — английский историк, основатель Института исторических исследований в Лондоне (1920).

тает эти "Факторы": история есть история, и какой же он умный, Эрик, если все это понимает.

При вопросе матери он поднял сосредоточенный взгляд, обняв своими невозможными руками колени. Сразу видно, как весь углублен в занятия. Даже вздрогнул: мысль ему спугнули.

— О, в-в-все в п-п-порядке.

Как отрезал, и что за тон, как он с матерью разговаривает. Впрочем ладно, сейчас не до того. Сразу опять обступило прошлое. И почти совсем забыла про Эрика. Вот фабрику проехали: как свысока она глянула рядами слепых окон. Вот канал, там, внизу, шлюз, глубокая, черная вода с трудом пробивается сквозь замшелые створы. Сюда рисовать ходила в невестах. Чудесная вышла одна акварелька. Черно-белый шлагбаум на фоне далеких холмов, и баржа плывет, с малиновыми такими пятнами люков, и от тебя прочь полого убегает берег — черточка леса в самом низу, и высовывается церковная колокольня. Ричард прямо обожал эту картину. В столовой висела в милом доме на Эрлз-корт, во все время, пока там жили — своей семьей.

— Нам, пожалуй, сегодня лучше сзади сесть, — она сказала мистеру Вернону. — Вам идти не так далеко. Да и давка будет, конечно.

Мистер Вернон улыбнулся, хрюкнул, кивнул.

Но сразу ей пришло в голову: ужасно же будет обидно, если люди его не увидят. Хозяин. До чего приятно так думать про Джона — Хозяин. Представитель Холла. После войны, слухи были, в деревне вовсю развелся социализм. В Чейпл-бридж, собственно, всегда роились эти социалистические настроения. И теперь волей-неволей приходится замечать, что некоторые люди лояльны к Папе, другие нелояльны. Мистер Эскью, хозяин писчебумажной лавки, — тот лоялен. Мистер Хардвик, банковский служащий, — тот тоже. Мистер Хайем, бакалейщик, уважающий, естественно, папины деньги, — этот нет, не лоялен. А как Мама цацкалась с жителями Чейпл-бридж! Просто зло берет — как подумаешь, что теперь эти люди, ну, или их дети, смеют отрицать решающую роль Холла в жизни своей деревни. Ах, да какая деревня, ведь если честно, здесь давно уже пригород. И живут здесь богатые люди, и ежедневно ездят на скоростных поездах в Манчестер заниматься своим бизнесом. Многие нажились на войне. Гадость! Даже подумать тошно.

Но вот — стоп, приехали, остановились у церкви. На паперти, во дворе, — уйма народа. Как раз входят в храм.

— Позвольте мне выйти первой, — сказала она Джону, как уж заведено. Можно подумать, опасаясь, как бы он не скакнул из кареты — подавать ей руку.

Эрик уже вылез. А вот и мистер Хардвик, в высоченном воротнике, елейно двинулся к мистеру Вернону, оказывать свои услуги.

— Доброе утро, сэр, доброе утро, миссис Ричард, — со сдержанной скорбью в голосе. — Погода, можно сказать, прямо-таки идеальная. Разрешите. Благодарю.

Привычен был, слава Богу, препровождать мистера Вернона от кареты к его месту в банке, где частенько сам же и получал деликатный намек на превышенье кредита; и запястье выдержало, не хрустнуло от яростного рывка, с каким мистер Вернон вывалился из кареты. Кент счищал сигарный пепел с пальто своего господина и, сам того не замечая, точно так же при этом пофыркивал, как тогда, когда чистил скребницей коня.

Джон шаркал к паперти, повисая на мистере Хардвике. Лили и Эрик шли по дорожке следом. Кое-кто с умеренным почтением приподнимал шляпу. Увидав всю эту толпищу, Лили сразу смирилась с мыслью, что уж придется сидеть сзади. Не то вообще на освящение не выбраться.

Мистер Рэмсботтэм — вот те на, кого я вижу. Он-то с какой стати пожаловал? Непонятно даже, обрадовало Лили или нет, что мистер Рэмсботтэм их заметил, проталкиваясь в толпе. Нет, не обрадовало — Лили почувствовала, глядя на красную, в прожилках физиономию, подстриженные усы, волосатые мочки ушей, лоб в залысинах. Вот принесла нелегкая, только его не хватало. Плюс еще, так некстати, ну совсем не по настроению, одет с иголочки: безупречно-синий костюм, черный галстук. И, разумеется, эти его вечные гетры.

— Доброе утро, миссис Вернон. Доброе утро, сэр. Разрешите, я вам подыщу местечко?

Мистера Хардвика просто в упор не заметил. Ах, но ведь он, в общем-то, вполне ничего. Кажется, понимает, как надо себя вести. Таким его еще не видывала — поугомонившимся, что ли. В тот давний день, когда демонстрировал фабрику, буквально ведь ошарашил, хоть и смутно заинтриговал своей наивной хамоватостью. "Тут, миссис Вернон, подъем воспоследует, отчасти рискованный. Я не буду смотреть, вот вам честное слово". А уж галантность, с которой он тогда просил совета насчет расцветки какой-то тесьмы: "Вкус дело обоюдоострое, тут, знаете ли, следует полагаться всецело на мнение дам". А потом, когда явился осматривать Холл, — эти прибауточки насчет "старых мехов"! Ну и конечно, он обнаружил ту конфузную круглую дырку в кресле, упрятанную под подушечкой. Но все равно, все равно при виде него трудно сдержать улыбку.

Молча, тяжело шурша ногами по камню, толпа вваливалась в церковь, где уже гудел орган. Мистер Рэмсботтэм взял на себя Папу. Вошли в первый ряд желто-сосновых скамей. Впереди теснилась такая уйма народу, что епископа было совершенно не разглядеть за спинами. Как раз начиналась служба.

Лили поискала глазами Мэри, не увидела. Неужели не явилась? Быть не может. Да с нее станется. Мэри и не такое способна выкинуть. Аж все внутри обрывается с досады на золовку,

прямо убить ее мало... И что это сейчас на меня нашло — в таком месте, в такую минуту, когда хочется быть чистой, не думать ни о чем, ни о чем, кроме Ричарда. Но вот удалось себя одернуть, заставить себя вспомнить все-все, что́ перечувствовала всего полчаса назад, о своей новообретенной силе, о покое и мужестве, опуститься на колени, прикрыть веки. В мозгу пробарматывались слова. В сердце стучала молитва: о Господи, сделай меня счастливой. Пошли мне хоть ненадолго, еще ну хоть чуточку счастья. Но никаких таких молитв про счастье не нашаривалось в мозгу. Всплывало заученное, разные клочья — о покаянии, смирении, кротости и любви. Лили подняла глаза к Богу и увидела невыносимо синюю сень над престолом, затканную золотыми звездами. Вся паства тем временем уже бухнулась на колени и уверенно повторяла правильные слова, а Лили их помнила с пятого на десятое. Да, это средне-викторианское уродство, убогая пышность церкви, рубиновые, изумрудные, сапфирные окна, мраморные плиты, достойные ванной, и витые газовые рожки, клетчатый пол, странные трубы органа — все вместе убаюкивает душу. Прямо нежность какая-то накатывает ко всем этим глупостям, потому хотя бы, что так часто над ними смеялись с Ричардом. Поведя глазом, увидела: папа, сидя, склонился в молитве. Куда уж ему на колени бухаться. У Эрика рукава, когда руки сгибает, задираются чуть ли не до локтей. И неужели нельзя научиться по-человечески галстук завязывать? И нечего вечно самой поправлять — медвежья услуга. Мало радости, если б золовка такое увидела. Даже хорошо, в общем, что Мэри здесь нет. Но все-таки сердце, сердце очистилось. И непонятно причем тут, вдруг полезли в глаза, эти полосатые манжеты мистера Рэмсботтэма.

Поднялись с колен — петь гимн. Всем святым. На секунду в долгом пролете между головами мелькнули приалтарные флаги. Голос Лили взмыл. Ты их прибежище, избавитель их. Получалось красиво, слезы навернулись на глаза. В ухо звякал безумный тенорок мистера Вернона. Да будет имя Твое благословенно отныне и до века, едва шелестит мистер Рэмсботтэм. О, блаженное приобщение! Благословенная слиянность! Но где же голос Эрика? О если бы удалось сейчас представить себе лицо Ричарда! Орган стал затихать, затих, свелся к vox humana — "Свете тихий". Вокруг рыдали. Ах, какой восторг! Победно взвился последний стих. И это наша победа — общая наша победа. Все стояли по стойке смирно, пока священник читал имена павших.

Эта часть службы как раз произвела странное впечатление на Лили. Чтение имен, так просто, в грубо алфавитном порядке, без ничего, ни титулов, ни званий — показалось прямо безобразием, хамством. Примерно так же покоробила, хоть, конечно, не до такой степени, та перекличка в выпускной день у Эрика в школе. Вот он вам — истинно мужской мир, жесткий, сухой, холодный.

И до чего же трудно представить себе Ричарда так, как, конечно, полагалось бы его себе представлять, брошенного Туда, оставленного По Ту Сторону, вместе со всеми, со всеми, с Фрэнком Привиттом, Харолдом Стэнли Пеком, Джорджем Хенри Суинделлом — и, голые, жалкие, кучкой, там они изучают новые правила и пути, непостижимые, страшные.

— Эрнст Трэпп, — читал священник.

— Ричард Джон Вернон.

— Тимоти Денис Уоттс.

Прямо как чужое оно прозвучало — его имя. И думалось: а, не все ли равно... Ладно, пусть. Но им здесь закон что ли не писан? Как это так — не начать с офицеров? И на Мемориале, говорили, фамилии помещены точно в том же порядке. Вот уж позор, действительно — лет через пятьдесят ни одна собака не разберет, кто есть кто.

Орган завел, хор подхватил: "Вперед, Христа солдаты!"[1], а прихожане уже вытекали во двор, на освящение. В дверях откуда-то появилась Мэри, тронула Лили за локоть. Смутно улыбнулись друг дружке. Ох, и Энн с нею. И Эдвард Блейк тут как тут.

Мемориальный крест воздвигли на всхолмии за церковью, откуда открывался вид на долину. За ним уступчато вздымалась гора, и все согласились, что удачней нельзя было выбрать место, хотя, к сожалению, с дороги креста не видно. Кент, ожидавший на паперти, подошел и хрипло шепнул Лили на ухо, что посыльный от Добсонов уже доставил венок. Припрятали, видно, в сарае за ризницей, где сторож держит свои тачки и цапки. Сейчас нести или погодя?

Интересно, а как другие распорядились? Как-то же надо устроиться. Если венок принесут сейчас, кто его во время освящения держать будет? Нельзя и стоять, как пень, оттеснят, не протиснешься, когда народ бросится к кресту. Вдруг — даже сама от себя не ожидала — поделилась своими сомнениями с мистером Рэмсботтэмом. Против ожидания, тот оказался на высоте. Он моментально пойдет вместе с Кентом, поглядит, как и что; а потом поспеет с венком, в самый раз, когда возлагать. Поблагодарила его взглядом. Мистер Хардвик, будто бы вовсе давеча не получил по носу, рвался предложить руку помощи Папе. Как все добры. На Лили, размаянную пением, нахлынула нежность ко всем, ко всем, включая Мэри с дочкой. Чтобы что-то сказать золовке, просто ради удовольствия с ней поговорить, спросила, где Морис.

— Он не смог прийти, — сказала Мэри.

Лили сказала "Ох" и улыбнулась; так, ни с того ни с сего, собственно просто, чтобы показать Мэри, что сегодня относится к ней совершенно, совершенно по-новому. Может, надо

1. Начало гимна из сборника "Старые и новые гимны", составленного Сэбин Барин-Гулд (1834—1924).

почаще видеться, вдруг мелькнуло в порыве чувств. Но Мэри, ее так трудно понять. Улыбнулась в ответ. В общем-то, просто поставила своей улыбкой на место. Держит фасон, как всегда, — и улыбка ее ироническая.

И еще этот Эдвард Блейк. Естественно, как он мог не явиться. Ближайший друг Ричарда. Теперь вот Мэрин друг. Уж как я старалась в былые годы его полюбить — все, что связано с Ричардом, должно быть прекрасно и свято, — но нет, не сумела. Ревновала, наверно. Еще бы. Он ведь столько долгих лет знал Ричарда до меня. Ну, да теперь-то чего уж, какая ревность. И он просто кошмарно выглядит — усталый, больной, — немудрено, таких ужасов на войне натерпелся. После той катастрофы самолета, месяцами, говорят, буквально сходил с ума. И теперь еще вдруг этак глянет на тебя — прямо мороз по коже. Слава Богу, не надо его принимать в Холле. Нет, бедный, бедный Эдвард Блейк, нехорошо так к нему относиться, нельзя — как он дико намучился.

Епископ выплыл из ризницы, за ним показался хор и двинулся, друг дружке в затылок, между могилами, к кресту. Стройная процессия стихарей потекла к паствe — темной, расползающейся толпе, от которой уже отделялись, строясь на ходу, ветераны, трубачи и бойскауты. Конечно, церемонию отрепетировали, но на ухабистой, кочковатой земле продвижение разных частей выходило неслаженным, зыбким. Наконец, кое-как перетасовались, встали по предписанным местам, образовав три стороны расхлябанного квадрата. Было жарко, ни ветерка, и будничные звуки — петух кукарекнул на ферме, в долине жалостно простонал паровоз — назойливо лезли в уши. И очень Лили было неприятно стоять к этим людям так близко. Чуять запах их лежалого траура, их воскресной обувки. Их печаль, столь высокая, побеждавшая смерть, покуда все были в храме, под зелеными ветками вдруг стала банальной, ханжеской и убогой. Над головами носились грачи и швырялись прутиками, и прутики падали, кружа, с вышины, приземлялись на женские шляпки. Кто шмыгал носом, кто прочищал горло. Некоторые кашляли.

Усилием воли она от всего этого отвлеклась, заставила себя сосредоточиться исключительно на кресте. Что ж, работа хорошая, хотя, конечно, впечатление было бы в сто раз лучше, будь они там не так щедры на узоры. Но ничего, и это еще прекрасный вкус по сравненью с гранитными ужасами, каких в соседних деревнях понаставили. Интересно, что сказал бы по этому поводу Ричард.

Но вот все готовы, можно начинать освящение. Лили, мистер Вернон и Мэри поместились почти непосредственно против Креста. Мистер Хардвик по одну папину руку, Лили по другую. Мэри рядом с Лили. Эдвард ретировался куда-то на задний план.

Лили поискала глазами Эрика – да вот же он, совсем близко, прямо сзади, с Энн. Как Энн похорошела. У Мэри дети вообще удались, что касается внешности, Морис особенно. Но ни на кого я не променяю моего милого Эрика. И в конце концов не такая уж Энн красавица. Лоб чересчур крутой, что ли. И широковаты скулы. А Морис – ну, я не знаю. Что-то такое есть в нем не совсем располагающее. Отцовское что-то проглядывает. Ах, да нельзя же, спохватилась Лили, зачем я. Неужели я не могу быть добрей к Мэри и ее детям? И я так редко их вижу. Как же можно судить?

Епископ со своим пасторальным штатом меж тем приближался к Кресту. Лили поскорей вымела из головы все нехорошие мысли, сунула в самый дальний угол сознанья. Невозможно, просто грех, думать об этом в такую минуту. Закрыла глаза, как струнка натянулась, собралась, изо всех сил сосредоточилась на одном.

Ричард, Ричард.

А епископ уже повернулся к Кресту, вот, уже произносит первые слова проповеди.

– Господь наш и Бог наш, предавший Сына своего единородного смертным мукам на Кресте, да примет из рук наших сей символ великого Его искупления, воздвигнутый нами в память о жертве братьев наших, и впредь пусть всякий, взглянув на этот Крест, да помнит о цене, которой куплено его спасение, и да учится жить по закону Того, Кто умер за нас, Господь наш и Спаситель.

Ричард, Ричард.

Голос Епископа, богатый, уверенный голос, с такой чудной игрой в каждой складке, поднялся высоко и упал:

– Во славу Господа Нашего, и в память о братьях наших, сложивших головы ради нас, мы освящаем этот Крест во имя Отца, и Сына и Святого Духа. Аминь.

Лили открыла глаза. Увидела епископа – льняные рукава, медали по епитрахили. Увидела высокий монумент – работу солидной манчестерской фирмы, выполненную со вкусом и, по щедрой подписке, с готовностью оплаченную благодарными бизнесменами. Но Ричарда нет здесь – она с ужасом поняла: его нет здесь, его нет нигде. Он ушел навсегда. Он умер.

Голова у нее кружилась, ее тошнило, она была в совершенном отчаянии, она падала в черную пропасть – непонятно, как на ногах удержалась...

Только минуту спустя обнаружила, что вцепилась в золовкину руку.

II

Мэри дико перепугалась. Совсем было отвлеклась, раздумалась о том, не заказать ли еще этой новозеландской баранины. Как-

никак впереди выходные. Не то чтоб кто-то из них эту баранину особенно обожал. Да и, конечно, надо бы экономить на сахаре, решила Мэри. Добропорядочные люди придерживаются привычек, какие усвоили во время войны, что в те поры было недоступно, — на то даже и не зарятся. Но никакая война не отучит Мориса класть по три кусочка сахару на чашку. И вообще, экономия — это не по моей части. Вот тут я сноб. Из всякой гадости стряпать, из дерьма конфетку делать — это уж извините! Готовить, скажем, на маргарине, который большинство соседей, а они куда обеспеченней нас, используют за милую душу. Ну когда физически нет у тебя продуктов — тогда, конечно, дело другое.

Но тут резко, рывком пришлось вернуться к службе.

— Что случилось? — шепнула она. — Что с тобой?

Лили, видимо, на миг стало дурно, но теперь она хорохорится. Очень холодно глянула, сказала:

— Все хорошо, спасибо.

Тут трудно было сдержать улыбку. Как это исключительно похоже на Лили — вцепиться тебе в руку, а буквально через секунду тебя отшить. Вообще, поразительная. Нет, мне в жизни не допереть, не раскусить, куда она гнет.

Теперь даже подумать странно, ведь было время, я же ее всерьез ненавидела — почти как маму. Просто искала козла отпущения, если честно, а она-то чужая. Не на Дика же все валить. Наверно, я была к ней ужасно несправедлива. Ее, правда, не убыло, с нее все, как с гуся вода. Не то чтоб ночей из-за меня не спала, бедняжка.

Епископ повернулся, воззвал к ним со ступеней Креста:

— Сегодня все мы объединены подле этого Креста общим горем и общей целью.

Да нет, прямо не верится, что я ее ненавидела. Нет, это же, ну ей-богу, немыслимо. И она ведь до сих пор так идиотически молодо выглядит. Ни единой морщинки, хотя ей, по самым скромным подсчетам, тридцать семь, как ни крути. И так она изводилась, когда Дика убили. Абсолютно, кстати, искренне. Но совсем не от слез на свой возраст тянешь. А оттого, что восемнадцать лет подряд, каждый божий день, гоняешь, чтоб что-то купить на обед, ломаешь голову, как кому потрафить, вечно, кстати, попадая пальцем в небо, а потом все это волочишь домой и стряпаешь. Лили, небось, в жизни ни единого блюда не приготовила.

— Иные из нас, здесь сегодня собравшихся, — говорил священник, — нагляделись на ужасное запустение, видели, как видел я, разрушенные деревни и улицы, загубленные поля, обугленные деревья. Но другим, из тех, кто не был всему этому живым свидетелем, я хотел бы задать вопрос: а для вас — что значила война?

О, Мэри бы мигом ответила. Что значила война — да карточки отстригать, посещать госпиталь, устраивать распрода-

жу барахла для Красного Креста. И еще она значила — что надо мотать из Лондона, потому что отец после удара через Лили сообщил, что я ему требуюсь. То есть пришлось оставить домик у Конюшен. Но когда-нибудь я еще туда вернусь, если только удастся. Отец, и это доподлинно, хотел бы, чтоб я жила в самом Холле. И он по детям скучает. Это точно. Но нет, невозможно. Вот неохота. Глупость, наверно. Время все лечит. Когда Десмонд меня бросил и мать прислала то письмо, — и как только пронюхала, просто тайна, покрытая мраком, — мол, если хочу, я могу вернуться, я искромсала письмо в мелкие клочья и заживо спалила в плите. А-а, чего беситься. Мать умерла — и я обрадовалась, когда узнала; конечно, сама из-за этого терзалась, но обрадовалось же, да. А когда началась война, и я получила последнее известие о Десмонде, и узнала, что отцу никогда не оправиться, как я надвое разрывалась, не могла ни на что решиться. Но этот компромисс оказался всего разумней. Теперь-то совершенно ясно. Мы с Лили больше недели бы не выдержали под одной крышей. Я даже в Чейпл-бридж не смогла бы жить, и чтоб отец ежеутренне к нам заглядывал по пути в банк.

А что война значила для отца? Дика убили, это конечно. Но он уж особенно и не любил Дика — да, так иногда казалось. Нет, ничего такого исключительного война не значила для отца, и, даже когда бомбили Париж, он не отказался от своих удлинявшихся год от году прогулок до Чертова Локтя и дальше, дальше, болотами, к Глоссопу, и — в карете, полной сигарным дымом, гарью от подпаленной полости, руганью Кента, — назад, к разогретому обеду в четверть четвертого. Чай с пирожками в полпятого. Вечерами, на чердаке, чтение бесконечных романов Гая Бутби, Уильяма де Ке, Филипа Опенгейма и тому подобных шедевров. Сидит иногда часами, держит книжку вверх тормашками, уставится в нее и сопит. Но почему-то они быстро кончались. Потом, полистав страницы, ты, конечно, среди них обнаружишь слюнявую табачную жвачку. Отец, как Кент выражается, "сыро курит". На вот эти романы, этот табак, сигары, на дурацкие и дорогущие подарки внукам — раз подарил Эрику заводного лебедя, кружил и кружил без конца в жестяном тазу, — на несуразные чаевые, счета бакалейщику, просто сквозь дыры в карманах он, ну буквально не верится, ухитрялся ухлопывать по две тысячи в год. Ничего, как-никак я из него выудила эти деньги на обучение Мориса — Слава Тебе Господи.

Конечно, это жестоко по отношенью к отцу, что он так редко видает Мориса — любимчика-внука. Но до того было тошно водить детей в Холл. И не то чтоб Лили возникала, нет конечно. Иногда отец сам приходил пообедать в Гейтсли, и все время Морис его ублажал, показывал карточные фокусы, объяснял, как часы в столовой работают, приставал: "Дед, а

что бы ты сделал, если б оказался ночью в лесу, один, без еды и без спичек?" – и размахивал у него перед носом крикетной битой. Куда уж теперь отцу – такие забавы. Можно бы их одних посылать, но они не любят. Им бы все толочься на своей территории, Морису особенно. Я его не виню. Привычка уже такая – почти ни в чем не винить Мориса, а зря, ничего, конечно, хорошего. Чересчур он очаровательный, Морис. И как часто Десмонд мерещится за тем, как он улыбается, режет хлеб, взбегает по лестнице, пересказывает, кто что говорил. Это – как объяснение фокуса. Смотришь на сына и думаешь – да, вот что меня обворожило в твоем отце, вот это, это и то. Купилась, правда, в жизни единственный раз, зато могу оценить мудрость природы. Могу оценить Мориса. Сегодня с утра, кстати, просто не стала настаивать, чтоб он тоже пошел. И ведь можно бы сообразить, что Лили заметит – и выскажется. А, да пусть себе замечает, с высокой горы плевать. Ну какое отношение к Морису эта служба имеет? Причем тут Морис? И Энн, кстати, тоже. Но Энн – дело другое, эта вся в мать. Кому-то, мужчине какому-то, будет хорошей женой, подумала Мэри, и тут ее зло взяло на мужчин. Но уж я пригляжу, во всяком случае, чтобы это не оказался какой-нибудь Десмонд.

– И я вам хочу предложить, – говорил епископ, – чтобы Крест этот стал знаком Свободы и Памяти. И чтобы он воодушевлял. И надеюсь, что мальчикам и девочкам грядущего времени, которые будут проходить мимо Креста, расскажут о героизме и самоотречении, какие он воплощает, и о людях, жертвенно и героически сложивших на войне свои головы.

Было, было кое-что, о чем, наверно, никогда язык не повернется рассказывать детям. Последний свой отпуск Десмонд провел в Лондоне. Прислал письмо – нельзя ли будет повидаться. Не видались годами. Домой не заехал. Назначил рандеву у Иглы Клеопатры[1]. Путаюсь мол теперь на лондонских улицах, дорогу забыл. Отвык, за границей все больше. Ни капельки не изменился. Выпили чаю "У Лайона", потом гуляли, идиоты, взад и вперед, как встречающие по перрону.

Клялся, что только меня одну в своей жизни любил. Интересно, между прочим, куда подевались все остальные. И, когда, мол, война кончится, может, начнем все сначала? Примешь меня обратно? Да, он спросил, спросил. Вдруг тогда показалось, что я его старше гораздо, в матери ему гожусь, да, прямо ему как мать. Как его матушка, которая несколько раз писала из Корка – такие горькие письма. Можно подумать, ее сыночка окрутили и бросили. А он мне разбил сердце. "Нет, миленький, – сказала ему тогда, и еще головой покачала, и еще улыбнулась, – никогда я тебя не приму. Хоть ты меня озолоти". В ту минуту любила его

1. Принятое в Англии название для древнего обелиска, вывезенного из Египта и установленного на набережной Темзы в 1878 г.

так, как никогда еще в жизни, но по-другому. Любовь кой-чему научила. Надо хранить, что имеешь, — хватит уже рисковать, все кидать на зеро — дудки. Он удивился — глубоко оскорбленная невинность. Не ожидал такого оборота, бабы избаловали. Расстались добрыми друзьями. И почти сразу его убили. Весь день проревела, но траур не стала носить. Интересно — а другие-то видели фамилию в списках? Никогда ни единого звука. Но Лили, та, возможно, долго взвешивала, прикидывала, прилично ли это будет, достойно ли — написать, выразить соболезнование. Мэри усмехнулась. Лили тогда уже была в Холле. Скорехонько перебралась на житье, чуть не тут же, как разразилась война.

— Есть одно имя среди прочих имен, здесь начертанных, — епископ повел рукой в сторону креста почему-то умоляющим жестом, — которое я особенно хочу вам напомнить. Имя одного мальчика. Возможно, кто-то из вас через несколько лет скажет сыновьям: этот мальчик был вам ровесник, когда погиб, борясь за то, чтоб вы жили на безопасной, счастливой земле. Да, ему и шестнадцати не исполнилось, когда его убили под Ипром. Надеюсь, имя его никогда не будет забыто в этих краях.

Надо же, ведь понятия не имела, только очень смутно всплыло, что это, кажется, кто-то из Праттов со Скул-Грин. Да-да, кажется, что-то такое в свое время слыхала. Но тут совсем рядом, прямо сзади, кто-то стал протискиваться в толпе. А-а, Рэмсботтэм, с венком. Занял место точно в затылок Лили. Красный как рак.

Дико смешно, просто уморительно. Но нет, совершенно не верится, чтоб Лили хоть в малейшей степени его поощряла. Явился на цветочную выставку, на спортивные состязания приперся в воскресную школу — а ее там как раз и не оказалось — и на аукцион. Но народ уже поговаривает. Да не далее как позавчера утром Хайем высказался: "Что-то мистер Рэмсботтэм проявляет исключительный интерес к делам в Чейпл-бридж".

И в Холл он, конечно, ходит всегда, при первой возможности, как только поманят, то есть примерно раз в месяц, — бедняжечка. Да, и я не удивлюсь, если выяснится, что изначально именно он подначивал Томми с Джералдом без конца таскаться в Гейтсли, сдуру вообразив, что это кратчайший путь к приглашению в Холл. Бедненький старина Рэмсботтэм.

А что, интересно, обо всем этом сама Лили думает? Хоть знает? А то! Но Лили умеет все знать и не знать ничегошеньки. И если ей скажут, она, конечно, сделает квадратные глаза, потом чуть поморщится, а потом проявит слабенький, брезгливый такой интерес — будто ей сообщили о любопытной новой заразе. Да уж, дамы типа Лили исключительно бывают жестоки.

Все затянули "Господи, не отступи от меня". У Мэри уже затекли ноги, и, оказывается, поднадоела служба. Неужели нельзя покороче? Интересно, а как будет звучать отчет в местной

газете? Гимны, разумеется, "исполнялись с глубоким чувством". А список главных "цветочных приношений" — список будет? Бедный Рэмсботтэм, небось, успел люто возненавидеть наш этот венок. Ужасно неудобно его волочить, и чтоб не расплющить лилии, мох не примять, на шипы не напороться. Теперь даже страшновато как-то глянуть ему в лицо.

Но в общем, Мэри думала, тут не до юмора — ни-ни, уж какой тут смех, на этой службе в честь ста трех вполне приличных человечков, которые сплошь полегли, не допустив, чтоб немецкий двуглавый орел реял над нашим Клубом консерваторов. Конечно, я все понимаю. А, да какого, собственно, черта? Это же в конце концов снобизм сплошной. Этот культ мертвых — снобизм сплошной. Ну что поделать, раз я так считаю. Тем более что позерство это, к которому мы в данный момент все примкнули, не только фальшиво, но и — да просто гадость. Живые лучше мертвых. И, хочешь не хочешь, надо жить дальше.

Если честно, Мэри думала, сейчас бы мне именно что невредно пообедать. И мозоли болят кошмарно. И я ненавижу мужчин. С самого начала были другие женщины. Десмонд почти и не скрывал, после того как раз-другой засыпался. У меня знакомые в Лондоне — такая формулировка. Было обидно? Теперь уже как-то не вспомнить. Да, сначала жутко обидно. А потом притерпелась. Стала рассуждать: не я первая, не я последняя. И были же дети. И люди в Челси, которым сначала не доверяла, которых терпеть не могла, потом оказались вполне ничего. И так тешил душу собственный дом.

И часто жалко бывало Десмонда. Как-то не прижился он в Лондоне. Ирландец, он себя здесь чувствовал чуть ли не иностранцем. Возникала даже идея перебраться в Париж — одна болтовня, все, конечно, лопнуло. Об Ирландии не могло быть и речи. Там бы он без работы сидел, и там его родственнички. Его эти концерты — когда поднакопит на них деньжат, — уроки, участие в театральных оркестрах и даже один раз, как он и предсказывал, в ресторане, с накладными усами — имели не ахти какой бурный успех. Критики, он стонал, сговорились его извести. Плакал, прямо слезами плакал. Утешала его. Размякал, таял, но скоро смывался; кто-то и получше утешит.

Интересно — неужели мать все это предвидела? Предвидела, а как же. И сто раз оказалась права. То-то я и не могла ей простить, думала Мэри.

Но, конечно, вот уж чего вряд ли можно было ожидать — так это записки Десмонда прямо на плите, вечером, — как раз с посиделок вернулась. Конечно, это он сгоряча, как и тогда, с этим умыканьем из Гейтсли. Ушел. Бросил Лондон — за границу уехал, кто-то ей потом доложил. Та баба была австриячка. Скоро они расплевались, разведка донесла. Потом он на какое-то время вернулся в Лондон. Не видались. Письмо написал, насчет развода. Она ответила — как ты хочешь, пожалуй-

ста. Тебе в самом деле нужен развод? Так и не ответил, видно, не смог для себя решить этот сложный вопрос.

Обидно все-таки, что он надумал меня бросить. И пенять ему было не на что, кроме собственной совести; но надо признаться, после этого мне полегчало. Даже в тот самый вечер, когда прочитала записку и, прочитав эту записку, пошла глянуть на уложенных в постельки детей — почувствовала, на секунду, как сквозь весь этот ужас пробивается радость. Я свободна. Он ничего не взял, все оставил. Да, оставил даже свою старую шляпу. Сначала жизнь была, конечно, сплошной кошмар, приходилось писать домой, клянчить у матери деньги. Но ничего, выкарабкалась. Открыла ресторан, и как-то сразу он оброс галереей, концертным залом. Но ничего, я еще это все снова открою, Мэри думала — кроме ресторана. Какой ресторан, стара уже, не потяну, да и лень. Наконец-то кончился этот гимн.

Епископ воздел руку, произнес благословение.

Все затихли. Вперед выступили горнисты. Ухнули зорю, рассыпая эхо среди ветвей. Дудели, как бешеные, разлаженные игрушки — у которых перекрутили пружину. Вспомнились часы с кукушкой, были такие в детской, и птичка всегда выскакивала из дверцы через несколько секунд после того, как пробьет час, впопыхах, мол, ах, я опять опоздала. Грянул среди молчания взрыв — кашлянул кто-то. Свистнул поезд. Гулюкнул голубь. Собака тявкнула. С надсадным скрежетом одолевал дорогу автомобиль. Только черную толпу опечатала немота. Ждали, когда епископ положит конец молчанию. Нарочно он медлит, что ли, прямо как Ричард, в детской еще, тянул, зануда, никак не мог кончить благодарственную молитву, зная, что я давно мечтаю выйти из-за стола. Вот повернулся наконец. Ну вот. Управились.

Спели "Боже, храни короля".

Лили, конечно, мигом подхватила отца под руку и двинулась к Кресту. Рэмсботтэм воспоследовал, неуклюже обнимая венок. Епископ в окружении хора едва успел ретироваться со сцены.

Да, вот это coup d'état[1] — о, Мэри оценила. Кто-то в толпе шептал: "Старый мистер Вернон", кто-то еще: "Старый Хозяин". Номер Лили удался. Ловко она это провернула — предъявила отца на освящении, отстояла перед деревней его честь, честь Холла. Утвердила его право — право главного плакальщика. Вот он вам — видали? Никто и не собирался его право оспаривать, хоть одинокий голос и домогался во всеуслышанье: "А кто этот старикан?" Отец прошаркал к ступеням Креста. Лили обернулась к Рэмсботтэму, который уже простирал к ней венок. Она отдала его отцу, и Мэри внутренне ахнула — сейчас уронит. Но нет, вполне оказался на высоте. Ухитрился

1. Государственный переворот, решительное действие (*франц.*).

скрючить пальцы вокруг венка, на секунду, круша лилии, и шажок шагнул, прежде чем не то швырнуть, не то повесить венок на крест, к табличке с именем сына. А после замер на миг, глядя на крест, не зная, кажется, что делать дальше. Было понято так, что он молится. Дородство отца, как всегда, подействовало на присутствующих. Сильно их впечатлило. Мэри инстинктивно, по своей привычке опекать, повела всю троицу из толпы. Эрик с Энн, она чувствовала, шли следом. И непонятно было — хочется ли сквозь землю провалиться, или расхохотаться тянет. Вот отец повернулся. Еле успела отскочить в сторонку: не хватало только возглавить процессию. Заняла свое место от него по левую руку, Лили по правую. Эрик и Энн, так сказать, расположились по флангам. Постояли перед толпой, отец перепрыгивал взглядом с одного лица на другое, потом, сутулясь и шаркая, двинулся вперед. Мэри не то что слышала, скорей кожей чувствовала восхищенные отклики.

— Ну, это ж надо!

— Да ему ж, небось, сто лет в обед!

— Эй, глянь-ка!

— Без палочки ходит, скажите!

Подобострастно подскочил мистер Хардвик. Толпа раздалась, открывая дорогу к карете. Тут только зашевелились другие, подходили к Кресту, возлагали свои венки.

Мэри видела: Лили торжествует, аж светится вся.

— Он был поразителен, наш старый господин, просто поразителен! — уверял ее мистер Хардвик.

Мистер Эскью, в манишке, с неким подобием отложного воротничка, заправленного под пальто, выступил вперед, проорал мистеру Вернону в ухо:

— Замечательно, что вы снова с нами, сэр. Совсем как в доброе старое время.

И Джон хрюкнул и ответил приблизительно следующее:

— Ауа, га-га, ауа, га-га.

Мистер Эскью сиял, как медный таз.

— Я вот тут говорю папаше вашему, что все совсем как в доброе старое время.

Рэмсботтэм вкрутил монокль обратно в покрасневший глаз. Очевидно, соображения исключительной деликатности побуждали во время службы стоять без монокля. И как же ему полегчало, бедняжке, когда все это кончилось.

— Вы разрешите вас до дому подбросить? — повернулся он к Мэри. — Я на колесах.

— Разрешу, вполне. Я как раз думала, вдруг мы автобус проворонили. Но только с условием, вы остаетесь обедать. Кстати, и своих, наверно, застанете.

У меня, пожалуй, большие шансы, на радость Рэмсботтэму, залучить сегодня еще и семейство Вернонов, думала Мэри, прикидывая, хватит ли в доме еды. Я, надо полагать, блещу от-

раженным светом, а? Как волнительно. А завтра уж как-нибудь обойдемся салатом и сыром, если, конечно, я Мориса не сплавлю в деревне попастись. Это у нас уже отлаженная процедура.

Мистер Вернон издавал еще какие-то звуки, а Лили работала переводчицей.

— По оа аэо.

— Мистер Вернон говорит, что помнит вашего батюшку, мистер Эскью.

— Правда, сэр? Неужели?

Лили отвернулась от мистера Эскью, дабы поблагодарить Рэмсботтэма за то, что таскался с венком.

Забавно, думала Мэри, наблюдать, как приемчики, выработанные девушкой при первых выездах в свет, к ней липнут чуть не до старости. Лили все так же делает квадратные глаза, разговаривая с мужчинами. (Ах, нет, ну зачем я так вредничаю.)

— Прямо не знаю, и что бы мы без вас делали.

Рэмсботтэм покраснел абсолютно как рак, выпаливая, что он:

— С превеликим удовольствием, миссис Вернон, поверьте.

— Вы непременно должны в скором времени нас навестить.

А-а, никаких нет сомнений: Лили — просто мерзавочка. Тут, ясное дело, не одна голая глупость. Или он ей в самом деле нравится? Ох ты Господи, с ума сойти.

Что́ бы Джералд сказал, да и Томми, на все на это — если б они узнали? Ведь Джералда с Томми, кажется, вполне устраивает холостяцкое житье под крылом у папаши в этом их завалющем загородном доме, Богом забытом на окраине Стокпорта. Сада никакого, только кустики жалкие возле фабричных складов. Да, не разгуляешься, и поразвлечься-то негде, кроме фабричного прудика, — там у них плот. Что бы они на это сказали: мачеха, конец вылазкам в Манчестер? Ну как можно себе это представить: Лили вместе с ними в глуши, а Рэмсботтэм нацеливает монокль на каждую пару женских ног в поле зрения? И весь этот их образ жизни — завтраки за полдень, Рэмсботтэм приезжает домой, обделав дела в Эдинбурге и Лондоне, после ночевки в поезде, за газетами, в настроении освежеванной кобры, в пижаме, с чайной чашкой виски в руке, выкатывается мылить шею десятнику? И как бы ей Джералд пришелся — гоняет за каждой юбкой, и это в свои семнадцать? А ловко же они обвели отца вокруг пальца: забрал-таки их из школы. Черте чего нагородили оба насчет слабости сердца. Он абсолютно не в состоянии с ними сладить. Визжит, матюгается, иногда, перебрав, может и бутылкой пульнуть. Как-то они его привязали к креслу — сами рассказывали — и оставили, пока охолонет. Но, кажется, они его любят. Даже Морис слегка ошарашен тем, как они вору-

ют деньги у него из бюро. Весь день торчат у себя, когда, конечно, не таскаются в Гейтсли, — на фабрику ходят, если приспичит вдруг, "изучать процесс", как будущим партнерам положено, правда, по большей части их гоняют из зала в зал разъяренные мастера, сооружают в своем сарае какие-то механизмы, развлекаются револьверной пальбой в спальне, силятся овладеть саксофоном — или это мандолина? — носятся на своих громадных мотоциклах по всему городку, вечно попадают в полицию за превышение скорости, за отсутствие глушителей; а когда Морис с ними, это совсем уж кошмар, да, дурное влияние взаимно. Первая миссис Рэмсботтэм уж сто лет как умерла. Кажется, тихая была женщина, тонкая, милая, дочь священника.

Вот так, а теперь придется поговорить с миссис Купер, Мэри подумала, и с мисс Тауненд, и миссис Хиггинботтэм. Хотят, чтобы в этом году я опять их выручила с этой экскурсией женской школы.

— Мы решили их прокатить в Кэстлтон, пещеры осматривать.

Ох уж эти пещеры, редкая гадость. Как-то раз сдуру чуть не свернула там себе шею. А у Ромашкового карьера Морис бросил в воду новые часики — дед подарил. Сказала: да-да, Кэстлтон, дивная мысль, про себя рассудив, что самой в пещеры лезть не обязательно. Детки поменьше, многие, вечно боятся, остаются снаружи, и ведь кому-то надо будет за ними присматривать.

А ведь скоро пикник для учителей, а там, глядишь, и комитет хоккейного клуба, а потом состязания в вист начнутся, и пора уж подумать о танцах в Клубе консерваторов, и так далее, и тому подобное, а дальше Зимняя выставка работ подоспеет, Турецкий базар, Вифлеемские сцены, оперный спектакль, школьная елка, приходская елка, спектакль "Как вам это понравится". Ах, да пропади оно пропадом, думала Мэри. Все отдала бы, чтоб только вернуться в Лондон! Хотя нет, тут я, пожалуй, лукавлю, чего там. Суета, толкотня, шум и, главное, все это, в сущности, как раз по мне, да меня хлебом не корми. Нет-нет, все это греет, греет, — ну, может быть, кроме состязаний в вист.

— Прямо не знаю, и что бы мы без вас делали, миссис Скривен, — лепетала мисс Тауненд.

И Мэри, хочешь не хочешь, чувствовала себя польщенной, улыбаясь этой типичной классной даме, крохотульке в пенсне.

В конце концов, она думала, кое-какое удовольствие от жизни я получаю.

— Что-то из Гейтсли сегодня почти никого, — вздохнула миссис Хиггинботтэм.

— Кое-кто еще подошел бы, если бы в воскресенье устроили, — отозвалась миссис Купер.

Мэри согласилась. И вдруг стукнуло: как странно, ведь эта миссис Купер — Милли Барло с фермы Стоун-холл. Милли,

свидетельница всех тех тайных свиданий: Мэри, виляя по горкам на велосипеде, мчится встречать Десмонда, когда он возвращается в Гейтсли из своего ненавистного банка в Манчестере. Десмонд снимал у Барло жилье. И конечно, конечно, те неделями чуть ли не ждали жуткого, ошеломительного, волнующего скандала, который в заключенье и положил конец его пребыванью в их доме. Интересно — а Милли помнит? А то. Ну как ей не помнить. В Гейтсли многие помнят, конечно. И как у меня только духу хватило вернуться и снова обжить Гейтсли — арену всех моих прегрешений? А-а, откровенно говоря, ну и подумаешь, и плевать. Гейтсли мне нравится, дорог, надо думать, как память, и раз я решила не жить в Чейплбридж, естественно было выбрать Гейтсли. Вовсе не собиралась кого-то там эпатировать, при чем тут. А если ходят сплетни — переживем, у нас толстая кожа. Обросла, небось, толстой кожей за свою семейную жизнь. Но просто никак нельзя требовать, чтоб все эти соображенья понял кто-то со стороны, Лили, например. Лили, бедную, очень возможно, глубоко оскорбила грубость моих чувств. Потому-то, небось, к нам ее, можно сказать, калачом не заманишь. Как бы чего не вышло, вдруг получится, что она потворствует безнравственности.

Миссис Хиггинботтэм сказала, что, на ее взгляд, служба была чудесная.

— О, чудесная, — подхватила миссис Купер. — По-моему, они все сделали так... — она поискала слово, — так благоговейно. Да, было чудесно.

Да, Мэри подумала, кажется, она давным-давно простила меня. Но вот когда, интересно? Когда это я вдруг опять сделалась респектабельной? После того как в первый раз организовала распродажу для Красного Креста? Или просто-напросто, когда молва донесла, что я снова допущена в Холл?

— Нам так жалко было бедную миссис Ричард, — простонала мисс Тауненд.

Тут уж Мэри всерьез растрогалась. Вековуха, наглядевшись на страсти фильмовых див, искренне соболезнует переживаниям благородной красотки! Что за прелесть — причитанья мисс Тауненд над бедной миссис Ричард!

А та даже еще подбавила:

— Мы так обрадовались, что мистер Вернон смог сегодня присутствовать. Мы уж прямо до того надеялись, до того надеялись.

Так. Значит чутье Лили не подвело, и процедура с венком оказалась в самую точку.

А Рэмсботтэм там уже подсаживает отца в карету с помощью Кента, и мистера Хардвика, и мистера Эскью. Отец себе позволяет еще больше отяжелеть, изгаляется; так ребенок капризничает, его и стошнить даже может — при гостях. Прихожане, выходя с церковного двора, замирают — любуются зре-

лищем. Вон он — сидит себе, под него подтыкают полость. Народ жадно глазеет. Надо бы глянуть на отца со стороны, чужими глазами. Да. Он же своего рода достопримечательность в этих краях, где в самом скромном гаражике то и дело "роллс-ройс" увидишь. Крупный землевладелец теперь, можно сказать, ископаемое. Отец — ископаемое. Карета, в которой он сидит, — ископаемое. И лошаденка — почти ископаемое — скоро пристроят в зоологический сад, а нет, так тихо-мирно доживет свой век во дворе, на покое. Наверно, тем он и интересен, отец. Скоро его здесь не будет. И этим общим к себе вниманием он, собственно, обязан тому факту, что по какой-то странной случайности не умер пока.

Сознавая, что мистер Эскью и мистер Хардвик — не говоря уж о миссис Купер, мисс Таунend и миссис Хиггинботтэм — смутно от нее этого ждут, Мэри подошла к карете, ступила одной ногой на подножку, перегнулась и поцеловала отца в макушку.

Он довольно жалостно претерпел процедуру, хрюкнул покорно.

— Как ты, папа? — она спросила.

Но он только улыбнулся, снова коротко хрюкнул. Он не мог ей ответить.

Сняла ногу с подножки, спросила усаживавшуюся в карету Лили:

— Как отец, по-твоему?

— О, по-моему, прекрасно, — ответила Лили.

И притом, кажется, не сумела подавить враждебную нотку в голосе, и в нем исподволь как бы звякнуло: "Думаешь, я сама о нем не забочусь?"

— Он хочет, чтоб ты к нам пришла пообедать на той неделе, — Лили прибавила, лишь усугубив это впечатление.

Тут уж нельзя было удержать улыбку. Скажите! Можно подумать, отцу вдруг приспичило повидать родную дочь, да еще в ее честь устроить прием! Лили, ясное дело, просто-напросто перевела таким образом его слова: "Что-то Мэри давно не видно". И уж сама постановила — пусть это будет обед. В тот день, с утра, она велит Кенту, чтоб привез хозяина домой ровно в час. Ну а почему бы и нет? — Мэри думала. — И что тут смешного? Но нельзя было удержать улыбку.

— И в какой день мне лучше прийти? — Мэри спросила, и тут же раскаялась в своей вредности, потому что Лили покраснела как рак, аж перекосилась с досады — прямо ребеночек, которого поймал на невинном преувеличении придирчивый взрослый.

В ответ Лили как отрезала:

— Ах, да разумеется, в любой день, когда тебе будет удобно.

Бедная, бедная Лили, думала Мэри. И почему я такая злыдня? Снова вспомнилось, как Лили ей вцепилась в руку посреди

службы. В конце концов, а вдруг Лили и впрямь — само чистосердечие и невинность?

Улыбка Мэри засветилась подлинной нежностью.

— Я в понедельник приду, — сказала она поскорей и чмокнула Лили — большой редкости событие — пока та влезала в карету. Этот публичный поцелуй, Мэри заметила, мигом растопил сердце Лили. Но обе уже озирались, искали глазами Эрика — Кент воссел на козлы. Эрик застрял у самых ворот, заболтался с Энн. Мэри к ним метнулась: "Дети, дети!" Энн — той море по колено, а вот Эрик вздрогнул и покраснел, сообразив, что задерживает карету. Кинулся вперед, чуть не сшиб тетку с ног. На миг застыл, попытался оправдаться, и вдруг на Мэри нахлынуло, взяла и сказала:

— Может, заскочил бы, мы все дома сегодня.

Он на нее глянул своими большущими, карими, немного испуганными глазами:

— Ой, б-б-большое с-с-сп-пасибо, тетя М-м-м...

— Если тебе не представится ничего более увлекательного, — поскорей прибавила она с улыбкой, чтоб пресечь это кошмарное заикание. И помахала Рэмсботтэму, который беседовал с Эдвардом Блейком, — мол, мы готовы, поехали.

III

Рэмсботтэм рассказывал не очень свежую историю про то, как однажды, дело шло о выходных, железнодорожная компания отказалась взять на хранение под свою ответственность его коноплю. И вот значит, в субботу вечером, он сам, Джералд, Томми, еще из сторожей кое-кто, подогнали к станции грузовик, забрали свою коноплю обратно, да и вывалили у фабричных ворот прямо на дорогу, все движение перекрыли. Конечно, тягали в полицию. Эдвард кивал, не слыша ни единого слова.

* * *

— По-моему, все пойдет точно так же, как прежде.

Это Ричард сказал, в последний раз, когда Эдвард его видел живым. Сидел на краю опрокинутой тачки — без колес, брошенной и забытой. Попыхивал трубкой. Стоял синий, кроткий денек. В высоком небе над Арментьером самолет, поворачивая, крылом поймал солнце. С севера густо катил рокот артиллерии. За спиной у них гоняли в футбол, и была та ферма с развороченной крышей — место постоя Ричарда. Сидя на обочине той грязной дороги, они смотрели, как, тяжко подрагивая на выбоинах, ползут бесконечной чередою грузовики.

Говорили об этом непредставимом времени — когда война кончится. По крайней мере — для Эдварда непредставимом. Он совершенно, ни на секунду — теперь только понял — не верил, что проскочит, что доживет. А Ричард сидел себе на поломанной тачке, попыхивал трубочкой и с такой спокойной невозмутимостью рассуждал, будто собирался жить вечно. И на Эдварда это хорошо повлияло. Он ушел с последнего свиданья, как и с первого, — умиротворенный, утешенный.

Последнее их свиданье было не то чтобы непохоже на первое. Тогда тоже будущее нависало — темное, зыбкое. Эдварда пригнетало вещее чувство обреченности, мысль, что вот ты — чуть заметная частица некой машины. И машины-то не слишком значительной. Всего-навсего — школы на четыреста мальчиков. И все же, все же куда тяжелей, чем тот день во Франции, лег на душу жуткий мидлендский день. Как они жались друг к дружке — "новенькие", — проглотив языки, мечтая провалиться сквозь землю, только бы скрыться от этих издевок, этих подначек! И Эдвард Блейк больше всех терзался, страстно, до дрожи ненавидя обидчиков. Ненавидя родителей за то, что сюда сунули. Нет, не могу. Утоплюсь. До смерти уморю себя голодом. Нет, я не сдамся, ни за что и под пыткой не сдамся. Даже как-то хотелось, чтоб поскорее стали пытать.

С самого начала он был начеку, ожидая знаков несправедливости, тирании. Ждать пришлось недолго. Ответственный за него старшеклассник трижды его ударил за то, что плохо сварил сосиски. А как, интересно, их сваришь, если в жизни никто не учил, да и печка топится угольной пылью? А как за неделю усвоишь все эти их идиотские прозвища? А чистить ботинки! Дикое униженье! Я им не раб. И как люди терпят такое? Почему не восстанут?

Почему они не восстанут? — спросил тогда у Вернона; и Вернон туманно ответил, что мол сам не знает. Но, очевидно, на первых порах каждому приходится это терпеть.

Уже подружились, уже были заведены воскресные прогулки вдвоем. Сырыми полями, к лесу, или по-над широкой грязной рекой до самого парома, до переправы. Ричард Вернон был всего-то чуть-чуть повыше, но Эдварду он всегда казался исключительно крупным для своего возраста. Добродушие облика почему-то сообщало широким плечам добавочную мощь и размах. Старшеклассники, широко пользуясь неписаным правом травить новичков, с Верноном предпочитали не связываться.

Перед Эдвардом, гибким и сильным, как шимпанзе, они так не робели. Вечно его задирали в коридорах, в раздевалке, в спальне — и когда, разогретый и укрепленный отчаянием, он ухитрялся с себя сбросить троих, четверых даже, они тотчас сплачивали ряды, удваивали натиск и, наконец одолев, применяли к нему свои идиотские традиционные пытки, гогоча над его слезами — конечно, не от боли слезами, от бешенства.

Ричард Вернон, кажется, скорей посмеивался над трудностями, какие Эдвард вечно сам себе создавал. Не очень-то верил в их неотвратимость и неизбежность. Зато всегда посочувствует, всегда выручит. Поможет сварить сосиски, почистить ботинки, приготовить дополнительные задания. Ну а собственные обязанности исполнял как-то походя, шутя. Случались и у него промашки, тоже влетало, как всем, — по заслугам, нет ли, другой вопрос. А ему — хоть бы хны. Любую взбучку забудет, едва снова сможет удобно усесться на стуле.

Эдварда такое хладнокровие потрясало. Он то слегка дергался, то дико ярился. Но что поделать. Скоро бросил все попытки разругаться с Ричардом, окончательно сдался разраставшемуся обожанью.

Дружба претерпела переходы из класса в класс, усугубление чуть ли не комического между ними контраста. Эдвард готовился брать жизнь нахрапом. К черту препятствия, прочь барьеры. Все могу. Все свершу. Ревновал и завидовал целому свету. Что бы ни читал о подвигах, о героизме, о славе, сразу все примерял на себя. А я бы так мог? Еще бы. Могу не могу — причем тут, возьму вот и сделаю. Уже в школе привык по очереди намечать цели для своего честолюбия. Вступлю в крикетную команду. Вступил. Вступлю в футбольную. Тут не вышло, но это потому просто — ну отчасти, во всяком случае, — что растянул лодыжку. Попаду в класс лучших. Не попал — попутно решив, что все учителя невежественные болваны. Вечно приходилось быть начеку. Одноклассники наслаждались, подначивали, подстрекали нарушать правила, подбивали — на слабó — отправиться за пивом к смотрителю крикетного поля, выпустить морскую свинку гулять по классу, пристроить в арке школьного колокола ночной горшок. Ловко же они его раскусили! Не смел отказаться. Не смел отказаться ни от одной безумной затеи — часто обмирая от ужаса. С кем угодно в школе готов был подраться, готов был нарваться на любую опасность, лишь бы не показать, что боится.

Его не любили. Взбалмошность, неуравновешенность не располагали к сближенью. Шутки, вымученные и злые, редко вызывали смех. Говорили, что он в игре тянет одеяло на себя. Приналяжет на занятия, сразу объявят зубрилой. Позволит себе расслабиться — тут же пишут негодующие отчеты. Интеллектуалы из старшего класса, те бы, конечно, его приняли в свою избранную среду, но он откровенно на них плевал. Среди остальных — просто ходил в ломаках, считался воображалой. Свой школьный путь начал с ненависти к школе; кончил презрением к ней. И за все эти годы не было у него, кроме Ричарда, ни единого друга.

Вернона все любили. С годами он получил широко распространившееся прозвище — Дядя Дик. Он нормально играл в крикет, мог постоять за школьную футбольную команду — от-

личный защитник, — уроки готовил так, чтоб классный не мог придраться, положим, пусть и не приходя в восторг. Лень, из которой он даже не делал секрета, была предметом вечных снисходительных шуток. Лишнего напряжения он откровенно избегал. Эдвард, кстати, не прочь был вечерком поразмять-ся — если игры не принудительные, почему не побегать, не поскакать, — Ричард предпочитал сидеть у камелька. Школьные спартанцы, положим, пробовали повозмущаться, но, почему-то такое, никто не судил Вернона строго. У него было собственное положение, и с этим положением считались.

Но, как ни странно, у Ричарда тоже, в общем, не было близких друзей. Никого он особенно не волновал. Ну славный, да, но не яркий, не увлекательный, чуточку скучноватый, что ли. Никогда он не втягивался в интриги и распри школьной политики и считался поэтому необщительным. Часто, к концу жаркой перепалки, которую он слушал, невозмутимо храня молчанье, у него добродушно, слегка снисходительно спрашивали: "Ну, Дядя, а ты как считаешь?" Будто трепали по холке старого любимого пса.

Одному только Эдварду Ричард Вернон не просто нравился. Для Эдварда Ричард был — герой, великий человек. В присутствии Ричарда он всерьез тушевался. Сила и спокойствие Ричарда его заставляли понять, какой же он сам слабак. Да, завидовал другу, как еще никому никогда не завидовал. Зачем Ричарду щеголять своей храбростью, демонстрировать силу воли? Когда ты уверен в себе, незачем лезть на церковную крышу, хвастать и драться. Когда ты храбрый, незачем на спор — два шиллинга на кону — переплывать реку в одежке.

Нигде Эдвард этого не чувствовал отчетливее, чем в Холле, куда часто его приглашали в каникулы на недельку-другую. Холл как нельзя более естественно подходил Ричарду в качестве родового гнезда. Размеренный покой жизни Вернонов впечатлял, как произведенье искусства. Околдовывала тишина древних стен, и сада, и леса. Вот здесь, только здесь жить бы и жить, не дергаясь, не терзаясь честолюбием и вечной тревогой.

И Мэри, это надо признать, оказалась точно такой, ну почти такой, какой должна быть сестра Ричарда. Жаль только, что родилась девчонкой.

— Зато ты можешь на ней жениться, тоже неплохо, — была вечная шутка Ричарда, и всегда в присутствии Мэри.

А Мэри — ей хоть бы что. Только захохочет и скажет:

— А может, Эдвард меня отвергнет.

Да, странные шуточки, как теперь подумаешь! Пророческие почти. Ну, во всяком случае, хоть не я бросил Мэри.

Тошно вспоминать все это дело. Оно подмочило — а ведь казалось ничто не подмочит — мою веру в Ричарда. Чуть совсем не убило. Просто в голове не укладывается, как Ричард

мог себе такое позволить! Нет, надо выкинуть из головы, плюнуть и растереть — обыкновенная трусость, единственный трусливый поступок Ричарда — и все свалить на Лили.

Свалить на Лили — да, легко сказать. Когда впервые ее увидел, чуть не ослеп, и как-то даже не верилось. До того хорошенькая, как ненастоящая, таких не бывает в природе. И детская такая невинность. Помнится, за обедом однажды она объявила, что читала все пьесы Бернарда Шоу. "Так уж и все?" — справился с подковыркой один молодой человек, считая, по-видимому, что ступает на опасную почву. И — в неловкой тишине — Лили на полном серьезе произнесла:

— Ах, да. И про гадкое тоже. Это так прекрасно, что он хочет пресечь все эти ужасы. Будь я мужчиной, я бы гордилась, что написала такое.

Бедняга Ричард. Каким ослом он таскался за ней, волоча ее мольберт и краски! Сначала ну никак невозможно было принять всерьез эту любовь Ричарда, просто не доходило. Бывают же такие исключительно смешные болезни, ну, скажем, свинка. Неужели поженятся, заживут своим домом — не может быть! Нельзя жениться на восковой кукле, даже если она широко раскрывает глаза, говорит папа и мама.

Но время пролетело, как сон; и пошли приготовления к свадьбе. И ведь никто вокруг, кажется, не считал это дикостью. Кроме, наверно, Мэри. В открытую никогда не перемывали с ней косточки Лили — хамство, предательство было бы, — разве что вдруг недоуменно переглянутся. Хихикнут исподтишка.

Пришлось, конечно, быть шафером. Роль была исполнена с честью, но весь день проплыл в тумане легкой истерики. Ричард — скала и оплот — откровенно, уморительно рухнул. Жалко взывал к дружеской помощи по самым дурацким поводам: от шляпы, измятой якобы, до ботинок, якобы плохо начищенных. Удалось остаться на высоте, увещевая его. Нет-нет, мы не опоздаем, мы найдем перчатки, и будет у нас кольцо. На несколько часов перенеслись в жанр веселых цветных открыток, попали в мир наемных лошадей, викариев, свекровей и тещ. И, все оценив и взвесив, пришлось взять на себя руководство, всем соответственно распорядиться. И произнести речь на свадебном завтраке, которая, кстати, имела колоссальный успех. Остроумно, но в безупречном вкусе.

* * *

А потом, чуть ли не на другой день, теперь кажется — хотя на самом деле прошло, конечно, несколько месяцев, — разразилась эта история с Мэри. Непостижимая и сейчас, как тогда, — несчастный случай, лишенный всякого смысла, как происшествия, о каких читаешь в газете. Ну да, ну влюбилась. Но женитьба Ричарда, невольно в голову лезло, тоже как-то тут повлияла.

Через несколько недель после умыкания от Мэри пришло письмо. Просит прийти, надо поговорить. Видались наедине, при встрече она всплакнула. Вот уж он не думал, что у Мэри — и вдруг глаза на мокром месте; рухнула еще одна привычная вешка в переменившемся мире. Да, перед ним, конечно, была совершенно новая Мэри. Такая отвага в сочетанье с приниженностью и — в случае чего — явная готовность взбрыкнуть.

Она натурально хотела повидаться с Ричардом. И Эдвард, понятное дело, тут же отправился из неопрятного домика в Челси к опрятному домику на Эрлз-корт. От Мэри в переднике, затворявшей за ним дверь, к элегантной горничной в наколке, дверь перед ним отворявшей. С Ричардом тоже повидались наедине. Эдвард, собственно, принял поручение, не раздумывая, не сомневаясь в успехе. Предполагал, конечно, что Ричард расстроен; даже, возможно, шокирован, как положено — сам был, между прочим, шокирован, — даже, наверно, зол. Но вот чего никак нельзя было предположить — так это прямо неприличной позы Ричарда: ах, что ж я могу поделать. Нет, я не осуждаю. Просто — мне ужасно неловко. Не представляю себе, было сказано, как я могу навестить Мэри "за спиной у мамы". Невероятно, смешно — как и все было смешно в этом новом Ричарде — смешно, как его уютная новенькая курительная с этими акварельками, смешно, как его расшитые домашние туфли. Скажи лучше — за спиной у Лили, в сердцах выпалил Эдвард.

Но и это Ричарда не проняло.

— Я бы ее поставил в очень трудное положение.

Эдвард в бешенстве осведомился, каким таким образом, интересно узнать, и узнал в ответ, что просто он, оказывается, недопонимает. "Возможно, в дальнейшем, — Ричард пробормотал, — все как-то уляжется, утрясется". Это было уж слишком.

— Ты забыл, кажется, что Мэри твоя сестра.

Разговор был окончен. На том и расстались — Эдвард в бешенстве, Ричард, блея с несчастным видом, что "хорошо бы вскорости еще повидаться".

Пришлось доложиться Мэри — правда, кое-что удалось смазать. Она, чувствовалось, была глубоко оскорблена, но сдерживалась, не подавала виду.

— Вот и прекрасно. Пусть Дик поступает, как знает. Больше я не стану ему докучать.

* * *

На какое-то время Эдвард застрял в Лондоне. По-прежнему навещал Мэри, случалось, натыкался на Скривена, когда тот без дела слонялся по дому, кромсая дешевую сигару. Как бы сдержанный, но и наглый, — соображал, естественно, что его не жалуют. Красивое, надутое лицо, когда разговаривал, кривилось ухмылкой. Сыпал вопросами о мистере и миссис Вер-

нон — видно, желая потрафить гостю, — особенно о миссис Вернон, которую называл не иначе как своей "досточтимой тещей". "Вот, поднакоплю деньжат и тут же здесь соберу ваше семейство в полном составе" — страшно остроумно. Конечно, Мэри тошнило от этого всего, хоть она пыталась не подавать виду. Посмеиваясь, продолжала шить, или вставала и, вяло отшучиваясь, уходила на кухню — стряпать. В результате всех передряг в ней выработался совершенно новый стиль юмора, гибрид мужнего сарказма с сухими, ленивыми шутками брата. Возводила фортификации. Даже оставаясь с Эдвардом наедине, не откровенничала и на все поползновения поговорить по душам, на невысказанное участие отвечала разной смешной чепухой: про счета мясника, про общих знакомых, про то, что случайно подслушала в зеленной, — и он сперва недоумевал, потом совершенно скис. Делать нечего, пришлось принять ее тактику и тоже острить. Оказывается, всегда можно острить. Усвоить бы этот приемчик пораньше, давно, в школе.

И к Ричарду он тоже ходил. Даже после той сцены не мог выбросить из души, остаться окончательно в стороне. И ведь Ричард с Лили слали записки, она — бодрые, полуофициальные; Ричард — сердечные, краткие. "Постарайся найти время и поскорее к нам заскочить". Какая ирония. Чего-чего, а времени у него хватало. Таскался по городу, глазел и зевал, ничем не мог толком заняться. Со скамейки в парке, из клубного кресла озирал широкие горизонты, которые открывало свободное время, деньги, таланты. Горизонты пугали. Заказывал выпивку. Потом еще.

А на Эрлз-корт Лили встречала со старательным радушием. Недолюбливала, ясное дело. Ничего, сам тоже ее не особо жаловал. После ужина она оставляла друзей наедине — разработанный церемониал. "Я знаю, вам так много надо обсудить". Обсуждать было решительно нечего. Ричард, не желавший, кажется, в этом признаться даже самому себе, заполнял нависавшие паузы натужным весельем. Потом, когда уже все втроем поднимались в гостиную, супруги, можно сказать, ни на миг не отрывали глаз друг от друга. Будто кроме них в комнате нет никого. Он не засиживался, сочинял благовидный предлог, чтоб пораньше смыться. Вдруг они искренне удивлялись. Ричард даже вслух выражал свое раскаяние и беспокойство.

— Тебе, наверное, скучно у нас торчать целый вечер? — спрашивал с волнением, которое могло бы пронять, если б так не бесило, застревая в прихожей перед тем, как его выпустить.

Чтоб не бывать в этих двух домах, он путешествовал. Китай, Южная Африка, Бразилия. Дважды вокруг света. Охотился на львов, лазил в Альпах, обошел на утлом паруснике бере-

га Европы. Как-никак, мог себе позволить рисковать своей жизнью с шиком — помирать, так с музыкой. И подальше от Англии — опять же оно как-то легче.

А потом война. И тот последний вечер с Ричардом — посидели, поболтали на обочине грязной дороги. Слава Богу — теперь хоть есть что вспомнить. И как только тогда умудрился, как прыти хватило — правдами и неправдами освободиться на аэродроме, за пятьдесят километров подскочить на попутке, подмазать телефониста, чтоб передал частное сообщение в столовку Ричарду. И ничего ведь, кроме нежной размаянности, от встречи не ждал. И в конце-то концов встреча же удалась. Потому что Ричард, вне Эрлз-корт, вне своей конторы, снова стал Ричардом школьных дней. Он, оказывается, вязал. Подарил мне пару варежек. Как раз в них и был, когда рухнул. В госпитале их срезали вместе с другой одежкой, выбросили, что ли, может, сожгли. А жаль, потому что ничего, ничего у меня не осталось на память о Ричарде — какой он был когда-то, давно, какой он был, когда умер.

* * *

Рэмсботтэм досказал свою историю про коноплю и завел другую, тоже не очень свежую, про несчастный случай, связанный с трансформатором. Вот Мэри уже машет, чтобы поторапливались. Двоих, заключил Рэмсботтэм, убило. Ричарда убило. Ричарда, который говорил, что все пойдет точно так же, как прежде. Нет теперь Ричарда. И вот что нам остается, думал Эдвард, глядя, как кукла в трауре, слюнявый старик и неуклюжий юнец влезают в карету. Вот все, что нам остается от Ричарда.

IV

Эрик запрыгнул в викторию, чуть не отдавил матери ногу. Усевшись сзади, выставив коленки, он особенно остро почувствовал свою нескладность, громоздкость — сплошные кости.

Как это ужасно — быть таким нескладным. Надо покрепче сжать коленки руками, чтоб поменьше места занимать в этом узком пространстве. Но руки — руки не лучше коленок, точно такие же костлявые и вдобавок вечно то чересчур горячие, то ледяные.

Глянул на мать — не сделал ей больно? Но Лили устремила взор на верхи вязов, следя задумчиво за суетней грачей. Посмотрел на деда, тот ответил широкой улыбкой на обвалившемся, бывшем мягком лице. Катили от церкви прочь. За деревьями тяжко громадился Кобден. Белые фермы его обсыпали с тыла, как зернышки соли. Эрик стал думать про того мальчика, который погиб на войне.

— Я пригласила Мэри на понедельник обедать, — говорила Лили Джону. — Правильно сделала?

Джон улыбнулся. Потом кивнул, хрюкнул.

Раньше Эрик не слышал про этого мальчика. Надо бы про него разузнать, только вот у кого же спросить, интересно. Может, Кент знает? Кент почти всех и каждого знает в Чейплбридж. Когда мы выезжаем, часто кто-нибудь тронет шапку, кивнет: "День добрый, мистер Кент". И нуль внимания на деда. Мама считает, что это умышленно: социалистическое хамство. Но что поделать. И Кент же не виноват.

В последний год войны, на пасхальных каникулах, Морис как-то сказал, похохатывая:

— Сбежим на войну, а, Эрик?

Они тогда были одни, и хотя Морис смеялся, говорил он всерьез, конечно. У него вообще манера такая, у Мориса, что-нибудь предложить, шутя, но, если согласишься, или его самого подначишь, тут же он перейдет к делу — и с такой решительностью, что понимаешь: и не думал шутить. Вот, скажем, прошлой весной сидели они как-то в спальне, и Джеральд Рэмсботтэм вдруг пустился в рассуждения насчет высоты. Уверял, что спальня от земли в тридцати метрах. Морис ему: "Ничего подобного". А Джеральд: "Ладно, а спорим, тебе отсюда не прыгнуть". — "Спорим? — Морис ему. — На сколько?" Джеральд сказал — на шесть пенсов, Томми — на девять. И Морис тут же влезает на подоконник, прыгает. Попал в цветочную клумбу, единственную во всем саду, лежал и кричал оттуда, чтобы ему денежки бросали. Лодыжку вывихнул, подумаешь, дело большое.

Но все равно из-за тех слов Мориса он метался в горячке сомнений и колебаний до самого конца каникул. Чуть не каждый день подмывало пойти к Морису, сказать: "Ну давай, я готов". По ночам часами лежал без сна, примеривался, решался. Ночью, во тьме. Легко быть храбрым во тьме. Затея представлялась возможной, раз плюнуть. В черноте он все видел воочию, смаковал поэтапно. Их бы приняли, это уж почти наверняка. Оба были высокие для своих пятнадцати лет, а когда немец прет, не до того чтоб слишком вникать и разглядывать, кого принимаешь. А тогда — о, как они заживут, Морис рядом, в тренировочном лагере их учат — маршировать, пробиваться штыками, они поднимаются на борт корабля, кричат с поездов во Франции: "Смелее, друзья!", располагаются на постой, мили и мили проходят траншеями к линии фронта, ждут часа зеро на рассвете, под реденьким сизым дождем. Он взвешивал, пробовал на вкус каждый поворот событий, и выходило так, что с Морисом под боком сам черт не брат, все можно одолеть.

Но это не просто были пустые мечты. Снова и снова накатывало — пойду и скажу. Ясно, Морис бы согласился. Не в Морисе дело, при чем тут, просто сам трусил. Да, конечно, я трус, я отвратительный трус.

Ну а если тогда же узнать про кого-то — ровесника, — который такое свершил. Про этого мальчика, скажем. Этот пример вмиг бы уничтожил сомненья. И вот, одной прекрасной ночью сбежали бы оба, ранним-рано сели бы на манчестерский поезд, оставя на подушках записки. Ну а пока суд да дело, собственно, пока то да се, пока добрались бы до фронта, война бы, глядишь, и кончилась. А теперь все равно бы ходили в героях — ветераны, ничем не хуже взрослых, можно сказать, и все бы нас уважали. Или имена стояли бы на Кресте рядом с именем отца. Так даже лучше. Нет, Мориса не надо. Только мое имя. Я спасаю ему жизнь. Меня доставляют в лазарет со смертельной раной. Мне совсем не больно. Морис на коленях, подле постели. Ах, Эрик, зачем ты? Я этого не достоин. А я улыбаюсь и говорю: я рад, что так поступил, Морис. Не надо плакать. Постарайся утешить мою мать. И стоял бы сегодня Морис у Креста с тетей Мэри и Энн. На руке — траурная повязка. Вспоминают меня. Морис говорит: мы его никогда не забудем. Никогда. Ах, что за чушь собачья, вдруг возмутилась душа Эрика, и он разом смел эти бредни, отшвырнул с силой, разбил вдребезги.

На глаза, тем не менее, навернулись слезы. Карета всползала по изволоку, к берегу канала, и он в себе чувствовал, как густая, сладкая печаль летнего дня тенью натягивалась на блеск холмов. Она проникала в кровь, в мозг, в нутро — эта смутная, вещая печаль. Эрик сейчас переживал период ностальгии по детству. Настоящее было — хаос, плюс еще тяжелое несоответствие: на три четверти взрослое тело и полузрелый рассудок. Он размышлял об очертаниях холмов. Оказывается, они на женские груди похожи. Эрик стихи сочинял, по большей части сонеты, записывал в черной тетрадке, которую дома носил с собой, чтобы не обнаружила мама. Стихи были сплошь о природе.

В одном черном носке была дырка; школьные брюки шерстили в паху. Вспомнилась школа, вся эта каторга, хлопоты и тревоги — не опоздать на урок, на игры, не забыть чего в раздевалке, не сделать того, сего, третьего — засмеют. С занятиями-то как раз все в порядке, если сосредоточиться. И смеются не часто. Но в начале каждого полугодия такая берет тоска, даже тошнит, физически. Скорей бы все это кончилось, навсегда.

Когда-нибудь, текли мысли Эрика, я, наверно, поеду в Кембридж. Неизвестно, какой он, Кембридж, но уж точно не школа, совсем другой коленкор. Вдруг осенило: если очень стараться, можно стать доном. Представилось, как торжественный, величавый, в плаще, он наставляет студентов: "И в пятых, господа..." Да, приятно. Губы сами сложились в улыбку.

Ах, доном стать — да куда мне, никогда я не стану доном, если не преодолею своих ужасных недостатков. Я заика, я безалаберный. Вот что ужасно. Нет-нет, надо только твердо ре-

шиться. От заиканья я вылечусь, и я буду аккуратней. Ничего невозможного. Да, но я забывчивый. Я вечно задумываюсь. В школе из задумчивости выводят друзья, добродушным пинком в зад. Весело напоминают: "Опять размечтался".

Вылечиться от заиканья совсем легко: надо просто считать перед тем, как откроешь рот, и всегда заранее хорошенько обдумывать, что хочешь сказать. Внешность тоже вещь поправимая. Для волос, например, можно просто купить брильянтин, и всё. Но тут Эрику почему-то сделалось ужасно стыдно. Тошно даже представить себя в таком виде: прилизанные волосы, изящно повязанный галстук, костюм с иголочки. У Мориса волосы всегда сияют, как шелк. Но то Морис. А я урод. И глупо даже стараться. Я страшила.

Взглянул на себя со стороны — я урод, я нескладный, и совсем не дается как раз то, в чем так бы хотелось блеснуть, — лупить в теннис, показывать фокусы, жонглировать апельсинами, форсить на велосипеде, щелкать пинг-понговым мячиком, разбирать механизмы — тут сплошные провалы, и дурацкий "талант" к истории только их оттеняет; взглянул на себя со стороны, и такая взяла тоска, что скривился от омерзенья и почувствовал, что готов выкинуть что-то дикое, безобразное, скажем, на бешеной скорости разлететься в машине Джералда, а там будь что будет.

Мать встретилась с ним глазами, улыбнулась.

— Не надо горбиться, детка. Сутулым будешь.

Для нее я все еще маленький, думал Эрик. Милая мамочка, совсем она меня не понимает. Так и будет вечно со мной цацкаться, как с девятилетним.

Заглянул в глаза Лили, такие прозрачные, ясные. От их красоты, как всегда, почувствовал легкий укол совести. Мамочка, милая, я к ней несправедлив. И всегда был несправедлив, эгоист паршивый. Вечно я упускаю из виду, как она, должно быть, страдает. Как, наверно, ужасна ее жизнь. Всегда-всегда буду о ней заботиться, как могу, постараюсь облегчить ее участь.

И сегодня, вдруг решил Эрик, не пойду я к тете Мэри. Возьму и дома останусь. Свинство с моей стороны, и как я мог даже помыслить о том, чтоб уйти сегодня, сразу после такого. Почитаю маме вслух, пойду с ней погулять. И самому будет даже гораздо приятней, чем идти к тете Мэри. Ну это, положим, неправда, себе-то зачем врать. Все равно же я остаюсь, я никуда не иду. Губы уже округлялись, готовя слово "пойдем" — пойдем вечером погулять, мамочка?

Но вспомнил, что надо считать, прежде чем произносишь слово; такая морока; и решил, что попозже спросит, оставшись с ней наедине.

Отца убили, когда Эрик был в школе. Учился в первом классе закрытой школы, и та телеграмма, вместе с письмом

матери, кажется, только прибавила очень темный отлив к без того горькой участи: военные пайки, пинки старших мальчиков, одиночество, неуют, сиротливость.

Отца он уважал, но не то чтоб уж очень любил. Всю любовь себе взяла Лили, с тех самых пор, как перед уходом на званый ужин, шурша вечерним, в стеклярусе, платьем, вплыла в детскую, подняла из кроватки: "Чей это мальчик такой? Ты мамочкин мальчик? Да?" Отец же был только фигурой в дверях — белизна крахмальной рубашки, забранная чернотой, и голос: "Спокойной ночи, старина. Однако уже без двадцати, моя радость". Отец был серьезный и добрый. Брал с собой на прогулки, когда гостили у дедушки, пересказывал эпизоды из книжек своим адвокатским голосом с выигрышными переливами. Карета проехала шлюзы. Да, кстати, как вон тот флюгер, на церкви, сверкнул над деревьями, когда отец стал рассказывать про Шерлока Холмса, — и засядет же в памяти. "А кто это — Шерлок Холмс, папа?" — "Шерлок Холмс — детектив". — "А что это — детектив, папа?" — "Будешь слушать, узнаешь".

Эрик был очень, очень расстроен, узнав, что отца убили. Весть мигом освежила уже приевшееся чувство оброшенности посреди школьного шума. Обострила отвращенье к мерзкому дребезгу утреннего звонка, умыванию холодной водой, лестничной толкотне на пути в классы. Казалось, что смерть отца почему-то со школой связана. Школа, школа была виновата, отвечала за эту смерть, как отвечала за холодную воду, дребезг звонка, уроки. Утра были холодные и сырые — повторяющиеся меленькие глотки смерти. Черный, пыльный закуток для обуви, железная лестница, голые дортуары, затхлый куб кабинетика с хилой лампочкой в вышине, с плотными шторами (шесть ударов, если забудешь задернуть: из-за воздушных налетов), взмоклые площадки для игр, пыльные классы, ледяная промозглость часовни — все, все была сменная декорация смерти. С неделю он мучился почти непереносимо, на вторую неделю только чуть-чуть полегчало, потом еще неделю было ужасно плохо. А потом он понял, что выдюжит. Легче не стало; сам стал сильней.

Удлинялись дни. Он писал домой по три раза в неделю, и в письмах теперь звенели ноты надежды. Было много утешительных фраз. Отправлял маме чуть ли не проповеди, точней, в самом деле ей цитировал проповеди в школьной часовне — о войне, о павших героях. Описывал ей разные школьные казусы. И скоро убедился, что утешения действуют, потому что мамины письма стали короче, отвлеченнее, проще. Она в свою очередь рассказывала о делах в Чейпл-бридж. Погодка разгуливалась. Кончался учебный год. Отец умер. В голове уже не умещалось жуткое слово "убит". Отец умер. И все вокруг тебе твердят, что теперь ему хорошо. И ты веришь. Отец как будто никогда и не был живым, всегда, как теперь, был почитаемым

и блаженным героем легенды. Порой мысль о нем еще вышибает слезу — так роняешь слезу под музыку, под грустный вальсок. И образ отца отступил, — далекая, грустная тень.

Он вернулся в Чешир на каникулы и, проезжая — как вот сейчас — по дороге со станции Чейпл-бридж мимо лавки маленького швейцарца-часовщика, заметил, что там разбиты, заколочены окна. Часовщика заподозрили в симпатиях к немцам, и вдруг, через столько лет после начала войны, какие-то сволочи, воспользовавшись этим предлогом, чтоб "поразвлечься", чуть не линчевали беднягу.

А когда добрался до Холла, приятно взвинченный мыслью, что вот он — дом, и так дивно сверкает весеннее утро, миссис Беддоуз встретила в дверях молча, только бледно улыбнулась. Послала к маме наверх, как к больной. Вошел тогда, слегка отрезвленный, не без дурных предчувствий, предварительно постучав — впрочем, совершенно не готовый к тому ужасу, который ждал за дверью. Первое мгновенье почти ее не узнал. Как горе может обезобразить! Мамины глаза затекли, одни щелки, рот взбух, лицо осунулось, пошло пятнами. Даже отшатнулся в испуге. Улыбка сползла с губ. У нее вырвался хриплый крик. Бросился к ней, обнял. Какое страданье. Все, все, оказывается, что в школе напридумывал о своем горе, было ничто, пустяки, эгоизм и пошлость сплошная. Мама обнажила, вскрыла по живому кровоточащую рану. И стало совершенно неважно: хоть бы десять поубивали отцов. Но маму, маму как жалко. Отец умер. А она живая и так мучается у меня на глазах. И ничего, ничего абсолютно нельзя было поделать. Вместо слов получалось одно сплошное долгое заиканье. Что-то обвалилось внутри, и мучительный стыд накатил — как можно было ей писать такие пустые, бойкие, гладкие письма. Просто стоял с ней рядом, пока она всхлипывала. Вдруг она прорыдала: "Он так нас любил!"

Как упрек: не сумел по-настоящему полюбить отца, но, главное, и для нее не стал надежной опорой. Он рухнул на колени перед ее креслом. Так прошел, наверное, час. Пора было обедать. Когда выходил из комнаты, она промывала глаза, поливая себе из кружки.

Та сцена была первая и последняя. Он, костеря себя за малодушие, избегал второй. Второй бы не вынес. Наедине они теперь бывали нежны и грустны, или веселы сквозь печаль. Часто он узнавал, что она пошла наверх, хочет одна поплакать, и в таких случаях уходил и виновато бродил по лесу, и душа рвалась надвое между совестью, которая подсказывала, что надо побыть с мамой, и предательским соображением, что видеть ее в таком состоянии ему будет невмоготу. Иногда, войдя к ней, увидев, что она льет слезы над дневником, над старым письмом, старался половчее ретироваться, если же номер не проходил, прикидывался, что ничего не заметил. Она, со своей стороны, никогда не взывала к жалости, только изредка, то

обиняками, то откровенно, давала понять, что хочет побыть одна.

Он не без удовольствия вернулся в школу, когда кончились каникулы. Даже школа была лучше такой натужности, и потом — принудительный распорядок разгоняет черные мысли. Следующие каникулы прошли уже не так ужасно. Полегчало, меньше давила тоска. Мама, порой казалось, приободрилась, но тем больше, от неожиданности, страшно делалось, когда опять на нее находило. Раньше у них не бывало друг от друга секретов. Он ей всегда все вываливал про свои чувства, про все события, хоть сколько-нибудь для него важные. Теперь отношения переменились и похоже, что навсегда.

Прежнего, казалось, уж не вернуть. И он стал втайне оплакивать мать. Вот и теперь эти мысли: какая бледная, как печально сидит в своем трауре с дедушкой рядом, а карета тем временем уже гремит по деревенской улице. Одни лавки открыты, другие заперты, зависит — в церкви хозяин или дома остался. Ах, если бы я только мог ей помочь.

Нет, ничего тут нельзя поделать. И — совсем уж беда — эта моя с нею робость, вечный страх, как бы чего не ляпнуть, сказать невпопад, ненароком ее не обидеть, не ранить. Вот и во время службы то и дело поглядывал на нее, чтоб удостовериться, убедиться, что она это выдержит. Ждал, замирая, что вот она рухнет, потеряет сознание. По мне, так не надо, не надо вообще никакой поминальной службы, и мемориала не надо, да пусть бы отца даже забыли начисто, если б она, конечно, тоже могла забыть, только бы ей стало легче.

И при всем при том я решил отправиться к тете Мэри, чаи распивать! Снова больно кольнула совесть: мерзкий эгоист. Странно, и почему при мысли о тете Мэри я часто испытываю чувство вины перед мамой, без очевидных причин.

Он все еще был погружен в задумчивость, когда карета остановилась у парковых ворот, и Кент, кашлянув, тяжело, неуклюже стал слезать с козел.

Лили пришлось напомнить:

— Ворота, детка, — и похлопать его по коленке.

И он выпрыгнул, и он их открыл, как с восьми лет открывал и любил открывать — каждое воскресенье, после обедни, еле-еле дотягиваясь до щеколды, с пыхтеньем таща из земли шпингалет, опасливо косясь на объявление: "Посторонним вход воспрещен. Нарушитель ответит по закону. Джон Вернон". Джон Вернон медленно материализовался, приняв облик дедушки, — вот он смирно, тихо сидит в карете.

Но в один прекрасный день он же умрет. Мысль не сильно впечатляющая. Ну и что, и подумаешь, когда еще это будет. Мамина смерть — дело другое, мамина смерть годами терзает ночным кошмаром. Вот она, такая красивая и молодая, гибнет, убитая горем, сраженная скоротечной чахот-

кой. Порой просто ужас накатывает: напасть неминуча. А дедушка — он не меняется. Почти не запомнилось, каким он был до болезни. Его будто обессмертила дряхлость. Так же точно не ждешь от знаменитой руины, утехи туристов, что вдруг она рухнет.

Но когда все-таки он умрет — увлек непривычный ход мысли, — Холл перейдет ко мне. Тоже — нелепость полная. Раза два мама затевала разговоры о будущем, предваряя их предисловием: "Когда-нибудь, если что-то случится с дедушкой..." От этих разговоров становилось неловко, хотелось поскорей перебить:

— Тогда мы с тобой будем жить вдвоем, мам?

— Если захочешь, детка. — С нежной улыбкой. — Если я тебе буду нужна.

— Будешь нужна? — вот уж совсем непонятно. — Да что такое ты говоришь?

— Ты, может быть, захочешь жениться, знаешь.

— Никогда я не захочу. Лучше я останусь с тобой.

— Ох, но я ведь хотела бы, чтоб ты женился. Мне хочется стать когда-нибудь бабушкой.

— Ну, предположим, я даже женюсь, ни малейшей не вижу разницы.

Она тогда расхохоталась. На нее редко нападала такая веселость; но он-то принял ее слова более или менее всерьез и немножко обиделся.

Но Кент меж тем тронул шапку кнутом, сказал: "Спасибочки, мастер Эрик" — и мастер Эрик снова полез в викторию, заперев ворота. Поехали парком, где выучена наизусть каждая черточка пологого убористого пейзажа. Сзади лес, снизу уже высунулись трубы Холла. Тень листвы на разбитой аллее. Что я сделаю, когда все это будет мое? Подновлю, наверно, аллею. Или имя на объявлении переменю, вместо Джона сделаю — Эрик Вернон? Нет-нет, не надо, нельзя ни к чему прикасаться. С детства этот страх суеверный, может быть, подогретый мамиными наставленьями: не дай Бог трогать прошлое. Опять я о маме, вечно о маме.

Я всегда буду с ней, пообещал сам себе, и почему-то стало ужасно грустно, даже слезы выступили на глаза.

Вдруг решившись, подался вперед, спросил:

— П-п-п-ойдем п-п-пог-г-г.....?

— Глубоко вздохни и считай, детка, — сказала Лили.

Он глубоко вздохнул и сосчитал до двадцати.

— Пойдем п-погулять сегодня после обеда, мам?

Она улыбнулась, так грустно, так нежно.

— Если ты хочешь, детка, — слегка вздохнув, — и если мамочка будет не очень усталая.

Хрупкая, непрочная, как листок. Ах, как неловко опять получилось. Вовсе ей не хочется. Она устала. И ведь она, с нее

станется, все равно пойдет, просто моего удовольствия ради. Нечего было спрашивать. Сплошная нечуткость. Конечно, после этой длиннющей службы она дико устала.

А внутренний голос нашептывал: вот она не захочет гулять, и пойдешь ты к тете Мэри.

Поскорей надо в себе подавить гнусный голосок. Нет уж, ни за какие коврижки к тете Мэри я не пойду. Сегодня такой день. Нельзя. Из уваженья к отцу. Маме было бы неприятно. Сегодня надо побыть одному, с мыслями об отце. Подлость — сегодня идти к тете Мэри. И зачем только она пригласила? Просто забыла, что ли, — вдруг, на минуточку. Сама бы сочла меня абсолютным ничтожеством, если бы я вдруг заявился.

И там Эдвард Блейк будет, напомнил себе Эрик, выискивая хоть что-нибудь такое, что умалило бы невыносимую притягательность теткиного дома. Эдварда Блейка он ненавидит. Тут и ревность — Скривены его встречают с таким восторгом. Особенно усердствует Морис, кажется, потому, что тот творил чудеса на войне, в авиации. Получил ЗБС[1] и Военный крест. Даже чуть ли не был представлен к КВ[2]. Кучу немецких самолетов сбил. Герой. И хоть, в общем-то, пожилой человек, лысоватый, и седина на висках, а такие чудеса вытворяет — сальто над спинкой стула, прыжок стоймя через стол. А, да причем тут ревность. Терпеть его не могу. Не верю ему. Насмешка над всем и вся, в том числе надо мной, вечно стоит в большущих, зеленых, воспаленных глазах. Одно непонятно, и что́ отец выискал в этом Эдварде Блейке, почему с ним так невозможно близко дружил.

Но мы уже у самого дома, снова мне открывать ворота. Миссис Поттс и миссис Беддоуз ждут на крыльце — значит, мы опоздали-таки к обеду.

С самого начала войны дед стал обедать в комнате, которая раньше называлась курительной. В столовой теперь обедали только по воскресеньям. Чересчур она велика для троих, для двоих и подавно, и в представлении Эрика прочно связалась с гостями, с долгой чередой блюд, с бесконечным торчанием за столом. Вдобавок, теперь вошло в моду, считалось почему-то такое патриотичным использовать комнаты потесней; как вообще считались патриотичными любые, бесполезные действия — лишь бы себе же хуже.

Но к этой курительной Эрик вполне притерпелся. Во-первых, уже сложился обычай — в курительной можно не ждать, пока покончит с едой дедушка. Это придает трапезе известную прелесть, свободу, почти как на пикнике. Дед сам на них машет тяжелой, в веснушках, рукой — мол, не ждите, пока до-

1. За безупречную службу.
2. Крест Виктории — высшая военная награда.

ем сладкое. Ох, и он же вечно просит добавки. И роняет вставные зубы. Как они плюхаются на тарелку. Мама притворяется, что ничего не заметила. Миссис Поттс подступает с салфеткой наготове: стирать роковые пятна сливового мусса с рубашки; миссис Беддоуз возводит глаза к потолку с трагикомичным смиреньем. А деду, видно, все это кажется милой шуткой. Хохочет, не делает ни малейших попыток замять безобразие.

Дед сильно бы облегчил себе жизнь, если бы не спускался к чаю. Или хоть не взгромождался к себе на верхотуру после обеда. Но ритуал сошествия к чаепитию незыблем, видимо, в память бабушки, которая на него напирала. Вечно, помнится, гоняла Эрика: "Сбегай-ка ты наверх, скажи дедушке, что мы его заждались. Не можем же мы без него начинать".

Бабушку он ненавидел. Злобная, с подковыркой. И мама может сто раз повторять, что у нее был "удивительный интерес к жизни". Просто дикая эгоистка, и все, — беспощадно постановил Эрик.

Мама весь обед промолчала. Все ясней и ясней было видно, как ужасно она утомилась. Обычно она много разговаривает с дедушкой, и так воодушевленно, будто он гость. Эрика всегда восхищает мамина способность вести беседу. Это прямо изумительно. С интересом ловить каждое слово деда, весело хохотать над его смешными историями, которые лично Эрику даже при первом исполнении не показались уж такими забавными.

Миссис Беддоуз внесла сладкое, Эрику вспомнились дни, когда он, еще маленький, считал обед логическим следствием своих утрешних личных усилий — едва кончив завтракать, спешил вниз, на кухню, потом несся наверх, вслед за горничными, присмотреть, как метут и блистят, передразнивал их, ползая на четвереньках, так что изучил все ковры, половики и дорожки в разных частях дома. В одиннадцать горничные возвращались на кухню — пить какао. Он не уходил, оставался, наблюдал, как готовят обед, отмеривал из жестянок изюм и коринку, иногда допускался даже и к мясорубке, промалывал мясо. А потом, когда обед был готов и подан, переглядывался с девушкой, прислуживавшей у буфета, в том смысле, что "не зря мы потрудились, а?"

Бабушка всему этому разом положила конец. Не одобряла якшанья с прислугой. Очень хорошо. Но теперь вообще не с кем стало играть, кроме изредка заезжавших к чаю гостей, соседских сынков, с которыми абсолютно не хотелось иметь дела, даже если сами они, в виде исключения, были не прочь пообщаться. Ах, если б здесь тогда жили Скривены!

Ну вот наконец-то кончился этот обед. Лили выплыла из комнаты, медленно пошла вверх по ступеням. Кажется, глубоко задумавшись.

Он пошел за ней. Не стану даже поминать насчет прогулки, если сама не заговорит, — так он решил. Зачем приставать. Человек отдохнуть хочет.

Вот дошла до своей двери, обернулась, спросила:

— Чего тебе, детка? Я хочу немножечко полежать.

Он выпалил, не успев спохватиться:

— П-п-просто я х-х-хочу знать, х-х-хочешь ты сегодня гулять или нет, в-в-от и все.

Она помешкала, улыбнулась:

— Ну, детка, если тебе так уж хочется. Но я ужасно устала.

— Ах, н-н-нет, т-тогда, конечно, н-не надо.

Он ужасно покраснел. Лицемер и обманщик. Просто сволочь. Чуть силком гулять не потащил, исключительно ради очистки совести. Она его поцеловала с улыбкой. Он неловко повернулся, прошел медленно по коридору, вниз по главной лестнице, в сад.

Сад притих на припеке. Конюшенные часы пробили половину третьего — так падает камень в глубокую воду. Решил: не пойду.

Побрел по тропке к забору, туда, где калитка ведет на конюшенный двор. Да ладно, он думал, вот уж действительно, столько шуму из ничего. Ну не нужен я маме сегодня. Почему не пойти? Глупо предполагать, что отцу якобы могло бы показаться обидно. Чушь сплошная. И при этом решении прямо груз спал с души, хотя было ясно, конечно, что совесть снова проснется, с новой силой примется грызть и замучит вконец.

Как в памяти живо то время, когда Скривены только еще переехали в Гейтсли. Прежде об их существовании было что-то совсем не слышно. Известно было, что имеется тетя, двоюродные брат с сестрой, но поминалось о них редко, и уж тем более в Холле они не показывались. Потом однажды мама сказала: "Скоро ты увидишь свою тетю Мэри". Но особенно не распространялась. На вопросы отвечала уклончиво, скупо, но почему-то чувствовалось, что она и сама ждет этой встречи с волненьем. И еще чувствовалось, что мысль о свидании с родственниками не очень ее греет. Она была настороже, как-то, пожалуй, даже враждебно настроена. Оставалось заключить, что с тетей Мэри, видимо, связано что-то предосудительное и что с окончательным суждением придется пока подождать.

Ходили тогда вместе с мамой осматривать дом на Гейтсли-Броу, для тети Мэри — если ей, конечно, понравится. Она приедет в Холл на денек-другой, поогляделься, распорядиться, прежде чем перевозить семью и барахло. Странно было ходить по крошечному, запустелому дому, воображать, как здесь будут жить тетя и новенькие брат с сестрой. Без конца тогда про них думал.

И вот настал этот день — зашел в гостиную и увидел, что мама сидит и беседует с большой темной женщиной, у кото-

рой косы кольцами выложены по ушам, в руке сигарета. Первое впечатление было смешанное. Сигарета, чересчур мудреное, непонятное платье — вызвали чуть ли не отвращение. Но голос и прямой, быстрый взгляд — дружеский взгляд — сразу подкупили, понравились. На вид тетя Мэри была куда старей мамы. В волосах уже седина, вокруг глаз и на лбу морщинки, темные круги под глазами, но уже минуту спустя ты видел, какая она здоровая, сколько в ней силы. Спокойной такой силы. Тетя Мэри ничего не теребила в руках, не говорила быстро, взахлеб, а глаза — глаза были яркие и сияли. Она его расцеловала — с толком, сердечно, не стала лезть в душу с расспросами и сразу продолжила начатый разговор: про их новый дом.

Чудно́ было слушать, как она говорит маме: а сделал папа то-то, а папа выглядит так-то. Докурив сигарету, она сразу себе скрутила новую, выбирая табак из красного, кожаного, малюсенького мешочка. И с тех самых пор уже никогда не казалась чужой и странной.

Тогда все на маму поглядывал, старался сообразить, разделяет ли мама такое впечатление о тете, но сообразить было невозможно. Так и не понял, с того далекого дня и поныне, как на самом деле мама относится к тете Мэри.

Он прошел на окруженный сараями конюшенный двор, где, по преданию, во время Гражданской войны квартировал конный эскадрон. Трава проросла между булыжниками в арковом проходе под часовой башней. Кента в седельной не оказалось. Пошел, видно, обедать. Ничего, в щели под ступенькой крыльца надо нащупать ключ. А теперь — толкнуть дверь, выпустить едкую вонь смазки, запах влажной кожи, металлический дух. И выкатить велосипед.

Постарел, бедняга, давным-давно стал мал, не по росту. Пора новый заводить. А что, если попросить у мамы мотоцикл? Ах, да могу и сам купить, из денег, которые получаю на почте. Что за чепуха лезет в голову. Даже смешно. И зачем мне, собственно, мотоцикл — просто Морис сказал на днях, что буквально не понимает, как это, имея деньги, не купить себе мотоцикла. Морис вечно копит, копит, но он и мотает же, о-го-го. А ведь известно, что они небогаты.

Очень долго пришлось к ним присматриваться. Странные, в мать, и вдобавок, пожалуй, без ее скорей подкупающих черт. Морис особенно — самообладанье, сплошная изысканность, бледное красивое лицо под темными волосами, а карие глаза широко раскрыты от вежливо не высказываемого изумления: и как это нас сюда занесло? Сперва они были подчеркнуто городские дети. Недоумевали — и на что убивают время в такой глуши, приставали с расспросами. Бродили по Гейтсли и Чейпл-бридж слегка ошарашенные, кажется, подозревая, что главного-то им не показывают, что-то скрывают, ведь такого

не может быть. Сначала казалось: воображалы. Ах, уж эти их прекрасные манеры. А на маму, кстати, при первой встрече произвели очень даже приятное впечатление. Потом-то она явно к ним поостыла.

Вплоть до самого Рождества Скривены так по-настоящему и не вписались в жизнь Гейтсли. Ну а на Рождестве было решено дать эстрадное представление в пользу Красного Креста, и к тете Мэри обратились за помощью. И после недели репетиций тетя Мэри взяла бразды правления в свои руки. Не лезла вперед, не набивалась на руководящую роль, не высовывалась, но любой сразу видел, что вот — у человека прямо талант организовывать подобные вещи. Представление имело оглушительный успех. Морис с Энн оба участвовали. Энн пела. Морис плясал хорнпайп. Да, тут ничего не скажешь, выступали они потрясающе, так даже и настоящим артистам слабо.

Можно было подумать, что теперь кузены окончательно развоображаются, совсем задерут нос. Ничего подобного. Так они от души радовались, так сияли по случаю своего триумфа, что всем-всем, и даже злопыхателям в Гейтсли и Чейплбридж, оставалось только признать, что раньше они просто стеснялись, просто ждали случая выказать свои хорошие качества. Вот после этих-то выступлений он и стал постепенно влюбляться во все семейство Скривенов вместе взятое.

Да, он в них во всех влюблен, иначе не скажешь. В доме у тети Мэри он делается другим человеком. Присутствие брата с сестрой его окрыляет. С ними он спокойней, уверенней; и все так славно, все так легко. Он даже, кажется, заикаться стал меньше, особенно разговаривая с тетей Мэри и с Энн. Мориса он дольше стеснялся, потому что обожал его прямо до боли в груди, правда, никогда, по крайней мере, и не притворялся. Что толку притворяться. Морис сразу его раскусил, понял, какой он — неуклюжий и невезучий в играх, ни ловкости, ни элегантности. Морис понял, что он не умеет взять, не умеет подать мяч, плавать способен исключительно брассом, не может нырнуть, едва ли в состоянии вам назвать и шестерых самых знаменитых крикетистов и ни черта, ни черта абсолютно не смыслит, хоть показывали ему, сто раз ему втемяшивали в башку, в клапанах и регулировании скоростей. И самое поразительное — Морис ни чуточки его за это не презирал. Все они поняли Эрика. И, кажется, полюбили, как бы сам он ни ненавидел себя.

Но до сих пор на него вдруг накатывает, он до спазм в горле себя ненавидит, за их доброжелательностью чует заговор, совместное старание скрыть, что его здесь всего-навсего терпят, жалеют. В такие минуты он не верит ни единому слову, ни единому жесту; ревниво и жадно всматривается в лица; и раздражается, может вспылить.

А Морис будто догадывается о его ревности, вечно норовит сгладить острые углы, нарочно при Джералде с Томми заговаривает о тех случаях, свидетелями которых были только они с Эриком, а Рэмсботтэмы не присутствовали. И если Джералд, скажем, станет слишком долго распространяться о шикарной машине, которую они собирают в надежде бог знает что на ней вытворять, машине, которая безумно интересует Мориса, тот все равно поскорей перебьет: "А помнишь, Эрик, как в пятницу ты сказал..." или еще что-то тому подобное.

Да, и никогда Мориса, кажется, не тяготит требовательность этой любви. И если его разговор с Рэмсботтэмами о женщинах вдруг возмутит Эрика (можно подумать, в школе вдоволь такого не понаслушался), потому что мучительно не вяжется с представлением о кузене, Морис мигом заметит. И оставшись наедине, тут же начнет странно рассыпаться в извинениях; на полном серьезе понесет, например, такое:

— Эрик, я ужасен, по-твоему? Я дико тебя раздражаю?

Ну что на такое ответишь?

Раз как-то он из-за ревности вел себя прямо неприлично — невозможный, ханжеский взрыв. Морис повторил непристойный лимерик, который, по мнению Эрика, кстати, был вполне ничего. Да, вполне ничего. Но эту прелесть принес на хвосте Джералд Рэмсботтэм. И Эрик, уже хлебнув унижений, потому что играл со всеми на лужайке в крикет и, как всегда, кошмарно, кошмарно, — вдруг потерял всякую власть над собой и на глазах у изумленной публики разорался в том смысле, что его тошнит, ему до смерти надоела вся эта пакость. Почти непредставимая сцена. Заикание ей положило предел. Он тотчас ринулся вон из сада и покатил домой, плача от ярости, слыша хохот Джералда за спиной. Поуспокоившись, он сам себя ужаснулся. Теперь, конечно, меня никогда больше не позовут в Гейтсли. Ясно как божий день.

Но уже назавтра, когда сидел у себя в глубочайшей тоске, вошла миссис Беддоуз и сообщила, что внизу, в прихожей, кузен, желает переговорить. Едва поверил своим глазам. Морис. Прикатил, явился ни с того ни с сего, без приглашения — вещь совершенно неслыханная. И пока Эрик, вступительно заикаясь, ломая себе голову, как бы, черт побери, извиниться, от полной беспомощности уже чуть ли не завизжал: "Пошел вон отсюда", Морис стал распинаться — как дико он огорчен тем, что вчера произошло, да как он надеется, что Эрик его простит — он вовсе не хотел его обидеть... он не нарочно... нет, правда... и так далее в том же духе. И Эрик не успел даже слова вставить, Морис уже закруглился, что, мол, если Эрик их и вправду простил, он непременно это должен доказать и сегодня явиться к чаю. Эрик пристально в него вглядывался, проверял, нет ли тут подковырки, насмешки, но Морис был безупречно серьезен. Очевидно, хоть и не вполне понимая, из-за

чего загорелся сыр-бор, решился любой ценой ублажить Эрика. И, конечно, он сам все это затеял, как доказало случайное замечание тети Мэри за чаем. Она понятия не имела о том, что Морис был в Холле. Ну а Эрик — что ему оставалось, что он мог тут сказать, — он и помалкивал, не возникал, и, хочешь не хочешь, как бы вжился в роль оскорбленной невинности.

После этого, ну и еще нескольких менее значительных случаев, Эрик понял, что есть что-то женственное в натуре Мориса. Нежный, как девочка. И все-таки этот стройный, с виду хрупкий мальчик не только вытворяет такое, на что Рэмсботтэмы никогда не осмелятся, он может и поиграть на их вполне себе толстых нервах. Не раз Джеральд невольно вскрикивал: "Да хватит тебе, Морис!" Они и сами, конечно, не прочь рискнуть, но он же прямо что-то безумное может выкинуть — пляшет по краю фабричной крыши, задом наперед съезжает на велосипеде с Бровки на всей скорости, или дурачится на пароме, делая вид, что вот сейчас, сейчас рванет на плотину. Дивно ловкий, невообразимо блистательный в теннисе, в крикете — хотя никакой не силач. Да Эрик бы за милую душу его уложил на обе лопатки. Зачем-то задирает Билли Хокса, Рэмсботтэмов, выводит их из себя, пока ему хорошенько не накостыляют. А потом, после визгов и стонов, только расхохочется, и — никакой обиды на мучителей, никакого конфуза из-за того, что сам оплошал.

Энн, конечно, не такая потрясающая, как Морис. Тихая. Тихо и точно собой заполняет картинку жизни кузенов и тети в маленьком доме, которую он для себя сложил — жизни существ изумительных, совершенно необычайных, одаренней, счастливей всех-всех. Уж такой он увидел жизнь Скривенов, уж в такую влюбился. Приятно представлять их себе, всех троих, у них дома, в любое время дня — аукаются из комнаты в комнату, носятся вверх-вниз по лестнице, снуют челноками, ткут свое бытие — плотное полотно, и такой завлекательной тайной в нем вспыхивают ниточки счастья.

Вечно в доме толчется народ. У тети Мэри в гостиной происходят собрания комитета. В столовой часто заседает другой комитет, или идет репетиция, но и тут не обходится без тети Мэри. Друзья Мориса собираются у него в комнате или разбредаются по саду. Энн принадлежит к обоим мирам сразу. Помогает на репетициях, заседает иногда в комитете, помогает по кухне — о качестве стряпни лучше умолчим, — штопает носки, а потом сбегает в сад, участвовать в теннисной партии. Всем мальчикам она нравится. Так изумительно себя ведет с Томми и Джеральдом, которые — дурачатся, может, — то и дело ее целуют. И внешне она очень даже ничего, хоть, конечно, не то чтобы в полном смысле слова хорошенькая. Волосы очень темные, как у Мориса, крутой лоб, великоватый для девочки, опущенные уголки глаз вдруг на миг придают ей мудрое, ми-

лое, мужское какое-то выраженье. Но вовсе она не изображает рубаху-парня. Не ведет себя с мальчишками запанибрата. На днях Билли Хокс, непонятно что на него нашло, вдруг придержал перед нею дверь, а она — она преспокойно проплыла вперед эдакой дамой. Эрик вдруг почувствовал легкий укол: взрослеем. Энн очень рано ушла из школы, потому — ему растолковали (без обиняков) — что тете Мэри не по карману было образование для двоих, а мальчику образованье важней. Морис уехал в хорошую закрытую школу, а Энн осталась помогать матери по хозяйству в Гейтсли.

Сегодня утром, на кладбище, Энн просила помочь с школьным пикником. Будет Морис. Нам кой-кого поручат. "И я хочу, чтоб ты за ним приглядел. Ты же знаешь Мориса. Еще в карьер их за собой потащит".

Значит, доверяют. Считают своим. Не видят во мне никаких таких роковых изъянов, не считают слегка ненормальным, не совсем здоровым. Глупость, конечно, но эти свои соображения он долго, с тонким удовольствием смаковал. О, вот если бы с ними жить, я распустился бы как цветок, прорвал бы свою гнусную оболочку, обрел бы уверенность, силу. И в эту минуту, при мысли: сейчас их увижу, жаркая волна счастья подкатила к сердцу; он весь задрожал от радости; привстал на педалях, гоня через парк. Не прошло и пяти минут, уже он подскакивал на брусчатке, заливаясь пронзительным свистом. Кое-кто озирался. Потом осенило: а вдруг узнают — хозяинова внучка, — многие же меня знают в лицо и диву даются, конечно, как можно так нестись по Чейпл-бридж и что есть мочи свистеть — в такой день. А вдруг даже догадываются, куда я еду. Он ужасно покраснел, сбавил скорость, но сразу опять наддал — скрыться от них, скрыться, скорей, скорей, вверх по крутой улице, мимо, мимо, школа, доктор, клуб Консерваторов.

Но еще мгновенье, и смущение как рукой сняло. В голове закружилось: хорошо бы стипендию получить для поступления в Кембридж, буду там упорно заниматься, стану доном, хотя бы, чтоб оправдать надежды, которые на меня возлагают Морис и Энн. Они же до того превозносят мои способности — может, конечно, притворяются просто. Как Морис ахал, когда речь зашла об экзаменах: "Ах, быть бы мне вроде тебя, Эрик", подлинные его слова. Да, придает уверенности, так и развоображаться недолго. Нет, я их не подведу, хоть в поте лица буду трудиться, буду ишачить, как негр. А что еще я могу, как мне быть, что же мне делать, чтоб от них не отстать, чтоб до них дотянуться.

Как-то раз, когда так вот катил к Скривенам, пришла в голову идея, которую потом пытался втиснуть в стихи. Чейпл-бридж и Гейтсли — два полюса магнита. Чейпл-бридж — голый асфальт, кирпичные дома, свою деревню, чистую, аккуратную, мертвую — назвал отрицательным полюсом. Гейтсли —

их деревня, так романтично раскинувшаяся в узкой долине, зернисто-серые, ладные домики среди пологих вересковых полей — полюс положительный. И когда гонишь от Чейпл-бридж к Гейтсли, от Гейтсли к Чейпл-бридж, ты как булавка, как металлическая пластинка, притягиваешься попеременно то одним, то другим полюсом. Тут-то стихи и запнулись, потому что, во-первых, не может никакая булавка метаться между двумя полюсами, к одному, к одному она полетит и прилипнет. И слово "магнит", во-вторых, — неуживчивое в сонете, требует отглагольных рифм, ну и Бог с ним. Но сама идея-то правильная, все равно ведь чувствуется что-то такое, пусть и не поддается столь точной формулировке, как бы хотелось. Когда катил в гору, к гидростанции, отрицательная тяга Чейпл-бридж еще держала, оттягивала, как помочи. Холл. Мама. Вся моя утрешняя грызь. Сам этот Военный мемориал. Но когда миновал гидростанцию, покатил дальше, в гору, до Грядки, поле притяжения Чейпл-бридж начало ослабевать. Все слабей оно, все слабей, и вот уж достигнут нейтральный пункт, ферма на последнем завое дороги. Еще несколько ярдов, еще чуть-чуть, и ощутится притяжение Гейтсли. Тетя Мэри. Энн, Морис тянут, уже тянут к себе — вот отчего так легко, и педали крутятся сами на последнем подъеме.

С Грядки ты можешь увидеть весь Чешир как на ладони — в ясный день аж до самых гор. По ночам Манчестер, Стокпорт и Хайд горстями сыплют огни в северо-западный мрак, и они мигают, эти огни, и дрожат в хлынувшем на холмы обломном воздушном ливне. А когда был снегопад, Киндер Скаут стоял страшный, одичалый, среди черных, оголившихся скал, под пустым серым небом. Как-то, был такой год, Обвал заледенел, сделался гигантской соской, и в ней отражалось багровое солнце. Каменные стены вдоль и поперек исчертили дикую, мрачную сторону, тянущуюся к Макклсфилдскому лесу и к Пику. Морис заделался большим специалистом по топографическим картам и, хоть и не забирался в особую даль, через несколько месяцев по приезде в Гейтсли ошарашивал Эрика, щеголяя такими названиями, каких тот отродясь не слыхивал: Гадючий Лог, Дикое Урочище, Брезг, Чертов Зуб. Тут, на Грядке, всегда прохладно; хотя в жаркой дымке мреет Чешир. На несколько мгновений можно спешиться с велосипеда; приятно так постоять, по одну сторону угадывая оброшенность пыльных просек, дорожных поломанных знаков, каменных заборов и ферм, а по другую — ослепительные пустыни площадей и трамвайных путей, и высокие фабрики, выводящие свои дымные росписи в небе.

Он снова вскочил в седло, помчал, помчал. Каменоломня, там белый вереск, рви не хочу; еще ферма; но теперь надо жать на тормоза, склон все круче; вдруг он завернул и — увидел внизу Гейтсли.

Самый край Грядки. Спуск тут очень крутой, деревья чуть не лежмя лежат, а по дну, через деревню, бежит дорога — зазеваешься, вмиг тебя раскроит мчащий на полной скорости автомобиль.

Через минуту я их увижу.

Через минуту я их увижу, повторил про себя, слез с велосипеда и замер. Проверенный номер: секундной оттяжкой обострить радость встречи, довести до совершенного счастья.

Пошел вниз — медленно, ведя велосипед за рога, пока не оказался в десяти шагах от калитки.

Стал виден весь их маленький сад, вон они, вон, все на лужайке. Джералд и Томми Рэмсботтэмы, и Эдвард Блейк тут как тут, и Морис, и Энн. Гоняют хоккейный мяч, не разделясь на команды, как ни попадя, наугад. Эдвард Блейк, в жилетке, совсем запыхался. Морис — любит при случае вырядиться — в неимоверно старой соломенной шляпе, сдвинутой на затылок, и ужасно она ему велика.

А вот и тетя Мэри с Рэмсботтэмом, выходят из гостиной одновременно через стеклянные двери. Она курит, смотрит на них, прижимая охапку бумаг к груди. Эдвард Блейк ей салютует хоккейной клюшкой. Морис, скача в бликах солнца, хватает мяч и со всей силы запускает на забор в тылу сада. Его восторженный вопль "О, Х-хосподи!" эхом раскатывается над Грядкой. Энн кричит: "Идиот!"

Все бросаются изучать протори. Громкий рык Джералда: "Тот еще мяч!" Зато Томми, более благонравный из братьев, подходит к тете Мэри успокоить, все, мол, в порядке. "Одна досточка всего-навсего, миссис Скривен". Тетя Мэри, с улыбкой, что-то говорит в ответ. Потом поворачивается и уходит в дом, Рэмсботтэм за ней. Морис начинает балансировать клюшкой на подбородке. Эдвард Блейк подкрадывается к нему со спины, подставляет ножку. "А! Вы так, — кричит Морис, — вы так!" И пинает Эдварда Блейка в ляжку. Оба прыгают, трясутся, стоя друг против друга, делая вид, что сейчас ринутся в бой. "Мир! — кричит Морис. — Мир! О! Хотя, свинтус вы истинный, вы сами начали!" Тут начинают задираться Джералд с Томми. А в следующий миг все снова мирно сосредоточиваются на игре.

Эрик повернулся и тихо покатил велосипед по изволоку. Его не заметили. И стало уже казаться, что вовсе и не собирался сегодня к тете Мэри, просто решил на них на всех поглядеть, и всё, удостовериться, что они тут как тут, как себе их и представлял, на лужке. Всю ревность, всю зависть к Эдварду Блейку, к Джералду, к Томми — как рукой сняло. Даже хорошо, что и они оказались здесь, помогли заполнить картинку. Будто что-то кончилось, завершилось, и можно теперь вернуться домой, в Холл. За чаем увижу маму, буду с ней внимательным, добрым, чутким, как еще никогда не бывал.

А тетю Мэри в конце концов я же в понедельник увижу.

Скатываясь без руля к Чейпл-бридж, он был совершенно спокоен, он был почти счастлив, и чуть ли не с облегчением снова полностью отдавался притяжению отрицательного полюса.

Книга третья
1925

I

— Ага, — сказал Джералд Рэмсботтэм, — завтра ее выгоняю, без дураков.

Развалился, почти лег, и мощные ляжки выпирали, как опоры моста, обтянутые агрессивно клетчатым твидом. Золотые часы стали крошечными и сверхэлегантными на красном, здоровенном запястье.

— Зажигание хреновое, — Фарнкомб выбил трубку о чугун камина.

— Туго разгоняется, жуть, — вставил Монти.

— А ты такую американскую машину видал, чтоб хорошо разгонялась? — спросил Хьюз.

Морис посмотрел на них сверху вниз с каминной ограды, на которой стоял, теребя за кончик проволоки то, что было когда-то дросселем мотоцикла.

— "Мун", у Тедди, например, — сказал Морис.

— О, это тачка шикарная, будь здоров, — убежденно скрепил Фарнкомб. — Ей-богу, Джералд, посмотрел бы ты, как она прям с места пуляет.

— Даже сам не знаю почему, — вставил Хьюз, — но вот не нравятся мне у этих янки машины.

Джералд Рэмсботтэм зевнул, потянулся:

— А "бруг" этот видал — вчера вечером, возле Тринити на углу?

— Ага, — сказал Фарнкомб. — Восьмиместный.

— Восьмиместных "бругов" не бывает в природе, — сказал Хьюз.

— Свежие модели бывают.

— Спорим, не бывает.

— На сколько?

— Ни на сколько, — Хьюз зевнул. — А который час?

Джералд глянул на свои золотые часы:

— Без четверти двенадцать.

— Хоссподи! — ахнул Морис. — Мне ж в двенадцать к тутору.

— А у меня лекция, — сказал Фарнкомб, — если не смоюсь.

— Но ты дашь мне сочинение сдуть, а, лапка? — затревожился Морис.

— У меня в комнате лежит, если тебе надо, — бросил Фарнкомб.

— Спасибо тебе грандиозное.

Поднялись лениво, позевывая.

— А с чего это тебя Джимми требует? — поинтересовался Хьюз.

— Из-за субботы, — Морис скорчил гримаску.

— И много ему известно, как думаешь?

— То-то и оно. Понятия не имею.

— Небось, девчонка раскололась.

— Ну уж нет. Она б работу потеряла.

— Тогда, значит, старая сука.

— Она ж нас не видала в курятнике.

— Зато она курятник видала после того, как мы там побывали.

— Ты прямо как сумасшедший завелся, — сказал Фарнкомб.

Морис хмыкнул.

— Они так мило выглядели со связанными головками, прелесть!

— Едва ли ей так показалось.

— Ну, им это нисколько не повредило.

— Зато здорово повредило гостиной.

— А пусть она еще, между прочим, докажет, — сказал Джеральд.

— Опасаюсь, что Джимми особых доказательств домогаться не станет, — сказал Хьюз. — Скушает и косвенные улики.

— Нет справедливости в этом колледже, — вздохнул Морис.

— Скажи спасибо, что ее нет, мальчик мой. Будь здесь справедливость, тебя бы после первого же семестра вытурили.

Морис хмыкнул, польщенный. Подошел к шкафу, сдернул с крюка плащ и шапочку. Твердая четырехуголка давно потеряла нутро. Обвисла, как ночной колпак.

— Джимми со мной прямо шелковый, — похвастался Морис. — Ну пока, ребятки. Не уходите. Я мигом.

И все же что-то его точило слегка, пока спускался по лестнице на Сильвер-стрит — не забыл сунуть голову в гостиную хозяйки, кинуть на ходу: "Доброе утро, миссис Браун. Как ваша киска?" — это очень важный пункт, хорошие отношения с хозяйкой, тем более, миссис Браун пару раз пошла на риск, не донесла, что только под утро вернулся из Лондона, не имея разрешения на отлучку. Спеша к своему колледжу, все гадал, что́ Джимми известно — и что тот сможет проглотить, не поморщившись. Мысль вертелась вокруг прежних скандалов. Самый первый — в первый семестр — разразился, когда воздушную торпеду взорвал под ногами у Роберта в ночь Гая Фокса. Этот Роберт обгорел кошмарно, и, конечно, поднялся дикий шум. Пришлось тащиться, объясняться с весьма важным официальным лицом, правда, лицо в результате пригласило Мо-

риса на обед. Потом — авария эта, в прошлом году, на Нью-Маркет-роуд, Стюарда Бейна — насмерть, пришлось потом на допрос являться. Ужас. Ожидал невесть чего, вплоть до обвинения в преднамеренном убийстве, но обошлось, обошлось, только Жоржа, беднягу, он-то, собственно, был ни при чем, того вытурили. Шум поднимался и по менее значительным поводам, в общем, по пустякам. Лодку к тылам пригнали с отцепленным мотором, затопили плоскодонку — шум. В комнате Хьюза после дня рожденья костер развели — шум. И вечные скандалы из-за счетов. Кембриджские продавцы, как сговорились, все норовят на тебя наябедничать тутору.

Ох уж эти счета, так про них неохота думать! Особенно, когда совершенно запутался, буквально приперт к стенке. В гараже не желают, видите ли, больше терпеть. Эти всегда отвратней всех. Портной — ну, это чепухенция, несерьезно. В магазине пластинок все можно уладить. Одному Богу известно, что скажет мать по поводу долга в кладовку. А, да от нее все равно в этом семестре денег никаких не дождешься. И так уже в лепешку расшиблась, выложилась, что говорить. Энн давным-давно не дает взаймы — железно. И Фарнкомбу дико задолжал, и Джералду Рэмсботтэму, хотя, с другой стороны, неужели Джералда от такой ерунды убудет. Но, как ни крути, все источники на данный момент иссякли.

Да, придется Эдварду Блейку телеграмму послать, пусть на несколько дней приезжает. Письмо-то уж послано, но тут где сядешь, там и слезешь, на письма Эдвард не реагирует. Не тот случай. А ведь важно, чтоб он срочно прикатил. Сегодня же телеграмму пошлю, решил Морис, на обратном пути от Джимми. Конечно, Эдвард сумеет, Эдвард, он выручит. Слова "заплатит" Морис избегал даже в мыслях. Неприятно считать себя вымогателем, попрошайкой. Но у Эдварда же денег куры не клюют, и он их так швыряет, ими сорит, не считает буквально — а мысль о деньгах все-таки греет, греет, как тепленький такой огонек. И приятно быть к огоньку поближе. Уж скорей бы здесь оказался Эдвард.

Он пересек двор колледжа, поднялся по лестнице к кабинету Джимми. Постучался. Секретарша открыла. Сияющая, как всегда.

— Придется минуточку подождать.

Морис сел с легким вздохом, уныло помня о том, как у него порван плащ. У Джимми манера — морить человека в прихожей. Наконец секретарша возникла из кабинетных недр.

— Входите, пожалуйста.

Постучался. Голос Джимми неприветливо звякнул:

— Войдите.

И, уж конечно, он был страшно занят, писал. Так страшно занят, что чуть ли не минуту целую не соблаговолил поднять взгляд.

— Садитесь, мистер Скривен.

И он сел, сел на краешек стула и ждал, пока Джимми переберет кой-какие бумаги, кое-что промакнет, кое-что подмахнет, потом, наконец, снимет очки в роговой оправе и протрет шелковым носовым платком. Морис рассеянно оглядывал кабинет: знакомые книжные полки, а вот и кубок на каминной полке, на котором так часто уютно покоится взгляд, пока Джимми в тебя выпускает не слишком острые стрелы сарказма, и приходится терпеливо ждать приговора — столько-то недель невылазно на территории колледжа, столько-то фунтов штрафа или просто предупреждение. В глаза Мориса уже безотчетно вступало то выражение несправедливо обиженной, но кроткой невинности, с какой вот сейчас надо будет сказать: "Да, сэр, я понимаю. Спасибо вам, сэр. До свидания, сэр".

Наконец, Джимми управился с прелюдиями.

— Итак, мистер Скривен, полагаю, вы и сами догадываетесь, зачем я вас вызвал. Речь идет о происшествии в Хантингдоне в прошлую субботу.

— Да, сэр? — сама преданность.

— Я вам не предлагаю углубляться в детали показаний, страдают они преувеличениями или нет. Я только хочу вам сообщить следующее: Глава колледжа, и декан, и я обсудили все это дело и пришли к общему выводу, что подобным вещам в конце концов должен быть полагаем предел — поняли вы меня?

— Да, сэр. — Дело попахивало керосином, зато можно было больше не врать, и на том спасибо. Совершенно же непонятно, что тут можно ответить.

— Надо ли напоминать вам о других происшествиях подобного рода? — легкая улыбка скользнула по губам Джимми, но тотчас он опять посуровел. — Не будем сводить старые счеты. Я хочу только вас предупредить — снова снял эти свои очки, — что, если против вас поступят еще обвинения, существенные, нет ли, неважно, Глава колледжа будет вынужден вас исключить.

— Да, сэр, я вполне понимаю.

— Что касается возмещения ущерба, дело удалось уладить. Я переговорил с заинтересованной дамой и, скажите мне спасибо, она согласилась на пятнадцать фунтов.

— Да, сэр.

Повисла долгая пауза. Джимми пыхнул пискнувшей трубкой.

— Скажи мне, Морис, и зачем ты все это творишь?

— Сам не знаю, сэр.

Джимми встал, медленно подошел к камину.

— Я просто отказываюсь понимать.

Тикали часы.

— Каждый идиот может таким образом убивать здесь время. Но вам-то зачем?

Морис слегка повозил одной ногой.

— Знаете ли вы, что ваша карьера в нашем колледже стала одним из самых крупных разочарований, какие мне выпали за пятнадцать лет?

Часы тикали немыслимо громко.

— Вы могли бы сделать для колледжа больше любого другого студента на вашем курсе. Интресно, сами-то вы это хоть понимаете?

Морис шаркал другой ногой, пока носы ботинок не встали вровень.

— И я не только про колледж думаю. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом о том, что с вами будет, когда вас отсюда выпустят? На какое место в жизни рассчитываете? Предполагаете всю жизнь блефовать и порхать? Не получится.

— Да, сэр, — едва слышно сказал Морис. Джимми выбивал трубку.

— Когда вы отсюда выйдете, вам придется основательно перестроиться. Если сможете. Если сможете.

— Да, сэр.

Часы тикали, тикали. Джимми чем-то маленьким, острым ковырял в своей трубке:

— Ну вот. Это все, что я хотел сказать.

Морис не сразу вскочил на ноги.

— Спасибо большое, сэр, что выручили насчет ущерба.

Джимми был явно польщен. Сказал:

— Если вы постараетесь, чтоб этот семестр побольше отличался от всех предыдущих, лучшей формы благодарности мне от вас и не надо.

— Да, сэр. Уж я постараюсь.

Морис перемахнул лестницу, перебежал через двор. Ух, обошлось, обошлось, легче даже, чем можно было рассчитывать. Джимми сегодня в духах. Одно погано — эти пятнадцать фунтов. Ну откуда, откуда интересно их взять? Предположим, из Джералда можно выжать половину — ничего, его не убудет. Но все равно, все равно — нет, ясное дело, надо срочно телеграфировать Эдварду. И стоит, наверно, вставить "ответ оплачен". Но это два шиллинга. Однако. В кармане только фунт, до вечера неохота разменивать. А-а, вот и швейцар у ворот, очень кстати, в своем цилиндре. Морис направил к нему стопы.

— О, Брум, любезнейший, не подбросите две монетки до вечера?

— При мне всего один шиллинг, уж извините, мистер Скривен.

— И сойдет, и прелестно, и дивно — а, была не была, предположим Эдвард и поленится отвечать, все равно — почему не рискнуть.

* * *

В этот семестр во второй половине дня Морис всегда томится. Вот уже полтора года, как доктор не допускает к играм. Сердце стало барахлить, считается, после той мотоциклетной аварии. Сам-то он ничего такого не замечает. Но тоска зеленая буквально, потому что Джералд Рэмсботтэм играет в регби, Хьюз и Монти в теннис, Фарнкомб занимается греблей; и очень часто между обедом и чаем приходится торчать одному. А одиночество для Мориса нож острый, мука мученическая даже и на минуту.

Постоял возле Холла, прикидывая, что теперь предпринять. Иногда в эту пору дня, смутная, как неприятный запах, подкрадывается мысль о занятиях. Он теперь ни черта не делает, аж с прошлого лета. Правда, дважды в семестр бывают эти контрольные, но изготовить пару шпаргалок раз плюнуть, подумаешь, дело большое. Ну а сочинения — ах да, надо же к Фарнкомбу зайти, это сочинение взять. Хотя сдувать сочинение в одиночестве — такая тоска. То ли дело, когда сам под мухой и вокруг толчется народ.

Ну вот, значит, остается граммофонная лавка. Умней всего — убить там остаток унылого весеннего дня, в звуконепроницаемом кабинете запуская десятки пластинок, чтоб потом купить одну-две — эти люди отличаются прелестным долготерпением. И знакомых там почти наверняка встретишь. Половина Кембриджа, слава Богу, знакомых.

* * *

В полпятого комната Мориса уже ломилась от гостей. И Морис к ним ворвался, веселый, помахивая пакетом пирожных и пластинками, которые прикупил.

— Приветик, ребятки! — он крикнул, морща обычно бледное лицо восхищенной улыбкой и так покраснев, что даже жилы выступили на висках. — И эта старая сука вам до сих пор чаю подать не могла?

Так приятно их всех видеть, и они же в ответ сияют, как почти все сияют почти всегда, стоит появиться Морису. Завели граммофон; и, когда хозяйка явилась с чайным подносом, Морис повис у нее на шее.

— Миссис Браун, дорогуша, нельзя ли нам еще одну малюсенькую чашечку, а?

— Ах, да пустите же вы меня, мистер Скривен. Я все из-за вас уроню!

— Ах, миссис Браун, вы прямо изумительная!

За чаем Фарнкомб и еще кое-кто рассуждали о футболе, гребле, актрисах, машинах. Морис, заняв свою любимую позицию на краю каминной решетки, слушал серьезно минуту-дру-

гую, больше он не в состоянии. И хотя обсуждались достоинства "роллс-ройса", он вдруг перебил разговор, вздумав бросать бумажными шариками в новую мраморную безобразную лампу в красных прожилках — новейшую гордость миссис Браун. Потом схватил с каминной полки мячик для гольфа, прицелился. Все расхохотались, когда он судорожно, с облегчением выдохнул: лампа не разбилась. Ободренный, Морис схватил у себя со стола стеклянное пресс-папье, взвесил на руке, и, затаив дыхание, осторожненько запустил в лампу. И метко — лампа разбилась вдребезги.

— О, господи! — охнул Морис.

Все дружно кинулись собирать осколки, поскорей, пока не застукала миссис Браун.

— Что-то я, по-моему, шум слыхала, мистер Скривен. Надеюсь, ничего не разбито?

— А вы что-нибудь разбитое видите, миссис Браун? Видите?

Миссис Браун старательно озирается, и каждое ее движение, давясь хохотом, копируют все присутствующие. В первую минуту она действительно ничего не заметила. Потом до нее дошло:

— О, мистер Скривен! И как вам только не стыдно! Моя изумительная новая лампа!

— Ах, миссис Браун, вы уж простите, простите меня великодушно! Ну прямо понятия не имею, и как это произошло. Может, у нее одна какая-то цепочечка отказала?

— И надо же — только позавчера куплена!

— Знаю, миссис Браун, знаю. Ужасный случай. Но у вас будет новая, точно такая же. Мы вам, миссис Браун, купим точно такую же лампу, ведь правда, ребятки? Есть у кого-нибудь фунт?

Никто из испытанных друзей Мориса не отвечает конечно, но Карри со второго курса, который недостаточно знает Мориса, с готовностью выкладывает деньги.

— Спасибо тебе грандиозное, лапка. Я завтра же первым делом отдам.

— Ах, мне не к спеху, — бормочет Карри в восторге, что удружил Морису.

Миссис Браун ретировалась, частично утешенная.

— Ты, видно, совсем уже идиот, — мрачно заметил Фарнкомб.

Морис, кажется, окончательно сник. Затих на минуту-другую. Но едва опять закипает беседа, граммофон, вдруг взвизгнув, завывает — длинно, протяжно, неистово. Как-то Морис над ним втихую поколдовал. Пластинка вертится на скорости, в несколько раз превышающей самую большую нормальную скорость. Дружный хохот. Морис в восторге заливается тоже. Ах, до чего же это приятно — вызывать дружный смех!

* * *

За общим ужином в зале Морис совсем разошелся. Опрокинул пару вермутов и джина в кладовке. Даже глоток алкоголя его заводит. Иной раз, можно сказать, и взгляда хватает. А в дежурке лежит телеграмма от Эдварда:

— Буду завтра днем.

Какая роскошь!

Сидеть на своем любимом месте, озирать весь зал, тянуть шею, чтоб перемигнуться с друзьями, им помахать рукой, бросать хлебными шариками в официантов; корябать записочки, которые потом гуляют по рукам, ловить ответы; задираться с Хьюзом и Джералдом Рэмсботтэмом, в результате оказываясь под столом; то и дело поглядывать в сторону донов, убеждаться, что те ничего не заметили — на то и дан человеку ужин, и сегодня Морис в своем репертуаре.

— А вечером что будем делать, детка?

— Тачку, наверно, проветрить надо, — сказал Джералд.

Приятный ответ. Так Морис и знал, что Джералд это скажет. Еще за чаем он выяснил, что у нового друга, у Карри, тоже машина — "санбим" притом. Видно, денег куры не клюют. И когда Морис вскользь предложил всем вместе как-нибудь покататься, Карри так и подпрыгнул. Морис, кстати, его уже пригласил зайти вечерком сегодня на чашечку кофе.

— И еще кой-кого прихватим, а, лапка?

— Точно, — сказал Джералд.

Карри оказался покладистым, идеально. Выпили еще по маленькой и отправились в гараж за машинами.

Игра в прятки сразу отпала: мало народу. Решили прошвырнуться немножко. Морис влез за Карри в "санбим" вместе с Фарнкомбом и Хьюзом. Джералд Рэмсботтэм взял к себе Монти.

— Куда рванем? — задумался Джералд.

— Скатаем туда-обратно, — постановил Морис.

И рванули, и скользнули за угол церкви, и успели заметить инспектора, на своем "ролс-ройсе" поспешавшего к театру, — Морис ему помахал, — и мимо станции, мимо, мимо, во тьму.

"Санбим" был могучий, но очень скоро сделалось очевидно, что Карри не слишком ловкий водитель. Весь раздергался, когда Джералд его догнал и дальше помчали вровень, выжимая чуть не по шестьдесят. Морис орал и визжал от восторга. Фарнкомб на него шикнул:

— Тише ты, еще подумают, что это женская школа возвращается домой с пикника.

Врубались в какие-то заросли, вихляли, кружили, а потом Карри сказал, что окончательно заблудился. Но Джералд и Морис дорогу знали. Они всю округу знали, как свои пять пальцев.

Вырулили на шоссе, настигли одинокий телефон-автомат. Морис решил позвонить Джимми. И позвонил бы, если бы Хьюз с Фарнкомбом не оттащили.

— Ты сегодня совсем чокнутый, — сказал Хьюз.

Когда пролетали какой-то сонной деревней, где попадались, правда, еще кой-какие прохожие, Морис вдруг перелез через ветровое стекло, открыл капот, добрался до педали управления газом. И давай дергать вверх-вниз. Машина продвигалась судорожными скачками. За деревней шоссе под прямым углом сворачивало на высокий арочный мост. За поворот махнули на бешеной скорости — чудо, как только выдержала задняя ось? Морис скорчился, как мартышка, и волосы у него полоскались на ветру. Карри перепугался донельзя, но не мог совладать с управлением, сбавить скорость. Он пытался все превратить в шутку. Это Фарнкомб заорал:

— Чертенок проклятый!

Морис снова забрался в машину, на время затих.

— Ты на меня не сердишься, лапка? — он приставал к Карри.

— Делать людям нечего, — огрызнулся Фарнкомб, — на такую мартышку сердиться?

— Давай, сзади садись, — сказал Хьюз, — подальше от греха.

Морис с Фарнкомбом поменялись местами. И вдруг Карри спросил у Фарнкомба, не хочет ли тот порулить. Огорчился, что разлучили его с Морисом.

Скоро Морис затеял новую игру. Выудил из кармана какую-то старую пробку, моток бечевки. Еще секунда, и пробка запрыгала за автомобилем. Они шли впереди. Морис выпускал, выпускал бечевку, пока пробка, наконец, не стала скакать перед самым носом у Джералда. Джералд рванул, чтоб ее обогнать. Морис, визжа от восторга, сидя на кожухе, играл пробкой, и пробка скакала, пробка металась от одной обочины до другой. Вдруг Хьюз заорал: "Берегись!" По шоссе мчался велосипедист. Пробка взметнулась — и угодила между спицами заднего велосипедного колеса. Морис отпустил всю бечевку — слишком поздно. Велосипедист вильнул, чуть не попал под колеса к Джералду — у того не осталось ни места, ни времени для маневра. Матерясь, бедняга рухнул в канаву. Джералд выключил все фары, и они исчезли за поворотом.

Когда Фарнкомб очухался и сообразил, что же произошло, он поинтересовался у Мориса, неужели тот хочет, чтобы их всех повесили.

— Сам виноват, — сказал Хьюз, — за ним не уследил.

Зато Карри безумно понравилась шутка.

— В жизни так не хохотал, — он потом признавался Морису.

Наконец добрались до того места, где стоял старый указатель — столб о двух стрелках. Названий было уже не разобрать.

— И какой с него теперь толк, — сказал Хьюз.

— А мы с собой его возьмем, — решил Морис.

Под взрывы хохота вскопали землю гаечными ключами, то раскачивая, то подергивая столб. Совместными усилиями наконец удалось его выдернуть.

— Как бы он чистенькую, миленькую машину тебе не вымазал, — сказал Морис.

— Подумаешь! — сказал Карри. Ему был сейчас сам черт не брат.

Всю дорогу обратно к Кембриджу обсуждали, куда девать указатель. Только к Морису, к кому же еще. Придется втащить в окно. Ничего, время позднее. Вокруг почти никого. Морис взялся за верх, Фарнкомб за середину, Хьюз придерживал столб снизу. Он был завернут в тряпье.

Только одного человека и встретили — выпускника — на пути от машины к подъезду. Когда он с ними поравнялся, Морис крикнул:

— Да это ж Эрик! Привет! Ты откуда такой взялся? Тебя что-то давно не видно.

Эрик, слегка улыбнувшись, очень трезвый, ответил:

— Я тут ужинал с одним доном.

— Какая роскошь! — Морис захохотал. — А послушай, душа моя, когда я-то тебя увижу?

Морис сам толком не знал, и почему это у него выскочило. Но никогда он не мог удержаться не пригласить человека.

— А знаешь что? Приходи ко мне завтра обедать.

Эрик, кажется, искал отговорок.

— И без никаких, слышишь?

Эрик улыбнулся:

— Хорошо. Спасибо.

— Вот и дивно. В полвторого. И Эдвард Блейк будет.

Помолчали. Эрик спросил:

— А что это у вас тут такое?

Морис отогнул край тряпки.

— Неизвестный Солдат. Только начальству ни-ни, а, лапка?

— Нет-нет, никому не скажу. Спокойной ночи.

— Это и есть твой кузен? — спросил Фарнкомб, когда Эрик ушел.

— Да.

— Не очень-то на тебя похож, а?

— Непохож, — сказал Морис. — Не повезло. Но он самый башковитый человек во всем Кембридже.

II

Боже ты мой, думал Эрик, из окна своей большой, темной, пустой комнаты глядя во двор колледжа, где вот как раз из ка-

ких-то недр вылез тутор, в сосредоточенной беседе с деканом, облаченным по случаю партии тенниса в шорты; трое молодых людей болтают, перебросив через плечи плащи; слуга несется с парой чьих-то ботинок — о, как же я это все ненавижу!

Стоя так, он окутывал, он одевал их всех своей ненавистью — тонно-остроумных донов, плетущих легенды о Прусте; задушевных юных невротиков, строчащих друг дружке письма по десять страниц во объяснение своего поведения на вчерашней попойке; местных спортсменов, рвущихся между хорошенькими продавщицами, покером и университетским крикетом; посыльных, сплошь тающих от подобострастия ко всем этим богатым кретинам; уборщиков, вороватых, болтливых хамов, хлещущих виски своих джентльменов, сколько влезет, и так провонявших, что даже в их отсутствие носа к ним не сунешь в чулан. Будь моя воля, думал Эрик, отдал бы я приказ — и Круглая церковь, Тринити-холл, Главная библиотека и десятки других всемирно прославленных несравненно-архитектурных кладовок, забитых бесценным хламом, взлетели б на воздух от мощного динамитного взрыва, а юных джентльменов в шелках и милейших старых профессоров штыками повытурили бы из шикарных академических апартаментов. И вернулся бы Кембридж к своему исконному статусу — захудалого торгового городишки, и толклись бы тут коммивояжеры, аукционщики, скототорговцы, разжалованные жокеи и прочие завсегдатаи кабаков — кислое племя неудачников, пьянствующих, бьющихся об заклад, с больными легкими и ревматизмом из-за болотистой местности. Туда и дорога.

Ладно, пойду я, не пойду, все равно, он же знает, что́ я о нем думаю. В Лондоне на прошлых каникулах я очень определенно высказался. И Морис как будто вполне проникся. Да, Эрик, да, я понимаю. Да-да, по-моему, ты абсолютно прав. Спасибо тебе колоссальное, что сказал.

Будь на месте Мориса любой другой, получилось бы намеренное оскорбление. Но Морис в жизни своей никого не оскорбил. Он не может, он не умеет. Просто он, как всегда, был бездумен и невнимателен, как дитя.

А как надоели мне эти дети. Все здесь дети — милые, веселые мальчики-переростки. Такие открытые, резвые и наивные. У Мориса хоть выходит лучше, чем у других. Как-то натуральней, что ли. Все равно — надоело, осатанело.

Вообще, та поездка в Лондон на прошлых каникулах была сокрушительным, жутким провалом. А ведь мечтал, предвкушал весь последний семестр. Хотелось сбежать подальше от Чейплбридж, от всей этой обстановки в Холле. Дохнуть прежней атмосферой Гейтсли.

Куда там. Дом тети Мэри у конюшен, кажется, ничего общего не имеет с ее старым домом. И даже Рэмсботтэмы, даже

Билли Хокс имеют, кажется, больший успех у новых ломучих приятельниц тети Мэри в этих их черных громадных шляпах. Ну, сама-то тетя Мэри все та же, конечно. И Энн. Только говорят обе на каком-то новом, птичьем языке. Как-то они стерлись, что ли; уже не такие особенные. Утратили крепость, что ли.

Только Морис один, как бы это поточней сформулировать, ну что ли, не стал лондонцем. Морис не пострадал от трансплантации. Потому и возникла мысль, что стоит сказать то, что тогда было сказано. Разумеется — о, еще бы! — имена никакие не были названы. Но даже Морис, конечно, не так туп — нет-нет, тут никуда не денешься, Морис, естественно, вполне точно понял, кто имелся в виду.

И вот вам результат — приглашение на обед.

* * *

Холл Эрик ненавидел. Иногда просто задыхался в этом Холле, будто его душат.

— Когда он будет мой, — говорил матери, — я его снесу.

Лили не ужасалась — видимо, не очень-то верила. А раз так — ну что ж, хорошо, — он пускался в рассуждения о коммунизме, цитировал Ленина, назидательно толковал о трущобах Манчестера:

— Мы не имеем права жить здесь, когда столько людей голодает.

Но она ничего — не спорила. Приходилось дальше ее подначивать:

— А я знаю, что я сделаю. Отдам землю этой корпорации, под образцовую деревню.

Она отвечала:

— Просто не знаю, что бы я делала, если бы что-то случилось с Холлом.

Значит, абсолютно не слышала слов, только тон уловила, желанье обидеть. Эта ее вялая печаль его приводила в бешенство.

— Этот дом тебе дороже людей.

Она только и отвечала с настойчивой грустью:

— Он дорог мне тем, что напоминает о времени, когда я была счастлива.

Так и жили, вместе, в медленно ветшающем доме, одни во всем мире, потому что Дед теперь стал до того коматозен, что не назовешь ни живым ни мертвым, а миссис Поттс и миссис Беддоуз держались на почтительном расстоянии — одни-одинешеньки, без Гейтсли, без Скривенов, медленно изводя друг друга, терзая друг другу нервы.

Бывали просветы, когда даже обсуждал с ней создавшееся положение, стараясь разложить все по полочкам, быть строго объективным. Бойко обобщал:

— Всюду одно и то же. Родители не ладят с детьми. Такова человеческая природа.

Вот интересно, не явилась ли тут обоим одновременно мысль о тете Мэри? Но Лили просто сидела с мокрыми глазами и трясла головой:

— Все это выше моего понимания. По-моему, наше поколение вообще такими вопросами не задавалось.

— Но мама, ты же сама видишь, так дальше продолжаться не может. Что нам делать?

— Ты знаешь, детка, я одного хочу, чтобы ты был счастлив. Делай то, что считаешь нужным.

Нет, она не пойдет навстречу. Не уступит ни пяди.

Как, между прочим, и я.

— Вечно ты споришь, — сказала она как-то.

— Я терпеть не могу спорить.

Ах, ее нежно-ироническая усмешка! Взорвался нелепо, абсурдно:

— Я терпеть не могу спорить, потому что я всегда прав.

Ужасно, ужасно. И ведь стало привычкой, вошло в обиход. Не оставалось, кажется, ни единой темы, какой можно коснуться без риска. И всегда, всегда, уж потом это понял, сам был во всем виноват. Эта грубость, взгляд свысока. Она была мягка, непреклонна. Будто и не спорила вовсе — просто с брезгливой миной вяло поддерживала разговор. Еще в пору заиканья, когда только начал ее поучать, как терпеливо она пережидала, пока он задыхался, хватал губами воздух, багровея, ярясь на свою увечность.

Ничего, он за все расплатился сполна, с лихвой, он достаточно перестрадал. Угрызения совести истерзали. Дневник был полон обещаний исправиться, прекратить эти жалкие перепалки. Конечно, часто из мухи делал слона. "Опять *чудовищная* сцена за завтраком", — регулярная запись. Говорил себе: а что бы сказал отец? Отец, оставивший ее на моем попечении, предположим, вдруг восстал бы из гроба, ну оказалось бы, вовсе и не убит, лежал, контуженный, неопознанный, где-то у черта на рогах, в лазарете — и вот снова обрел память? Неотступный ночной кошмар. Отец возвращается и видит, что два человека, которых он так любил, которые раньше так сильно любили друг друга, ведут эту скверную мелкую жизнь. Эрик думал: да я бы застрелился, я бы умер со стыда.

И такое существование продолжается, и нет никакого просвета. И на обоих напала жуткая какая-то легкость — притерпелись, смирились. И тут только стало до него доходить, что мученья рапределяются вовсе не поровну. Мать, да, теперь это ясно, вовсе не так мучительно воспринимает трения. Часто она, кажется, даже не сознает, что закрепленная потом в дневнике "чудовищная сцена", вообще имела место. И нельзя не заметить, что чувства ее огрубели, затупились — Боже мой, ка-

кая тоска! Может огрызнуться, вовсе не замечая, что подает повод к ссоре. И вот это — мое отражение в ней, как в зеркале, — вот это больше всего остального и мучит.

Бывали и серьезные ссоры, бывали конечно. Эти ссоры ранили, и раны не могли затянуться, ежедневно вскрываясь от банальностей, от злых замечаний.

Как-то раз усталый пришел домой и обнаружил у себя в спальне сомнительную книжицу — "Миссис Эдди". Был в диком, нелепом, обидчивом настроении. Вспомнил материнскую приятельницу, которую не терпел, некую мисс Прендергаст. Сразу вообразил низкий заговор с целью распропагандировать исподтишка. Решительно ворвался к матери:

— Как эта книга попала ко мне в комнату?

— Что за книга, детка?

— Эта. — Швырнул книжонку к ней на диван.

Ее покоробила грубость. Ответила уже холодней:

— Видно, я по ошибке оставила.

— Так она твоя?

— Книга принадлежит мисс Прендергаст.

— Ну и пусть она держит ее при себе.

— Она мне дала почитать, — сказала Лили. — Очень интересная книга.

Не выдержал, крикнул со свирепой издевкой:

— Я-то думал, ты такая заядлая протестантка!

— Это мне не мешает прислушиваться к тому, что могут сказать другие.

— Считаешь, каждой религией не грех побаловаться?

— Я считаю, не грех быть терпимыми.

— Не очень-то вы, протестанты, терпимы к католикам.

— Вы, протестанты, — она не сдержала улыбки. — Ну а кто же ты у нас, детка?

— Неважно, кто я. Я — ат... — но нелепое слово не выговорилось. Бешено повернулся, отчаянно махнул рукой.

— Я ни во что не верю.

Как серьезно она это приняла, слегка ошарашила даже, ведь ждал насмешки.

Она ответила:

— Но ты же, конечно, не против того, чтобы разные люди по-разному видели Истину?

— Ты не поняла. Нет, я именно против. Потому что никакая это не Истина. Я не терплю религию. Я ее презираю. Все религии скверны. А религиозные люди — либо идиоты, либо ханжи.

Вот! Наконец-то выговорил. Но она ответила с ледяным достоинством:

— Если у тебя такие чувства, не понимаю, зачем ты ходишь со мной в церковь по воскресеньям.

— Хожу с тобой за компанию. Больше не буду — если тебе так лучше.

— Мне лучше, чтоб ты оставался дома.

На этом собеседование закончилось. Вечером, зайдя к ней, застал в слезах. Произошло примирение. Молил прощения за грубость. Были поцелуи. Ночью, в постели, потом весь следующий день перебирал собственные слова. И хотя терзался раскаянием, почти нестерпимо терзался, из-за того что так с ней себя вел, не мог взять назад, даже в душе, ни единого сказанного о религии слова. Ну просто высказал наконец все, что накипало годами. Когда настало воскресенье, он, тем не менее, был готов пойти с матерью в церковь, если позовет. Очень хотелось окончательно помириться. Но Лили не позвала. Больше она никогда не звала его в церковь.

* * *

Он отвернулся от окна, глубоко вздохнул. Надоело, надоело до смерти. Холл надоел, Кембридж, Лондон, сам себе надоел, все и вся надоели. Так устаешь, что даже тоски не чувствуешь, разве что приступами. Надо работать. Вечно надо работать. Даже сутулиться начал, и постоянно болит голова. Нужны очки посильней. Сто раз себе твердишь, а все руки не доходят. Есть даже удовлетворение какое-то в том, чтоб портить себе здоровье, есть даже гордость, что ли, этой своей дурацкой силой сопротивления. То и дело слышишь — у такого-то нервный срыв. Скажите пожалуйста. А тут — устал не устал, а надо себя перебороть. Получить эту их магистерскую степень. Другие блистательны, у них наития. А тут — упорством берешь. И ничего с собой не поделаешь. Если даже, скажем, войти в экзаменационный зал с твердым намерением провалиться — не получится, воспротивится все нутро. И совершенно зря тутор время от времени тревожно остерегает: "Не перенапрягайтесь. Смотрите, не выдохнитесь". Ничего, небось, не слабонервный боксер-тяжеловес. Болельщики будут довольны.

В первый год все, в общем, удачно клеилось. Хорошая школа — тоже не фунт изюма. На какое-то время вписался, втянулся, занялся даже местной политикой, строчил статейки в один университетский журнальчик, который чуть попристойней, иногда выступал в Союзе, где взвешенные фразы, с печатью победы над заиканием, произвели-таки впечатление. Вступил в соответственный клуб и пускался в долгие изнурительные пробеги. Пустая трата времени, теперь очевидно. И вот — вовсе выпал из жизни колледжа, затворник, мишень для незлобных шуточек.

Ладно, решил Эрик, пойду. Какое мне дело, в сущности, будет он там, не будет. Какая разница. Хоть обстановку пере-

меню. Вылезу, по крайней мере, на часок-другой из этой комнаты.

А сейчас надо работать, — повернулся устало к своим книгам, ящичкам с выписками, сел за стол и снова взнуздал свой терпеливый мозг, перегруженный всем тем, что на него навьючивалось два последних года, — сейчас надо работать.

* * *

— А, это ты, моя радость? Входи, — кричал Морис с верхней ступеньки.

Он был очень элегантно одет и явно не забывал об этом ни на минуту. Эрика далеко не привел в восторг двубортный пиджачок, очень по моде куцый, остроносые туфли. Стаканчик-другой явно был уже опрокинут.

— Сто лет не видались!

— Со вчерашнего вечера, — Эрик улыбнулся.

— А-а, мы, значит, видались вчера вечером? Ой, ну конечно! Вот идиот, да?

— И какова же дальнейшая судьба указателя?

— В гостиной стоит. Но миссис Браун его не одобряет, правда, миссис Браун? — потому что эта дама явилась в дверях с подносом.

— Ну конечно, мистер Скривен. И я надеюсь, скоро вы уберете эту грязную гадость. Не то у меня будут неприятности.

— Ах, миссис Браун, дорогуша, ну конечно, мы его уберем, раз вы, правда, уверены, что он вам не импонирует.

Эдвард Блейк был в гостиной, с женщиной. Эрик удивился, узнав художницу, которую раза два видел у тети Мэри на прошлых каникулах. Маргарет Ланвин. Тетя Мэри еще устроила выставку ее картин у себя в Галерее. Когда здоровались, она улыбнулась, как будто спрашивая: "Удивляетесь, наверно, причем тут я?" Эрик вспомнил, что она ему тогда понравилась.

— Эдвард демонстрирует совершенно офигенный новый коктейль, — кричал Морис. — Как он называется, а, Эдвард?

— Поцелуй Сатаны, — сказал Эдвард Блейк.

Поздоровался он ласково, хоть, как всегда, Эрик углядел саркастичность в этой легкой ухмылке. Вид у него был скверный, еще хуже, чем раньше. Лицо серое, в каких-то разводах, будто его терли ластиком, резкие складки в углах рта. Большие бледные глаза насмешливы, так и горят. Пальцы в желтых никотиновых пятнах, тощие — одни кости. Перстень с печаткой, держась на честном слове, затрясся и звякнул, Эрик заметил, когда Эдвард поднял стакан.

— Осталось там что-нибудь? — спросил Морис.

— Увы.

— Ну тогда, будьте ангел, сотворите еще немножечко.

— Мы, кажется, извели всю Angostura Bitters[1].

— И получится уже несколько иной поцелуй, — вставила Маргарет Ланвин.

— Хоть и не бывает двух одинаковых поцелуев, — поддержал Эдвард Блейк.

Рот у него странно, нервно дернулся на сторону, и он заговорил — старательно, сосредоточенно выговаривая слова. Создавалось неожиданное впечатление будто бы иностранной речи.

Эрик пригубил коктейль — редкую пакость, кстати. Что-то, скорей похожее на микстуру от кашля. Но Морис объявил, что он еще прекрасней прежнего.

— И как это только вам удается, Эдвард? Кудесник!

Эдвард не отвечал. Улыбался.

— Может, это прозвучит ужасно невоспитанно, Морис, — протянула Маргарет Ланвин, — но я просто умираю от голода. От всех этих прелестей на буфете у меня буквально слюнки текут.

— Ничего, что все тут холодное? — вскинулся Морис.

Но на самом деле он извинялся перед Эдвардом, не перед Маргарет.

За обедом Эдвард почти не притронулся к еде, хотя ни от чего не отказывался. Пил он много — сперва местный эль, который Эрику показался немыслимо крепким; потом коньяк, который Морис подал с сигарами. Пил, пил и, кажется, поуспокоился. Руки уже не дрожали.

Морис ему расписывал, какой у Карри "санбим".

— Господи, ну до того шикарная тачка! Знаете что, Эдвард, вам надо машину.

— А зачем она нужна, машина? — отозвался Эдвард.

— Ну, чтобы ездить, главным образом. В сто раз дешевле обходится, если, естественно, хочешь куда-нибудь подальше податься.

— Но я не хочу никуда ехать.

— Морис, конечно, с удовольствием бы вас повозил, — Маргарет улыбалась.

Конечно, она вовсе не собиралась никого обижать, но Морис чуть ли не огрызнулся:

— И какой же смысл, интересно.

Потом Эдвард показывал трюк — жонглировал ножом, двумя рюмками и апельсином. Трюк не слишком мудреный. Самое удивительное, что он у Эдварда еще получался. Очевидно — сплошная, голая сила воли. А Морис все повторял:

— Эдвард, ну просто чудо, чудо!

1. Горькую настойку (*лат.*).

— А такое не угодно ль попробовать? — Эдвард взял нож. Он обращался исключительно к Морису. Крутанулся в кресле, оказался ко всем остальным спиной. Медленно разжимал, разжимал кулак — и вот нож как будто прилип к ладони.

— Господи, да как же это такое? — Морис вытаращил глаза.

— А вот смотри еще раз.

Эдвард сидел, улыбался, держал нож на весу, с видом укротителя змей. И говорил таким тоном, будто они с Морисом совершенно одни в комнате. Эрик вдруг глянул на Маргарет Ланвин. Она улыбнулась в ответ.

— Нет, понятия не имею. Умоляю, объясните, Эдвард.

— Еще посмотри, повнимательней.

Морис посмотрел повнимательней.

— Ой, ну скажите!

— А ты понимаешь, как это делается? — Эдвард вдруг повернулся к Эрику.

Эрик сам почувствовал, как краснеет от злости.

— Да.

Взял нож, отражая взглядом насмешку Эдварда. Медленно, неловко, разжал ладонь.

— Вот умница! — вскрикнула Маргарет.

— По-моему, теперь я раскусил, что к чему, — сказал Морис.

Эдвард смолчал. Только улыбнулся, снова налил себе виски. Эрик еще больше покраснел. Долго молчали.

— Мне, пожалуй... да, мне пора, — вдруг сказал Эрик решительно.

— О, Эрик, — Морис вдруг огорчился, — рано тебе еще.

Но Эрик уже вскочил на ноги. Маргарет Ланвин глянула на свое запястье.

— Где бы насчет поездов узнать?

— В привратницкой, — сказал Морис. — Я покажу.

Но ему явно не хотелось расставаться с Эдвардом Блейком.

— Да, кстати, Эдвард, — сказал он. — Может, пойдем посмотрим номер, который я для вас заказал? Вдруг не понравится.

Эрик даже сам удивился, когда вдруг сказал Маргарет:

— Если хотите, пойдемте со мной, я узнаю для вас расписание в нашей привратницкой.

Она тут же встала.

— Большое спасибо. — Повернулась к Морису: — И большое спасибо за дивный обед.

Эдварду она сказала:

— Еще увидимся?

— А вы возвращайтесь чай пить, — сказал Морис, — только понимаете ли какая штука... если нас не будет... ну... вы не обидитесь?

Маргарет улыбнулась:

— Я, наверно, прямо на вокзал пойду; но все равно спасибо большое. Я тут твою матушку поддержать обещала на каком-то кошмарном мероприятии.

— Привет ей от меня.

— Передам. Ну, до свиданья и еще раз спасибо. До свиданья, Эдвард. Желаю приятно провести время.

— Постараюсь, — Эдвард ей отвесил поклон.

Эрик вышел следом за Маргарет. Молча пошли по улице.

— Это Кингс-колледж, да? — спросила она наконец.

— Да.

Потом он спросил:

— Уже тут бывали?

— Когда-то. Сто лет назад. Еще до войны.

Выяснили у привратника насчет поездов. Эрик сказал:

— В общем... если хотите... я могу вам приготовить чай у себя в комнате. В секунду. На вокзал вам пока рано идти.

Она улыбнулась:

— Спасибо большое.

— О, тут у вас очень мило, — она огляделась в гостиной. Прошлась вдоль полок, взяла Каннингема[1], перелистнула несколько страниц, задумчиво постучала указательным пальцем по Стаббсу[2], будто проверяла на прочность. Эрик как-то жался, стеснялся. Остро ощущая эту ее полубогемистую элегантность, ее обаяние, — очень, конечно, привлекательная женщина, хотя уже, надо думать, чуть ли не под сорок, — взял чайник, налил, поставил на газовую горелку в прихожей, сунул голову в шкаф, высматривая чашки. Когда вошел уже с чаем, она на коленках у камина ворошила огонь кочергой.

— А хорошая тут жизнь, наверно, — так мне кажется, — она сказала. И он не стал спорить, опровергать, он даже в мыслях не обозвал ее дурой.

Долго молчали. Потом она спросила, задумчиво, как бы размышляя сама с собой:

— Вы ведь, кажется, близкий друг Эдварда Блейка?

— Я очень давно его знаю, — сказал Эрик. — Он дружил с моим отцом.

Она, кажется, ничего такого не заметила в тоне ответа.

Только и сказала:

— Понятно.

Снова долго молчали. Потом поговорили о том о сем, беспорядочно роняли слова. Потом она сказала, что теперь ей уж и вправду пора. Он предложил проводить ее на вокзал. Она отказалась с улыбкой:

— Я и так уже вам надоела, хватит.

1. Грэхем Роберт Бонтайн Каннингем (1852–1936) — шотландский писатель и путешественник.
2. Уильям Стаббс (1825–1901) — историк; епископ Оксфордский.

Эрик справился в регистратуре насчет номера мистера Блейка. Наверху, в коридоре, горничная несла навстречу поднос с завтраком. Еще стояли ботинки возле многих дверей. Вот не думал, что полдесятого для некоторых — такая кромешная рань. Незачем, кстати, было с собой таскать эти книги и плащ. Лекция в одиннадцать. Куча времени, в общем, можно бы сто раз успеть снова сбегать в колледж. Да почему, собственно, я должен бегать, как соленый заяц? И кого ради, главное.

Неприятно: руки красные, на улице холодина. И волосы, конечно, всклокочены. Кое-как их пригладил, перебросил плащ на другую руку, уронил книги, чертыхнулся, их поднял и постучался в номер одиннадцать.

Полная тишина. Подождал, поднял было руку, чтобы снова постучать, опустил. Почти нестерпимо потянуло удрать и удрал бы, да та же горничная снова возникла в конце коридора. Весь собравшись, как струна натянувшись, в последний раз примерив заготовленные, отрепетированные ходы, окончательно закрыв глаза на доводы разума, он громко стукнул в дверь.

— Войдите.

Номер был крошечный, Эдвард Блейк лежал в постели, смотрел в окно. Он не сразу повернул голову, и на мгновение Эрика поразил этот профиль: серый, небритый, тяжко больной, безучастно смотрит на белый свет. Завтрак стоял рядом, на столике, но, кажется, он к нему не притронулся.

Эдвард Блейк медленно повернулся, начал зевок, тотчас проглотил:

— А-а? Доброе утро.

Пусть, пусть себе разыгрывает недоумение, подумал Эрик. Ответил строго:

— Доброе утро.

Помолчали, пока Эдвард Блейк, кажется, окончательно не проснулся:

— Может, сядешь?

— Ничего, спасибо, я постою.

Эдвард закончил-таки прерванный было зевок, потянулся, осклабился:

— Что ж, как тебе будет угодно.

— Я некстати, наверно, — Эрик чувствовал, как вскипает внутри злость, — зря к вам вторгся в такую рань.

— Ничуть.

— Долго не задержу.

Эдвард Блейк протянул тощую, желтую руку к столику, нашарил сигареты.

— Закуришь?

— Нет, спасибо.

— Собственно, я весьма тебе благодарен, что разбудил, — Эдвард Блейк закурил сигарету, — мне надо сегодня на лондонский поезд.

— Знаю. Потому и пришел.

— Понятно.

— Есть к-к-кое-что, — он отчаянно обуздывал собственный голос, но голос не слушался, звучал слишком громко, грубо, и как некстати заиканье напало, — к-к-кое-что, о ч-чем мне надо с вами п-поговорить.

Чуть заметная тень улыбки прошлась по губам Эдварда Блейка. Ухмыляйся-ухмыляйся. Гнус. Но вдруг тот выкрикнул:

— Да сядь ты, тебе говорят.

Эрик как не заметил грубости. Взял стул, даже скорее удовлетворенный, что сумел вывести Эдварда из себя. Долго молчали. Наконец Эрик опять весь собрался, успокоился, он был совершенно готов к атаке. Но не собирался терять ни капли из достигнутого преимущества. Пускай этот тип первым заговорит.

— Ну и?

Эрик чуть качнулся на стуле.

— Это насчет Мориса.

Приблизились и удалились по коридору шаги горничной, проклацал поднос.

— Насчет Мориса?

— Да.

Опять эта тень улыбки у Эдварда на лице.

— И что же — насчет Мориса?

— Думаю, вы сами прекрасно знаете, — Эрик вдруг почувствовал, как горят у него щеки. Выпалил бешено: — И я п-п-прекрасно понимаю, что это не мое дело.

— А это уж пусть тебя не волнует, — Эдвард Блейк открыто ухмылялся. — Полагаю, ты явился мне сказать, чтобы я оставил Мориса в покое?

— Вот именно, — как ни крепился, не смог скрыть свое удивление.

— В толк не возьмешь, как это я догадался?

— Вы, кажется, шутить намерены.

— Прошу прощения, Эрик?

— Улыбайтесь себе на здоровье. К-к-кажется, вы п-п-просто не соображаете, что один ч-человек может сломать другому всю жизнь.

Эдвард Блейк раздавил окурок. Взял новую сигарету.

— По-твоему, мое влияние на Мориса, как таковое, дурно?

— По-моему, уж гнуснее некуда.

Эдвард Блейк улыбнулся. Произнес лучезарно:

— Может, объяснишь подоступней, что ты имеешь в виду?

— Вы его осыпаете подарками. За все платите. Повсюду его возите. Он рассчитывает на ваши подачки, и вы это поощряете. Вы за ним таскаетесь. Даже когда он здесь, не можете его оставить в покое...

— Ты сам знаешь, что это неправда.

Эрик как будто не слышал:

— Может, вам неизвестно, что вы притча во языцех для колледжа?

— Да ну? — с хохотом. — Видно, колледжу больше делать нечего.

— Морису от этого ничуть не легче.

— И что же именно говорит колледж?

Эрик почувствовал, что опять краснеет:

— Сами можете себе представить.

— И ты тоже так думаешь?

— А вот ч-ч-что я думаю, абсолютно не ваше дело.

Помолчали. Эдвард Блейк пыхнул сигаретой. Сказал примирительно:

— Думаю, ты не можешь не сознавать, что повторяя подобные инсинуации, ты допускаешь, что Морис столь же гнусен, или почти столь же гнусен, как я. Он в конце концов не дитя малое.

— Он слабоволен, как дитя.

— И ты попросту исключаешь, что вполне чистые и достойные дружеские отношения могут связывать двух людей, у одного из которых есть деньги, а у другого — нет?

— Ну почему. Не исключаю, конечно. Да, могут связывать. Но только не вас с Морисом.

— И отчего ж такое?

— Да оттого такое, что вы ему в отцы годитесь.

Эдвард расхохотался, но, Эрик видел, что ему очень не по себе.

— По-твоему, я такой старый?

— Абсолютно неважно, какой вы по-моему, — в голосе звякнуло презрение. — Факт тот, что вы старый.

— Хорошо, положим, я дряхлый, из меня песок сыпется, но не считаешь ли ты по крайней мере допустимым, чтоб древний старик предпочитал общество молодого человека обществу других стариканов?

— Я только одно считаю, — он еле сдерживался, — вы Морису причиняете вред. И потому я пришел вас просить, чтоб вы оставили его в покое.

Эдвард Блейк теперь сидел на постели. Лохмы вздыбились гребешком, он стал похож на всполошенную драчливую птицу. Спросил, ухмыляясь:

— А вдруг я тебя не послушаюсь? Ну что ты мне сделаешь?

Эрик ответил мрачно:

— Сделать я ничего не могу.

— Мог бы, например, Мэри выложить все свои соображения на этот счет.

— Она не поймет.

Долго молчали. Эдвард Блейк курил, бледно сам себе улыбался. Наконец сказал:

— Подозреваю, Эрик, такого мерзавца, как я, ты еще в жизни не видывал?

— Я вас не считаю мерзавцем. Просто вы слабый.

Эдвард широко улыбнулся.

— Значит, ты не слишком меня осуждаешь?

— Не осуждаю совсем. М-м-мне дела нет до вашего п-п-поведения.

— Если только оно не влияет на Мориса?

— Да.

— Но скажи, Эрик, — мне вот интересно. Если я не мерзавец, ты, наверно, меня считаешь слегка сумасшедшим?

Эрик сам чувствовал, как багровеет. Промямлил сконфуженно:

— Я знаю, вы хлебнули лиха на войне.

— Не я один.

Эрик промолчал.

— Думаешь, пора взять себя в руки?

— По крайней мере, — он вовсе не хотел никого обижать, — можно бы сделать над собой усилие.

Очень его удивив, Эдвард Блейк улыбнулся:

— Да, война, пожалуй, постепенно устаревает в качестве оправдания, а? — Бросил окурок в кофейную чашку. Прибавил: — Н-да, едва ли я с чистой совестью могу тебе обещать, что исправлюсь. Но постараюсь держаться подальше от Мориса. Идет?

— Если вы это серьезно.

— Даю тебе слово чести. Хотя да, я ж совсем забыл. С твоей точки зрения, у меня ее нет.

Эрик не стал отвечать. Тот вдруг изменил тон:

— Эрик, твой отец был мой единственный настоящий друг. Глупо, по-моему, нам с тобой быть врагами.

— Я вам не враг.

Эдвард Блейк скроил гримасу.

— Н-да, не так уж сильно сказано, а? Ну, я-то, во всяком случае, восхищаюсь тобой.

— Я в-в-в вашем восхищении н-н-не нуждаюсь! — Эрик выкрикнул детским голосом. Вскочил на ноги. Весь трясясь, бесясь на себя, чувствуя, что вот-вот разревется. — М-м-мне п-п-пора, — он пробормотал. Схватил книги, плащ, слепо кинулся к двери.

— Всего хорошего! — крикнул Эдвард Блейк ему вслед. — И спасибо, что разбудил.

* * *

В тот вечер Маргарет была в мастерской. Раздался бешеный стук в дверь.

— Слава Богу, ты тут!

— Эдвард, Господи, да что случилось?

Он, шатаясь, прошел по комнате, свалился, как куль, на диван. Медленно поднял на нее взгляд с туманной усмешкой:

— С чего так переполошилась? Ну, перебрал немного.

Но Маргарет поняла, что не просто он перебрал. И сказала бодро, тем голосом, какой усвоила еще со времен Красного Креста, еще с войны:

— Ничего-ничего. Мы сейчас. Ноги надо повыше. Кофейку черного приготовить?

— О Господи! Если можно!

Она кинулась на кухню, вернулась с чашками. Сперва Эдвард лежал с закрытыми глазами. Потом открыл, стал на нее смотреть. Она так проворно двигалась. Мигом приготовила кофе. На удивление быстро. Маргарет — о, Маргарет не застигнешь врасплох. И раньше, бывало, ему кофеек варила.

— Вот, пожалуйста, — она улыбнулась.

Он попытался приподняться на локте. Рухнул со стоном.

— Я совсем ни в дугу.

— Дай-ка я.

Улыбаясь, бережным, сильным и ловким движением подсела его под спину, поднесла чашку ему к губам. Пил он жадно. Потом откинулся. Она села на край дивана и ему улыбалась. Взгляд у него прояснел.

— Маргарет.

— Да, Эдвард.

— Хочу задать тебе один вопрос.

— Валяй.

— Почему, — Эдвард выговаривал слова с этой своей особенной старательностью, — почему, черт побери, ты так ко мне добра?

— Так уж и добра?

— Да. А почему, одному Богу известно. Мне тоже хотелось бы знать.

Она отвела взгляд.

— И это так важно?

Но говорила она очень тихо, почти шептала. И Эдвард вдруг рванулся, бешено, будто высвобождаясь из пут. Приподнялся на локте. Почти заорал:

— Маргарет!

— Да, ну чего ты?

— Увези меня отсюда.

Она улыбалась.

— Куда?

— Неважно. Куда хочешь. Подальше от этого проклятого города. От этой жуткой страны.

— Ладно.

— Увезешь? Обещаешь?

— Ну да, — она его успокоила. — Ну конечно.

— Когда?

— Как только получится.

— Завтра?

— Завтра не выйдет.

— Но скоро?

— Да.

— Слава Богу!

Он приподнялся, повернулся, уронил голову ей в колени. И смотрел на нее снизу вверх со странной, мальчишеской, несчастной улыбкой.

— Но ты это серьезно?

— Конечно, милый. Если ты это серьезно.

Секунду он лежал не шевелясь. Потом выговорил, очень отчетливо, как будто про себя, как будто совсем протрезвел:

— Не знаю, выдержишь ли ты.

— Я постараюсь, — сказала Маргарет, а пальцы уже сами бежали по его волосам. Она на него не смотрела. У нее дрожали губы. В глазах стояли слезы. Вот он и сказал. Наконец.

* * *

Как узник, связанный перед пыткой, Эрик лежал неподвижно, сжав кулаки, на своей узкой постели. Врун! Лицемер! Жулик! Он бешено смотрел в темный потолок. Просто приревновал. Все из-за ревности, все!

Да я в десять тысяч раз хуже Эдварда, думал Эрик. В миллион раз хуже.

И как меня только земля носит.

* * *

Спустя три недели с лишним Эрик получил открытку, судя по штемпелю, с юга Франции. Под небом цвета клубничного мороженого мрел пронзительно синий залив. С одного краю небо чуть наползло на море, серо-буро-малиновым вымазав горизонт.

Текст был краток:

Пожалуйста, прими это в качестве алиби.

Эдвард.

* * *

Морис тоже получил открытку. Текст был еще на два слова короче:

Вот где я живу.

Морис бросил беглый взгляд на открытку, сунул ее на каминную полку. Жалко, конечно, что Эдвард смылся, но ничего уж такого особенно удивительного. В Париж, между прочим, на каникулах повезти обещал. Забыл, ну конечно, забыл, мало ли. А, и чего было ждать от Эдварда, да и не до него, не до него вообще.

У Мориса и так огорчений хватало.

Случилась ужасно неприятная штука.

Карри говорил, и не раз, что пусть, мол, Морис пользуется "санбимом" в его отсутствие. Ну и естественно, Морис стал регулярно пользоваться. Ну и конечно, были кой-какие царапины, и в гараже только посмеивались и преспокойно все ставили в счет Карри. И тот никакого шума не поднимал.

И так все шло вполне себе мирно и гладко, но на прошлой неделе Морису дико не повезло, он буквально врезался в кирпичную стену, когда на крутом вираже хотел объехать одного кретина велосипедиста. И Фарнкомб, он тоже сидел в машине, сломал себе ключицу и руку. И Карри вдруг буквально озверел, с чего — абсолютно невозможно понять. Морису просто было жаль, вообще, что водил дружбу с таким человеком. И Джимми, главное, сунул нос в это дело, истерзал буквально своим дотошным расследованием, вот что паршиво.

Ну и Морис, естественно, почти совсем забыл о существовании Эдварда Блейка.

* * *

Мозг Эрика, если только не был занят настоящей работой, бился над ответным письмом Эдварду Блейку. Набрасывались и сразу уничтожались черновики. То слишком длинно выходило. То слишком коротко. И что можно, собственно, написать? Непонятно.

Так и осталось письмо ненаписанным.

Книга четвертая
1929

I

Фары выхватили объявление на дереве "Нарушитель ответит по закону". Кто-то вырезал перочинным ножичком, потом мелом забелил.

Морис взвизгнул на крутом вираже:

— Просыпайтесь, приехали!

Мэри уютно потянулась на заднем сиденье, сонно проворковала:

— Успокойся. Не приехали еще.

— Ворота сами открываем? — спрашивал Эдвард, — или привратника ждем?

— Вы привратник и есть, — кричал Морис.

— Что за шум, из-за чего такое волнение? — спрашивал томный голос Маргарет с заднего сиденья. — Авария приключилась?

— Нет, — отозвался Эдвард, — мы достигли Джон-о'Гротс[1], а Мэри купальный костюм не захватила.

Открыл дверцу, вышагнул на затекших ногах.

— Бог ты мой, ну и холодрыга!

— Ну и держи это при себе, моя радость, — сказала Мэри. — Мы тебе и так поверим.

Эдвард передернулся. Утро было мрачное, серое и сырое. Ворота заледенели, не поддавались. С вязов вдоль аллеи моросило, капало с каждой ветки. Хилый, холодный рассвет вставал над Дербиширом, отускляя лучи фар.

Прямо им в спину пыхтел двухместный автомобильчик Томми Рэмсботтэма. Эдвард подошел, сунул голову внутрь:

— Эй! Доброе утро!

— Доброе утро, — ответил Томми, и Энн, из-за его плеча, спросила:

— Хорошо спалось?

— Невероятно!

Вдруг Эдвард развеселился. Громко, коротко хохотнул, охлопал себя по бокам, выкинул коленце на мокрой дороге.

— Там, сзади, у вас народ совсем повымер, — он прибавил.

Они ютились на приставных стульчиках — в теплых пальто, свитерах, меховых шапках, обмотанные шерстяными шарфами, — такие ужасно жирные совы. Жорж недоступно ушел в себя — продолговатая глыба, зато бедный Эрл Гардинер вытянулся стоймя, всей своей позой свидетельствуя о том, как он натерпелся в дороге.

— Как ты там? — забеспокоился Эдвард.

— О, превосходно, — Эрл героически улыбался.

Эдвард приложился губами к уху Жоржа и вдруг завопил:

— Sept heures moins un quart![2]

Жорж, не вздрогнув, проснулся, осенил его ослепительной улыбкой. Морис начал длинно, настырно жать на гудок.

— Ворота! — он вопил. — Ворота!

И Эдвард их распахнул, и Морис въехал в парк, и Томми въехал за ним. Когда катили уже по аллее, проснулась Памела, повернулась на сиденье. Обнаружив рядом с собой Мэри, она страшно, кажется, удивилась. Распрямилась рывком, так, что сразу ясно стало, что это вчерашняя школьница, и в ее невин-

1. Крайняя северная точка Великобритании.
2. Без четверти семь (*франц.*).

ной головке теснятся, клубясь, похищения людей, торговля белыми рабами и прочая дребедень. Потом она проснулась окончательно и всех опознала с довольной усмешкой.

— Я спала, наверно, — призналась она потрясенно.

А Мэри думала — какой же он узенький, оказывается, этот въезд, и весь парк стал как-то гораздо-гораздо меньше. Минуты не прошло, а уже они покатили вниз, к дому. Энн, рядом с Томми, не отрывала глаз от красной искры на задней фаре Мориса. Хлипкий откидной верх продувало насквозь. У нее затекла шея. Склоненный к рулю профиль Томми все четче вычерчивался на бледной полосе за окном. И — светало, с каждой минутой светало. Вдруг она прижалась щекой к его плечу.

— Ты чего? — но не повернул взгляда.

Потом-то сообразил и, не выпуская руля, свободной рукой обнял ее за плечо. Всегда он, наверно, так и будет жирафом, до которого все чуточку поздно доходит. Мой милый. Мое бесценное сокровище. Щекой ощущая шершавость твида, Энн тихо, сонно проговорила:

— А роскошно идет, да?

— Недурственно. А все новый бензин. И точка, от добра добра не ищут.

Голоса были так нежны, так полны любви, будто обсуждается новорожденный младенец. Джералд откинул Томми свой старый двухместник, когда сам обзавелся новеньким "бентли". И недели не прошло — эта катастрофа. Доктор сказал — если б выжил, остался б калекой. В мыслях не умещается — Джералд и вдруг калека. Ужас просто. Иногда его бычье здоровье раздражало прямо до ненависти. Был силен и глуп, как животное. И, как животное, мгновенно и глупо погиб, с трубкой во рту, выжимая по семьдесят миль. Невозможно, невозможно забыть, как Томми тогда прибежал в тот вечер прямо из больницы. Совершенно ошарашенный. Сто раз повторял в одних и тех же словах что случилось.

— Понимаешь, Энн, — он поворял, повторял, — сперва я его даже не узнал. Ну, вот незнакомый кто-то, и все.

А у нее, сквозь весь ужас — странный, леденящий ужас, так тогда казалось, — немыслимая, новая радость билась в потемках сердца. Джералд это сделал ради меня. Наконец-то. И недели не прошло после похорон — сказала Томми, что любит.

Как странно: люди, может быть, скажут, да ведь и говорят, почти наверняка говорят, что вышла за него ради денег. Мы теперь будем богаты. У Джералда было все — Кембридж, вылазки в Монте-Карло, деньги на актрисуль. Теперь все это будет у Томми. Шутка, конечно, и у Томми даже не умещается в голове. И никогда не уместится, это Энн ему обещала.

— Ну вот вам, пожалуйста.

Эдвард открыл садовые ворота. И, качаясь на них, как мальчишка, махал шляпой Морису, Томми, а те прокатили мимо и

дальше, вокруг солнечных часов, к подъезду. Морис слишком резко свернул, заехал в газон колесом, придавил траву.

— Ох, прости за ради Бога, — попросил у Томми, выпрыгивая. — Я испохабил твой дивный лужок.

Остальные, потягиваясь, еле переступали на затекших ногах. Собрались под навесом крыльца. Эдвард закрыл ворота и бежал вприпрыжку к ним через сад.

— Прямо не верится, — кричал он Мэри. — Как на рождественские каникулы приехал.

— Как! — Памела удивилась. — Вы уже здесь бывали?

— Было такое дело, — Эдвард ухмыльнулся.

— Ты в звонок позвони, Томми, — сказал Морис.

Томми не без торжественности приблизился к двери, позвонил. Все ждали. Теперь, когда стихли моторы, тишина стояла мертвая. Слышно, как каплет с парковых вязов.

— Дома нет никого, — заключил Эдвард.

— Рань же дикая, — Морис как будто перед кем-то извинялся. Странно, что об этом никто не подумал. Все виновато переглянулись.

— Еще, наверно, не встали, — решила Маргарет.

— Может, на время смоемся?

— Пошли на станцию, и оттуда им устроим подъем, — предложила Мэри.

Но Томми с решимостью, всем напомнившей о том, кто в доме хозяин, снова нажал на звонок. Все ждали. Было холодно.

— Пива, случаем, не осталось? — справился Эдвард.

Мэри затрясла головой. Эрл, остававшийся на приставном стульчике, теперь выкарабкивался, осторожнейшим образом, чтобы не потревожить Жоржа, который уже снова заснул безмятежным сном.

— Вот что мне нравится, — Эдвард счастливо улыбался, — звонка ты тут не услышишь. Так он далеко. А знаете ли вы, — он повернулся к Эрлу, — что звонок звонит по крайней мере за четверть мили отсюда.

— Неужели? — вежливо удивился Эрл.

— Да не верьте вы ему, мой милый, — вставила Маргарет, — он просто пользуется вашей невинностью.

— Видно, просто испорчен звонок, — сообразил Томми.

— Лучше оставить их в покое до завтрака, — сказала Мэри.

Но Томми строго покачал головой. На карту была поставлена честь хозяина дома. Мэри даже жалко его стало. Бедненький, и попал-то, как кур во щи, не он ведь затеял эту дурацкую вылазку. Идею предложил Морис, естественно, и, конечно, с подачи Эдварда. Вчера, положим, под мухой, казалось — ах, как весело, — влезть в машины и промчать сквозь сонные пригороды с пеньем и воплями. Всегда забываешь, до чего муторно на машине тащиться. Как тогда, жуткая просто история, когда Эдвард за пять минут всех подбил кинуться в Пензенс.

Кончилось все, натурально, отелем в Борнмуте, где кормили ниже всякой критики[1].

Томми крепко стукнул железным молотком. Полое эхо прокатилось по дому. И — никакого ответа.

— Это, должно быть, необыкновенно старинное здание, — заметил Эрл в своей чинной, учтивой манере, и все покатились со смеху.

— Давай-давай, Томми, — хохотала Энн.

Томми, с улыбкой, стукнул четыре раза. Где-то, в недрах дома, залилась собака.

— Что-то начало материализоваться, — заключил Эдвард.

— Это во-ой соба-аки, Ватсон! — Морис вошел в любимейшую роль своего репертуара.

Эдвард скорчил кошмарную рожу. Внутри дома грянул взрыв, пистолетный выстрел: стукнула задвижка. Все вздрогнули. Никто не слышал шагов. Дверь подалась на цепочке, на пять-шесть дюймов. И просунулась миссис Компстолл, экономка, принявшая власть, временно вместе с мужем, когда Эрик продал Холл Рэмсботтэму. Закутанная платком. Сперва она не узнала Томми.

— Это еще чего? — лицо изображало смесь испуга с агрессией.

— Можно нам войти, миссис Компстолл? — Томми вдруг присмирел. — Простите, что внедряемся в такую рань...

Она неприветливо открыла дверь, бормоча извинения, из которых только и можно было вычленить:

— Ясное дело, кабы нас известили...

Все проходили в дом как-то скованно. Первым оправился Эдвард. Когда включили свет, он огляделся и крикнул:

— Здравствуй, Холл!

Мэри перехватила взгляд, полный открытой неприязни, который метнула в Эдварда миссис Компстолл. И что ж удивительного. Решила, естественно, что этот нежданный, как снег на голову, визит — затеян с целью ее накрыть, поймать с поличным на незаконном каком-нибудь деле — на тайном самогоноварении, что ли, на укрывании краденого. Все стояли кружком, несвежие с дороги, разглядывали облезлую прихожую. Дневной свет глушил лампы. Лампы убивали дневной свет. Сквозняк запросто гулял по сырому, промозглому дому. И непроснувшаяся мебель стояла в холодной комнате уродливым грязным хламом. Но тут Мэри поймала свое лицо в зеркале. "Грязным! О Господи! Да ты на себя посмотри!"

Памела вошла в прихожую, поеживаясь, с робкой усмешкой. Неужели та самая девочка, которая накануне склоняла головку Эдварду на плечо? Студентка Королевского колледжа по классу виолончели.

1. Пензенс — рыбачий поселок и морской курорт на крайнем западе Англии; Борнмут — курортный город на южном побережье Англии.

— Нельзя ли нам слегка перекусить, миссис Комстолл? — Томми решился, по-видимому, выдержать весь визит в избранном стиле.

Но не на такую напал. Миссис Компстолл отрезала:

— В доме нет ничего.

— Можно махнуть на машине, — вклинился Морис, вздумавший, очевидно, такими приемами очаровать миссис Компстолл, — вы только скажите, что надо купить.

И снова речь миссис Компстолл свелась к бормотанью:

— ... кабы было предуведомлёно...

Томми всех удивил. Он всерьез разозлился. Буркнул:

— В таком случае, нам, пожалуй, лучше уехать.

И такая была нешуточная угроза в голосе, что миссис Компстолл дрогнула:

— Есть яйца. И можно кофею сварить, не знаю, вам хватит, нет ли.

— Просто роскошь, — сказал Эдвард.

Но Томми повернулся к Мэри, Памеле и Маргарет:

— Вам этого будет достаточно? — и, кажется, он прямо набивался на неблагоприятный ответ.

Обе заверили, что более чем. Уже миссис Компстолл всех пересчитывала, обводя взглядом. И в эту минуту в дверях вырос Жорж, гладкий, выспавшийся, волоча за собой по полу шарф, с довольным "Ага!" на устах. Тут уж миссис Компстолл всерьез перепугалась. Малодушно, откровенно подхалимски, осведомилась, желают ли господа покушать в курительной. Она — мигом. И — засеменила прочь.

— Интересно, — протянул Эдвард, — не изменяет ли мне память!

Прошагал к креслу привратника, приподнял стеганое сиденье.

— А помнишь, Мэри, тот день, когда ты впервые мне это продемонстрировала?

— Глупости, милый мой. Все ты сам обнаружил. Я была девушка исключительно скромная.

Морис никогда еще не видел этого кресла. И пришел в неистовый восторг. Стал толкать Эдварда, пытаясь с ним одновременно усесться. Памела была несколько смущена. Маргарет непринужденно поделилась с Эрлом:

— Как это трогательно, что бедняжка никогда не покидал своего поста.

— Кто? — Эрл решительно потерял нить беседы — картинами залюбовался.

Морис орал, что бачок пуст. Томми не удержался от смеха и покосился на Энн, в надежде, что она не рассердится. И Энн тоже засмеялась. Жалко, что ли. И в самом деле было весело, было очень весело, пока Жорж все не офранцузил и не осерьезнил, взревев:

— Ça ne marche pas?[1]

— Как думаешь, удастся нам слегка сполоснуться? — спрашивала Мэри у Томми.

Миг, и он был сама ответственность.

— Да, безусловно. Виноват. Сейчас пойду гляну, нельзя ли раздобыться горячей водой.

Наконец объявлено было, что завтрак готов. Курилка выглядела страшно голой. Три новых столика покрыты клеенкой. Бывало, когда еще в Холл пускали туристов, тех поили здесь чаем.

Эдвард осведомился у миссис Компстолл:

— Хозяин давно заглядывал?

Она явно недоумевала. Пришлось пояснить:

— Ну, мистер Рэмсботтэм.

Нехорошо, ну зачем, зачем, думала Мэри, особенно в присутствии Томми. Порядочной сволочью умеет быть наш милый Эдвард, когда захочет. Бедный старый Рэм. Вторая миссис Рэмсботтэм крепко держит бразды правления в своих нежных ручках.

Миссис Компстолл сказала, что да, мистер Рэмсботтэм заглядывал. Миссис Рэмсботтэм на юге где-то, он сказал, в гостях. Мистер Рэмсботтэм, ясное дело, всегда так занят на фабрике.

— Она своих навестить поехала, — вставил Томми довольно нескладно. Вообще-то, Энн замечала, он по мере возможности старается о мачехе не упоминать. Хоть против нее слова не скажет. Сука старая, — Энн вдруг взъярилась, вспомнив, как миссис Рэмсботтэм вечно снисходительно беседует с Томми. Всегда столь мило, изящно, исходя из того что Томми ну абсолютно ни в чем ни черта не смыслит, темный, как пень — образования не получил; всегда пускается в объяснения, помянув о местных династиях, о ресторанах, или об искусстве, о всяких местах за границей. А послушать, как она вставляет итальянские названия, пуляет французской фразой, — так прямо заобожаешь ланкаширский акцент. Как-то Энн, после обеда с миссис Рэмсботтэм, ни с того ни сего расцеловала Томми: просто срифмовал "диво" с "пивом". И таким сразу милым показался. Такой честный-открытый. Сама искренность.

— А жалко, — вдруг сказал Морис, — что Эрика с нами нет.

Странно — и как это раньше никто про него не вспомнил.

— Наверно, — сказала Маргарет, — ему сейчас уж особенно некогда.

— Только Эдвард один с ним и видится, — сказала Мэри.

Памела желала знать, кто такой этот Эрик и чем это он так занят.

— Ой, сногсшибательно, — заключила она после разъяснений Мэри. Повернулась к Эдварду: — И вы ему помогаете?

1. Дело не идет? (*франц.*)

— Только в последний месяц. С клубом для мальчиков.

— Дико, наверное, волнительно.

— Если любишь такого рода вещи, — сказал Эдвард и, поймав взгляд Маргарет, он осклабился.

— Первый честный труд, каким Эдвард занялся за всю свою жизнь, — крикнул Морис.

— Зато ты у нас всем известный трудяга, мальчик мой, — улыбнулась Мэри.

Морис скроил свою мину оскорбленной невинности:

— Я-то? Спорим, ты б со мной ни за какие коврижки не поменялась — дрыхнешь-храпишь целый день в своей Галерее.

— Ну а как на самом деле их продают — машины? — заинтересовалась Памела.

— Ну... — Морис попрочней пристроил локти на столе и начал: — Вот, в прошлую среду, например... — и он в самом деле очень смешно описал, как всучил одному экстравагантному богачу, обувному фабриканту, довольно хилый, хоть с виду эффектный подержанный автомобиль. А в сущности, Энн решила, историю про то, как вечно удается ему из всех веревки вить, всех обводить вокруг пальца — мать, продавцов, учителей. И вдруг, как острый укол — до чего ж я братишку люблю, — ах, хитрюга, такой беззащитный, такой невинный. Ловкий мальчишка.

— А если серьезно, Морис, — она спросила. — Ведь он же не сильно обрадуется, разобравшись, что на самом деле собой представляет его авто?

— Ясное дело, не обрадуется, — ничуть не смутился Морис. — И вот тут-то я ему новенькое продам.

Все смеялись, разомлев от горячего кофе. За окном, в саду, вовсю рассиялся день. И, оглядывая общество за столом, вдруг Мэри вспомнила про отца. Интересно, а он нас видит сейчас? Хочется думать.

— Вам, наверно, дорого это место, миссис Скривен, — сказала Памела, все еще несколько чинясь с Мэри, которую до вчерашнего вечера только один раз видела. Жорж сочинял каламбуры. Эрл желал знать, когда обшивали стены — точную дату. Никто не сумел удовлетворить его любознательность. Морис предложил осмотреть дом.

Пошли вверх по лестнице. Эдвард впереди. Он ничего не забыл.

— Смотри-ка, Мэри. Этот столик передвинули, он же у стенки стоял.

— Передвинули, — рассеянно кинула Мэри.

А сама думала: как поразительно, жили же здесь живые люди, живые, без дураков. Теперь это мертвый дом. Умер от недогляду. Местная достопримечательность, как разные прочие. И не станет миссис Рэмсботтэм к жизни его возвращать. В мертвом виде он даже милей ее сердцу. Будет здесь устраивать приемы в саду, на юге — приемы в доме. Не любит дамочка

останавливаться на достигнутом. А Рэмсботтэм пусть не путается под ногами, кому он нужен. И будет, разжалованный, большую часть времени коротать в Мидленде, или в своем старом доме, при Томми с Энн. Уж Энн-то, по крайней мере, приглядит, пригреет и спать уложит, если так налижется, что не в силах переть в Чейпл-бридж. И миссис Рэмсботтэм, с ее элегантными шуточками, легко извинит отсутствие мужа, мотая его деньжата. А, да ладно, мне-то какое дело.

Она спросила у Томми, какие здесь намечаются перемены, и Томми, почему-то извиняясь, объяснил, что решили прибавить еще одну ванную, оборудовать гараж на гумне, устроить теннисный корт на твердом покрытии. Сразу после Рождества и приступим.

— Конечно, — он все еще извинялся, — в сущности, ничего не изменится. Внешний вид, я имею в виду.

— Не сомневаюсь, все перемены пойдут дому только на пользу, — она его успокоила.

Он просиял.

— Я очень рад, что вы так считаете. Конечно, мы сохраним все, как раньше.

— Я думаю, это ужасно ответственно — владеть таким домом, — вздыхал потрясенный Эрл.

Эдвард открыл раздвижные двери в гостиную. За прикрытыми ставнями затаилась почти полная темень. В люстре зажглась одна только лампочка. Эдвард прошел к большому зеркалу, быстро себя оглядел и поднял над головой руку в фашистском приветствии.

— Салют!

— А это еще зачем? — удивилась Памела.

Эдвард осиял ее своей наглой, беглой улыбкой:

— Уверен, здесь нам удастся вызвать эманацию.

— А что это — эманация?

— Она белая. Несколько напоминает саговый пудинг. Нисходящей формы обыкновенно.

На полном серьезе, так что толком не разобрать, дурачится или нет, он описал ряд экспериментов с одним австрийским медиумом. Явно бездну всякого на эту тему начитался. И до глубины души потряс Памелу.

— Вот я и смотрю, такой умопомрачительный дом. Того гляди привиденье покажется.

Подошли к окну — видом полюбоваться. Явилась миссис Компстолл, приведя с собой мужа, явно выволоченного из постели. Тот повторял, что, если б знать, мол, мистер Томас едет... и т. д. и т. д. Еще поторчал немного и убыл, сочтя, по-видимому, что исполнил свой долг.

Мэри предложила выйти в сад. Почему-то такое противно было оставаться в этом доме. Старом, противном, затхлом. Ничего-ничего, неважно, лишь бы у Энн с Томми такого впечатления не сложилось.

На лестнице Эдвард провозгласил, что небольшой портрет восемнадцатого века, под окном, очевидно обладает магической силой.

— Вот поверните его лицом к стене, как-нибудь вечерком, когда будете в доме одна, — втолковывал он миссис Компстолл, — а через полчасика примерно сами увидите: снова перевернется обратно.

Миссис Компстолл пристально в него вглядывалась, чуя подвох.

— Ну уж не знаю, мне небось не захочется, — сказала она наконец, — если тем более Компстолла дома не будет.

Памела с Морисом долго над этим хихикали. У Мориса от усталости начиналась истерика. Стал лезть к Эдварду, его подначивать, пока Эдвард на него не набросился, и оба кубарем скатились с лестницы, сбежали в сад, выбежали за ворота, помчались по парку. Морис, чуть не на голову выше, бегал, как борзая, и все равно Эдвард его обставил. Остальные смотрели из окна, зачарованные.

— Ух ты! — хмыкнул Томми. — А ведь умеет бегать, да.

Морис, побежденный, тащился обратно к дому понуро, задыхаясь, Эдвард был как огурчик. Перемахнул ограду в тылах и поскакал через сад, ко всем на крыльцо, сияющий, молодцеватый. Морис еле плелся. Эдвард осклабился:

— Честь спасена.

Но Мэри заметила, как поредели у него волосы. И когда отстает эта прядка, видишь ямку над виском, где операцию ему делали, — после той катастрофы на мотоцикле, прошлой зимой, в Берлине. Да, видно, тряхануло его — жуть. Лучше не смотреть на эту ямку. И Мэри спросила с улыбкой:

— Совсем моего ребенка извести удумал?

— Прости.

Прошли через прихожую, вышли на террасу. Утро стояло серое, четкое, копя в себе новый дождь.

— Какой вид! Так бы смотрел и смотрел без конца! — вздохнул Эрл.

Такой невинный, мальчик совсем, и уголки воротника так трогательно пристегнуты на пуговичках, стоит, щупает замшелую стену, неотрывно смотрит в долину. Не больно бы ты обрадовался, мой миленький, приведись тебе такое изо дня в день, думала Мэри, и как по-дурацки упиваются янки этим семнадцатым веком, и смех и грех. Но все равно — пробилась привычная мысль, — да, все они мои дети.

Все они мои дети, и даже Жорж, — вот он, кстати, вплыл лучезарно в поле зрения на краю террасы: широкополая шляпа, крапчатый галстук-бабочка, клетчатый костюм, рыжие башмаки, — набродился, сараи осматривал.

— А я куриц видаль, — объявил восторженно.

Так-так, значит, Компстоллы втихаря кур разводят.

Маргарет что-то рисовала на обороте конверта.

— Пойдем, глянем на этих кур, — предложил Эдвард.

— Ты идешь? — спросили у Мэри.

— Нет уж, ребятки. Я, пожалуй, посижу. Можно и отдых дать на несколько минут своим старым ногам.

— Старая ленивая корова! — хмыкнул Морис.

— Спасибочки на таком на вашем на добром слове, милок.

И она пошла в дом, по пути остановилась — закурить сигарету. Заприметила в гостиной довольно-таки симпатичный диванчик, остаток прежней роскоши, а, да какой угодно сойдет, лишь бы не торчать снаружи в такое утро. И все же как-то тут неуютно, надо признаться. Страшно как-то, прямо бегут мурашки — может, даже в буквальном смысле, такие черные мурашки — и сыро, сыро. Сыро, хоть выжимай, да и немудрено, столько лет не топят как следует. В детстве всегда боялась в этой части дома одна оставаться. Только стемнеет, на главную лестницу пряником не заманишь. И днем-то тут было нехорошо. Вечно чудилось: кто-то стоит прямо за углом наверху, подстерегает, когда подниматься начнешь. В арке перед самым коридором, где густая такая тень. Стоит тихо-тихо — и ждет. "Ох ты Господи!" — чуть ли не вслух вырвалось у Мэри.

— Ты что, мам? — встревожилась Энн. — Мы тебя напугали?

— Ой, да. На секунду.

— Решила, это фамильное привидение явилось?

Посмеялись.

— Мы вот обсуждаем, — сказала Энн, — не позвонить ли на фабрику. Честный шанс спроворить обед.

— Господи! — Мэри засомневалась. — Ну как это мы все вместе нагрянем.

— Отец будет рад, — сказал Томми очень серьезно. — Он совсем один. Он мне не простит, если узнает, что вы были тут и я вас не привел.

— А вдруг другие тем временем решат возвращаться?

— И успеется. Мы пораньше поедим. В двенадцать, если хотите.

— Но ты уверен, совсем уверен, что это ничего?

— Абсолютно, — заверил Томми. — Сейчас же сгоняем машиной на почту. Это максимум четверть часа.

На том и порешили. Мэри со вздохом отставила свою идею соснуть. Да ладно. И почему бы в конце концов не повидать старого Рэма.

Тут же стали спускаться. Мэри через лестничное окно увидела: Эдвард с Маргарет, по саду фланируют. Явно углублены в одну из своих таинственных приватных бесед. Было дело, пыталась уследить за зигзагами их отношений — давно на этом поставила крест.

Эдвард поднял взгляд, увидал Мэри. Механически ей помахал, ничуть не меняя тона на вопросе:

— Ну, и как сей последний? Он тоже из Оксфорда?

Маргарет кивнула.

— Я обречена, кажется, инструктировать молодежь.

— И это его первая вылазка?

— Ей-богу, мой друг, вы злоупотребляете моей девичьей скромностью.

Эдвард осклабился.

II

Сложив руки на сгибе зонта, голову слегка склонив, майор Чарлзуорт покорно отдавался мерному скольжению лифта, как мученик, возносящийся на небеса. У дверей квартиры миссис Вернон минуту помедлил, прежде чем позвонить, кротким, смиренным жестом поднял пальцы к редким усам. Так оробел сегодня, что впору, кажется, снова отрепетировать даже те несколько слов, какие положено сказать горничной.

Но дверь отворила сама миссис Вернон:

— А я вас жду.

Она сегодня казалась почти веселой. Улыбалась:

— Я отпустила свою девицу с ухажером. Чай сами заварим, осилим уж как-нибудь.

Трудов, собственно, особенных и не требовалось. Все, что нужно, в готовности разложено по кружевной скатерочке. Только и дел — вскипятить воду и наполнить серебряный заварочный чайничек. Который она протянула Роналду. Он принял этот чайничек трепетно, как принимают за литургией потир. Она улыбалась, наливая горячую воду:

— Пальцы берегите, как бы не ошпарить.

И когда уже уселись друг против друга за низеньким столиком, она попросила:

— Ну, рассказывайте про четверг.

В четверг он побывал на аукционе в одном старом эссекском доме. Она, в последний момент выяснилось, поехать не могла. Роналд подробно описал замечательную коллекцию старинных гравюр. И были там еще стулья, просто прелестные стулья.

— Ах! Жалко, меня там не было! — вздохнула она.

Хотелось сказать ей, что без нее весь аукцион потерял всякий смысл. Потому, мол, исключительно и пошел, что знал, как ей интересно потом будет про все про это послушать. Но выговорилось только:

— Вам, наверно, было бы интересно.

— Еще бы.

Она отхлебнула чаю; спросила:

— А в субботу на эту встречу пойдете?

— Как-то пока не уверен.

— А я не пойду, если вас не будет. Когда у вас прояснится?

Она улыбалась, потешаясь, кажется, над его уклончивостью. Он слегка покраснел, но храбро ответил:

— Я, собственно, ждал, я хотел, собственно, узнать, собираетесь вы пойти или нет.

Она на него сверкнула быстрой улыбкой.

— Я вот часто думаю, — она сказала, — насколько искренне мое увлечение прошлым. Конечно, было бы страшно нудно таскаться по всем этим достопримечательностям одной.

Он почувствовал, что лицо его выдает. Промямлил:

— Приятно с кем-то сопоставлять впечатления.

Снова она улыбнулась:

— Вы должны обещать, что никогда не бросите меня.

И весело рассмеялась. Он рассмеялся тоже. Подделываться под нее — что еще оставалось. Удерживая голос на легких, даже галантных нотах, ответил:

— Да, миссис Вернон, я вам обещаю.

Она налила ему еще чашечку чаю. Глядя с улыбкой прямо ему в глаза, без смущания:

— Я давно уже собиралась вас просить об одной милости.

Сердце у него подпрыгнуло и покатилось:

— Да?

— Мне бы очень хотелось, чтоб вы меня называли Лили. А я вас буду Роналд называть, можно?

Склонил голову — и сам себе даже почти не поверил:

— Да, будьте так любезны, — сумел выговорить.

Она чуть откинулась на стуле, легко и прелестно ставя на этом точку:

— Вот и спасибо. А то прямо нелепая официальщина получается, раз мы с вами друзья.

И кончилось чаепитие. Еще немного посидели, помолчали. Он кожей чувствовал тишь светлой квартиры под лампами, в высоком доме, далеко над гремучей уличной толчеей. Как в склепе — тишь, пустота. Лили задумчиво смотрела прямо перед собой, на свою руку с единственным бледно сияющим золотым кольцом. Потом спросила:

— Скажите, Роналд. Приведись вам прожить жизнь сначала, вы бы стали что-то менять?

Пришлось тщательно взвесить ее вопрос. Никто еще о подобном не спрашивал. И как-то привычки такой не сложилось — говорить о самом себе.

— Возможно, — выговорил наконец, — мне было бы лучше в кавалерийском полку. Но в то время это был вопрос денег. Невозможно прожить на жалованье.

Кажется, она не совсем то имела в виду, потому что сказала с легкой усмешкой:

— Для мужчины, наверно, все совсем по-другому.

И это замечание тоже пришлось тщательно взвесить:

— Да, скорей всего, так именно дело и обстоит.

Она весело хохотала.

— Мужчины, по-моему, — такие беспокойные существа и вечно всем недовольны, в отличье от женщин. Из кожи лезут, лишь бы что-то переменить, пусть им от этого даже хуже будет.

Видно, он допустил, позволил себе какой-то молящий жест, не удержался, потому что она сказала:

— Да-да, и не спорьте! Сами знаете, и вы бы туда же, дай только вам волю.

Она улыбалась; она смеялась над ним, как-то странно, с каким-то вызовом, как бы отстраняя, отталкивая, удерживая на расстоянии.

— Ну а нам, — она прибавила, — нам, женщинам, только одно и нужно: покой.

Ну что на такое ответишь. Она его к стенке прижала, она почти издевалась:

— Вы, конечно, в этом видите эгоизм?

Удалось ответить твердо, не без достоинства:

— Простите, но тут я не совсем верю в вашу искренность.

Она засмеялась странно:

— Может, я и не искренна. Не знаю.

Нависло молчанье. Ах, не надо было так говорить! Вот же она, кажется, приоткрыла какую-то дверцу — и сразу захлопнула. Теперь вот сидим, не глядя друг другу в глаза. И заговорила она только затем, чтобы переменить тему:

— Вы, кстати, в серебре понимаете?

— Разве что так, слегка.

Она встала, улыбаясь:

— Я вам никогда не показывала?

Открыла шкаф, вынула застланную изнутри ватой коробку и, слой за слоем разоблачив, поднесла под свет лампы:

— Собственно, вы и не могли его видеть, с самой войны было в банке. Только что забрала.

— Красивая вещь, — повертел в руках тяжелое, плоское блюдо.

— Считается, что эпохи Якова.

Тщательно его осмотрел.

— Да. Думаю, очень ценное.

— Уж наверно. Тетушкино. На свадьбу мне подарила.

И задумчиво поставила блюдо на стол. Оно между ними стояло. Потом она сказала, не то чтобы грустно, а с тихим каким-то недоумением, будто сама себе:

— Странно, удивительно, как подумаешь, вот я жива еще, и блюдо стоит себе целехонькое. Будто из иной цивилизации откопали.

Промолчал. Боялся неловким словом спугнуть, оскорбить ее чувства. Опять она заговорила:

— Кажется, есть модная такая теория, будто старые люди должны наслаждаться жизнью и вести себя как молодые. Будто бы не должно быть никакого различия. Пусть одеваются так же, и разговаривают, и вовсю стараются так же выглядеть.

Помолчала, вгляделась в густую тень.

— Ну, а я думаю, что счастье создано для молодых. Старым остаются воспоминания.

И так она в эту минуту была хороша, и так хотелось ее оборвать, и спорить, доказывать, что вовсе она не старая, она молодая — она будет молодая всегда. Но как вдруг выговоришь такое. Сидел и молчал, завороженный, — до того был у нее удивительный тон. Как пророческий, как сквозь дрему:

— По-моему, если кто был очень, очень счастлив когда-то — прочее все не в счет. — И через секунду добавила, как бы думая все о том же: — А жаль, что вы с Ричардом друг друга не знали. У вас, по-моему, нашлось бы много общего.

Ну что тут можно ответить? Она улыбнулась. Сказала совсем просто:

— Он, иногда мне кажется, рад, что мы с вами друзья.

* * *

Лифт скользил вниз по шахте. Из квартиры его вынесло, как сомнамбулу; и вот он длинными шагами мерил улицу в огнях фонарей.

Наконец-то, как никогда еще прежде, можно было в полной мере оценить драгоценное сокровище — дружбу с ней. Шел, распрямясь, как герой, покачивая зонтом, и знал, что нет никого счастливей, взысканнее судьбой и более недостойного среди смертных. И это великое счастье, слава Богу, осознано во-время, не на излете. Оно будет длиться и длиться. Неделя за неделей. Я буду с ней видаться. С ней говорить. Будем вместе чай пить. Разговаривать.

И Боже ты мой! — еще сегодня утром себя терзать сумасшедшими, несбыточными мечтами, дурацкими планами, призрачной надеждой! Прикидывать, примерять свой тощий счет в банке, хилый бюджет, квартиренку. И чуть ведь не выкинул несусветную глупость, да, наглость была бы прямо непоправимая. И больше бы в жизни ее не видать, как своих ушей. Теперь-то совершенно ясно, в этом предложении руки и сердца она бы усмотрела кощунство, предательство, злоупотребленье доверием. Да, теперь-то понятно, это бы и было предательство, в сущности.

И так прелестно уберечь его от безумного шага, от горечи отказа. Так прелестно поставить на место. В мыслях она умеет читать, что ли, ведь каждое ее слово сегодня было остереженением, дивно, тонко высказанным остереженением. И это такая радость. Потому что теперь все встало на свои места, и можно по праву ей оказывать кой-какие услуги, попусту не надеясь на большее. Разве этого мало для счастья.

Если бы в юности ее встретить, мелькнула мысль — ах, да чего уж, юность не юность, ничего б это не меняло, нет, но все же мелькнула мысль: если бы я тогда ее втретил, насколько лучше бы-

ла бы жизнь. Такие женщины поднимают мужчин над скотством. Без них мы пустое место. Она святая, он думал. Я узнал святую.

* * *

Выдохшись, сбавив шаг, он наконец остановился перед дверью, которая показалась знакомой. Перед дверью своего Клуба. Несколько сочленов, кивавших ему, пока проходил по курительной к своему любимому креслу, отметили, что Чарлзуорт на целых четверть часа опоздал. Обычно ведь хоть часы сверяй по майору – во все три его клубных вечера.

III

"Вот я и сматываюсь, – писал Эдвард, удерживая руку от дрожи на скачущем столике, – а ты, будь добра, умиротвори Мэри, уж я на тебя полагаюсь. Ради Бога, изобрети какой-нибудь исключительно изящный предлог для моей отлучки, только не забудь написать и точно мне его изложить. И тогда я пошлю ей рождественскую открытку. Но если честно, мне вдруг было ослепительное видение – вся предстоящая колбасня у Гауэров, у Кляйнов и миссис Гидден на Новый год. И душа не выдержала. Прости мне, пожалуйста, это мое, естественно, не последнее свинство".

Уже давно миновали Ганновер; отобедали. Серые грустные поля, без оград, размежеванные пунктиром лесов, мягко кружили за толстым стеклом, от малейшего сквозняка защищенным зеленой бязью. Вагон-ресторан густо пропах сигарами крепких, обритых наголо, пассажиров со студенческими шрамами на щеках. Он их озирал не без наглости, барабаня пальцами по ножке бокала.

Поднял его, отпил; послюнил карандаш, прибавил:

"Вернусь сразу после Нового года".

* * *

Он лежал в шезлонге под облезлым эвкалиптом. Легкий бриз, улетая на мол, мимоходом шуршал листвой. Взгляд сонно скользил по уступчатым склонам, простеганным чернотой виноградных лоз, по рыжим и розовым домикам, жмущимся к колокольне. Как каждый камешек остро и четко рисуется на ярком свету! А за темно-синим заливом, на той стороне, почти не видать их, затаились низкие, серые миноносцы. Дальше, выше, высоко над земным горизонтом, снежные грани альпийских круч недопроявленными снимками стынут в слепящем просторе.

Рядом встает Маргарет. Только что вышла из дома.

Она улыбается. Зубы особенно ярко белеют на фоне загара. Она вся сияет. Глаза излучают свет.

– Кушать подано.

– И что там? – с широким зевком.

— Омлет, фрукты, салат... я сегодня новый способ испробовала, какой нам демонстрировала Тереза.

— Роскошно.

Поднялся устало — от долгого сидения устал. Наелся давно и надолго. Не хочется есть — под ее взглядом, подталкивающим в рот каждый кусок. Она допытывается озабоченно:

— Вкусно?

— Высший класс.

— Нет, ты только скажи, заправка точно такая же, нет?

Он старательно вдумывается.

— Может быть, следовало бы чуть-чуть еще подбавить этой штуковины — петрушка на вид, но не петрушка, ну, как ее?

— Да. Ты прав. Совершенно точно.

Потом он лежал и смотрел, как она стоит у мольберта. Работает споро, решительно, как-то победно касаясь холста и про себя улыбаясь. Знал: любит она, чтоб лежал тут как тут, на веранде, или под тем эвкалиптом. Если уйти в одиночестве в город, или через мол к Пампелонне, воротясь, обнаружишь, что она почти ничего не сделала. От тоски по своему любимому котику-песику.

А сама все подбивает прогуляться немного. Быть независимым.

— Кажется, старый Морель завтра гонит машину в Сент-Рафаэль. Не хочешь смотаться?

— Не особенно. А ты?

— О, мне работать надо.

— Спровадить меня надумала.

Она смеется:

— Сам знаешь прекрасно, что нет.

— Так поехали вместе.

— Давай, если я тебе нужна.

— С чего ты взяла, что можешь быть не нужна?

И оба остаются дома.

Часто осеняла догадка: а ведь если заявиться домой вдребадан, она бы только обрадовалась. Даже хочет, чтоб вел себя гнусно. Поощряет отлучки по вечерам. Вот и брел добросовестно к узенькой гавани: рыбачьи лодки, три кабака и бардак, кичащийся непристойностью допотопного, от старости моросящего фильма. Иногда чуть ли не до утра там просиживал — трепался с художниками, в карты играл. Поджарые, тонкие, ломкие французы, теребя сигареты, медленно заводят себя, как пружины, под жужжание разговора, чтобы в первую же паузу с налету вклиниться со своим "Je suppose que..."[1] Маленькие, грязноватые, настороженные испанцы, мрачно трагичные, но все равно почему-то смахивающие на парикмахеров. Ленивые, громадные русские с множеством жен. И почти ни единого англичанина. Вот за это — большое спасибо. Но все равно — такая

1. "Я считаю, что..." (*франц.*)

тоска. Тоска — как ностальгия по всему миру сразу. Вот именно что — хорошо исключительно там, везде там, где нас нет.

Если вечером оставался на вилле, сидел вместе с Маргарет на веранде. Читали друг другу вслух. Или в покер играли, с двумя саквояжами, на которых были карманы для карт. А в двенадцать — спать. Целовались:

— Спокойной ночи.

Маргарет и Тереза делали все по дому. И рад бы помочь, да разве они дадут.

— Женщинам нужно работать, мужчинам нужно спать[1], — усмехался он.

Она только смеялась своим тихим, победным, обескураживающим смехом. Иногда он был прямо невыносим, этот смех. Будто треплют тебя по головке.

Пристрастился к купанью. Уходил к Пампелонне, на огромный, пустынный пляж, как костями, усеянный выбеленными отбросами моря. Теченья тут были опасны. Иногда, обозлясь, нарочно ее мучал тревогой. И — каждое утро эти упражнения на веранде; лежал растянутый, распятый, голым телом впивая солнце. Кожа забронзовела. Совершенно голый, распираемый бешеной энергией, исполнял этот комически-религиозный обряд: упасть, вытянуться, отжаться. Она смотрела, улыбалась. И, как заметишь на себе ее взгляд, сразу стыдно делается, кураж как рукой снимает.

А еще ходили под парусом, с сынком смотрителя маяка. Часто пропадали вдвоем с утра до заката. Маргарет приходила на берег — встречать.

— Напишу-ка я, пожалуй, портрет Мими, — она как-то сказала.

— С какой радости?

— Великолепнейший тип. Очень даже красивый по-своему. Такое в нем звериное что-то.

— Правда? — Ощутил раздражение и укол вины бог весть от чего. — Ей-богу, Маргарет, — прибавил с самой своей неприятной ухмылкой, — ты людей описываешь, как няня детишкам в Национальной галерее.

Но прогулки с Мими после этого прекратились. Другой мальчик, Гастон, с превеликой радостью его заменил. Один глаз у этого Гастона смотрел в одну сторону, другой в другую.

Несколько дней спустя поинтересовался, заговаривала ли она с Мими про портрет.

— Ничего не говорила.

— Почему? Уверен, он будет в восторге.

А Мими, оказывается, вовсе питал слабость к Маргарет. Нашел какой-то предлог, объявился на вилле. И Эдвард — при

1. Перефразированные строки из стихотворения Чарльза Кингсли (1819—1891) "Три рыбака" — "Мужчинам нужно работать/ Женщинам нужно рыдать".

Маргарет — ему сообщил про портрет. Мальчишка страшно обрадовался. Тут уж естественно. Маргарет некуда было деваться. И хуже этого портрета она, ей-богу, в жизни ничего не писала. Такая дешевка, нагло прущая завлекательность. Как-то вернулся домой — а она свое прелестное творение вешает у него в спальне. Буквально взорвался:

— Убери ты эту гадость куда подальше!

И портрет в конце концов был преподнесен самому Мими. Надо думать, на маяке он занял почетное место.

* * *

И вот, вечером как-то, Маргарет вдруг спросила:

— Эдвард, ты долго еще намерен здесь оставаться?

— А куда ты хотела бы двинуться?

— Ты меня неправильно понял. Я... я понимаю, иногда тебе хочется быть одному. Ты вовсе не обязан себя чувствовать связанным.

— Тебе тут разве не нравится? — неловко промямлил он.

— Ну почему. Если тебе нравится.

И на этом кончился разговор. А через несколько дней она объявила:

— Эдвард, на той неделе я еду в Париж.

Вот и все. Виллу эту в одиночестве больше двух дней невозможно было выдержать. Подался в Марсель, и дальше, пароходом, в Константинополь. Осенью был снова в Париже с легкой простудой. Встретились. Сказал ей:

— Видишь, я к тебе бегу, едва палец порежу.

Она засмеялась:

— Милый. Да мне ж только того и надо.

* * *

Но им хорошо было вместе. Много бродили, разыгрывая из себя янки, впервые попавших в Париж. Купили очки в роговой оправе и разговаривали, как им это представлялось, с американским акцентом. Затея, правда, сразу иссякла, когда напоролись на одного исключительно симпатичного скульптора из Каролины и пришлось перед ним оправдываться за свое поведение.

Скоро перебрались в Лондон. Маргарет обосновалась у себя в мастерской, он снял квартиру. Но являлись повсюду вместе — приглашали как женатую пару. Бесконечно оба острили на эту тему — особенно Маргарет. Мэри была особенно трогательна, прямо прелесть. Эта ее тактичность, бережность, ненавязчивое как бы благословенье — ну просто с ума сойти.

Маргарет говорила:

— Что за чудо эта наша Мэри. Потрясающая невинность. — И прибавляла: — Ах, Эдвард — если бы только они тебя знали как следует!

Такие шуточки задевали. Она избрала неверный тон; юмор был слегка натужный. Наедине теперь оставаться не очень тянуло. Зато в гостях они неизменно блистали, как вышколенные актеры, разыгрывая свой спектакль на двоих.

Собственно, и на вилле уже обсуждалось то, что он сформулировал, как "наш долг перед соседями". Он тогда говорил: "Конечно, надо бы как-нибудь попробовать. Чем черт не шутит. Попытка не пытка". И Маргарет хохотала: "Только подумать, Эдвард, а вдруг я тебя излечу".

И вот как-то раз, в мастерской, воротясь после особенно буйной попойки, они было попытались — и оказалось ужасно смешно, ничуточки не противно, — но начисто безнадежно. Сидели в постели и хохотали, и хохотали. "Ох, Эдвард! — хохотала Маргарет (потому что тоже прилично наклюкалась), — я теперь уже с мужчиной спать не смогу. В решающий миг всегда тебя буду вспоминать".

— Боюсь, что должен вернуть тебе твой комплимент.

* * *

Весной опять подались на юг, по пути на несколько недель застряв в Париже. И — всего-ничего пробыли на вилле, как вдруг новость: всеобщая забастовка.

Он порывался сразу вернуться.

— Что тебе-то там делать? — она спрашивала, забавляясь, хоть в то же время, кажется, под некоторым впечатлением.

Не мешало бы сначала определиться хотя бы, на какой надо быть стороне. Ах, как она его высмеяла. Он злился, как мальчишка.

— Ты не понимаешь. Свершается нечто важное. Революция, может быть. А ты хочешь, чтоб я тут торчал, прятался в этой проклятой стране.

— Почему не сознаться, милый, что просто тебе скучно?

Ужасно было обидно. Отчасти верно. Отчасти — обычная бабья философия. Мелькала мысль — может, бросить ее. Стала бы цепляться, удерживать — и бросил бы за милую душу. Но нет уж, не на такую напал. Дни текли. И наконец пришло письмо от Мэри, и оказалось, что все вместе взятое, конечно, просто-напросто лопнуло, как кошмарный мыльный пузырь. Блеф. Морис какую-то машину водил. Они с Энн служили в столовой. Письмо кончалось:

"Нам дико вас не хватало. Вот бы вы развлеклись".

— Уж прости, — сказала Маргарет, — такая досада, если это из-за меня ты в конце концов не поехал.

Проходило лето. Гавань кишела художниками. Он плавал, ходил под парусом, жарился на солнцепеке. Больше Маргарет не предлагала писать никаких Мими, но он часто чувствовал на себе ее иронический взгляд. Иногда вдруг положение представлялось невыносимым; а на другой день — смотришь, и сно-

ва все тишь, да гладь, и даже неясно, что могло покорежить. Любимая фраза Маргарет:

— Ничего, по-моему, нет такого неодолимого, если только люди по-настоящему честны друг с другом.

Как укол в самое сердце. Ей-богу, в один прекрасный день вдруг не выдержу: "Так-так, и кто же тут у нас честен?"

Похолодало, погода портилась, и как-то Маргарет предложила:

— Почему бы нам не пригласить сюда Оливье?

Оливье — один парижский знакомый. Молоденький балетный танцовщик.

— С какой это радости нам его приглашать?

— Просто, по-моему, он тебе нравится.

Как ни старался сдержаться, почувствовал, что краснеет:

— Я только очень хорошо знаю, что тебе-то уж он вовсе не нравится.

Маргарет залилась хохотом:

— Милый, ну с чего ты взял? И вообще, я-то причем? Не хватало нам только встревать в наши отношения с друзьями!

— Что-то я не заметил, — ответил злобно, — чтобы ты своих друзей-подруг сюда табунами водила.

— Моих друзей-подруг? — она улыбнулась. — Да откуда я их возьму.

На том разговор и кончился. А через несколько дней она опять перешла в наступление:

— Эдвард. Я хочу, чтоб ты сюда пригласил Оливье.

И так настроение было паршивое. Весь день дул мистраль, на вилле тряслись все окна, со стороны города неслись серые пыльные вихри. А у знакомого аптекаря вышли все порошки, которыми тот потчевал хронических жертв непогоды. Метнул в нее взгляд:

— С чего это ты взяла, что я сохну по Оливье?

Она ответила холодновато, как бы имея дело с капризным ребенком, холодновато, но терпеливо:

— Кто говорит, сохнешь? Просто я слишком хорошо знаю, что иногда тебе, кроме моего, требуется общество несколько иного рода. Вот я и предлагаю Оливье.

— Интересно, что ты хочешь сказать этим своим "обществом несколько иного рода"?

— Что говорю, то и хочу сказать.

— Типично женская черта — вечно тыкать человека носом в его обязательства.

— Не поняла.

— Ладно, объясняю доходчиво. Ты на меня смотришь так, будто я на тебе женат.

— Эдвард — ты это серьезно?

— Но я не потерплю, слышишь? Я не потерплю, чтобы надо мной потешались.

И по спокойствию ее ответа стало очевидно: она просто увещевает больного.

— Говоришь, сам не знаешь что.

Мгновенье он смотрел на нее со своей нехорошей усмешкой. Потом сказал:

— Могла бы, по-моему, избавить меня от этого последнего унижения и хотя бы не сводничать.

Она вышла из комнаты.

Потом снова был мир. Преувеличенное раскаяние, полная капитуляция. Все это печень. Мистраль. И мало ли что я плел — не верь ни единому слову. Она грустно качала головой:

— Нет, милый. Не надо. Кое-чему из того, что ты плел, хочешь не хочешь приходится верить. — Помолчали. Потом она прибавила: — Но ты, может, и прав. Иногда я бываю чуточку... собственницей. — Как он тряс головой. Но она сказала:

— Иногда я думаю — может, это никуда не годится. Я про наш образ жизни.

— На что-то сгодился же, нет?

Она печально улыбнулась:

— Ты считаешь?

— Значит, для тебя не годится?

— О, я-то как раз всем довольна, — она ответила быстро.

"А зря" — вертелось на кончике языка. Но осталось невысказанным. Трус, как всегда, побоялся поставить точку над "i". Вечер прошел ласково — но печально. Все было очень корректно. А наутро она объявила, что через несколько дней уезжает в Англию. Как всегда, взяла на себя этот неприятный труд — сделала первый ход.

* * *

— Я уверен, что одолеваю эти трудности, — говорил на своем прихрамывающем, но смелом английском молодой голландец, выбивая пепел из своей небольшой трубки и равнодушно озирая Place de L'Opéra. Бледный, можно сказать, плотный Эдвард кивнул вдумчиво и заказал себе еще абсенту. Голландец пил исключительно лимонад.

Неделю спустя они уехали из Парижа. Опыты производились в одном местечке, недалеко от Бовэ. Голландец изобрел новый тип самолетного двигателя. Экономил, как только мог, но скоро оказался на мели. Речь шла о каких-то несчастных нескольких сотнях. Эдвард телеграфировал к себе в банк. Маргарет написал с бесстыдным восторгом: "Я верю, это подлинное Воскресение из мертвых. Поразительно, после всех этих лет снова на что-то сгодиться. Одно жаль — я, кажется, начисто растерял все свои небогатые познания в технике. Но даже они постепенно, потихонечку возвращаются".

Маргарет ответила тепло, великодушно. Правда, между строк сквозила тревога. Зато прямой текст дышал верой в будущее. Глядишь, оно и принесет ему невероятную славу.

Все шло великолепно. Французское правительство заинтересовалось. Через несколько недель намечался приезд экспертов. Явилось несколько репортеров, поошивались поблизости день-другой и отчалили, разочарованные. Дни быстро мелькали в долгих часах работы, в спорах, пробных полетах. Да, оказалось — есть еще порох в пороховницах. Покончил с питьем. Сбросил с себя десять лет.

Голландец разбился, как-то утром, летая один, за несколько дней до приезда экспертов. Элементарная халатность одного из механиков. В воздухе сломалось шасси. Самолет скользнул на крыло и сгорел, превратился в груду лома через несколько минут после того, как грянулся оземь. Эдвард кидался в пламя, пытался добраться до места пилота — идиотство, конечно, но что же еще он мог. И как его только вытащили живым.

— Я буду продолжать, — объявил он Маргарет два месяца спустя, когда вышел из больницы.

— Если б только я могла побольше тебе помочь, — вздохнула она.

Но дело оказалось не так-то просто. Обнаружились какие-то юридические сложности, связанные с правом собственности на чертежи. Эдвард, разумеется, и не думал ничего оформлять. Явились родственники из Амстердама и всё сгребли. Эдвард неделю целую лез на стенку, рвал и метал, грозился судом, писал бешеные письма. Маргарет помалкивала. Оба знали, что ничего он не может поделать.

* * *

Месяц спустя он смылся — прочь из Европы. Сначала в Дамаск, но нигде не находил себе места, мотало. Киркук, Сулеймания, Халабия[1]. Кидался в горы. Посещал шейха Махмуда в пещере. В Халабии чуть не подох. Заражение крови — левая кисть и рука. Когда вернулся поздней осенью в Лондон, сказал Маргарет:

— Старею. Все, хватит, это было в последний раз. Больше никогда не сбегу.

* * *

Никогда не говори "никогда". На другое лето в Париже он встретил Митьку.

Прошел месяц. Вдруг накатило, и написал Маргарет — она еще оставалась на вилле. Приезжай, мол, к нам в гости. Как ни странно, она ответила, что приедет.

Эдвард подыскал себе мастерскую на Рю Лепик. Маргарет, улыбаясь, одобрительно ее оглядывала, пока он готовил чай.

— Ты на такое местечко даже права не имеешь, мой милый.

Ответил — мол, придется заняться скульптурой, чтоб оправдать свое существование. Говорили по-французски. Затея

1. Киркук, Сулеймания, Халабия — города иракского Курдистана.

Маргарет: все эта ее тактичность. Но из Митьки не удалось ни единого слова вытянуть. Сидел, смотрел на них, время от времени — украдкой — сдвигая с глаз светлую прядь. От удивленной улыбки Маргарет ничто не могло утаиться. Задавала свои вопросики:

— А кто вам носки штопает? — и

— А кто из вас завтрак готовит?

Нет, это становилось невыносимо. Пришлось снабдить Митьку пятью франками: вытурить в кино. Маргарет смотрела на этот трогательный спектакль с улыбкой.

Остались наедине. Глядя в окно, хмурясь, руки в карманах, он спросил без прелюдий:

— Ну?

— Что ну, милый?

Он еще больше нахмурился:

— Как он тебе?

— По-моему, прелесть, — нежно выпела Маргарет.

Начинало накрапывать. Он отвернулся устало от мокрой оконницы, медленно прошел по комнате, сел на диван:

— Дурак я, что тебя сюда пригласил.

— Намекаешь, мой милый, — дура я, что приехала?

— Нет.

— Должна признаться, — сказала Маргарет, — главным образом, я это из любопытства.

— Не одобряешь.

— Неужели мое одобрение столь существенно для твоего счастья?

— Наоборот.

— Но тогда...

— Суть в том, — он сказал со своей беглой, несчастной, нехорошей усмешкой, — что тебе надо было окончательно убедиться, что исключение и впрямь подтверждает правило.

Она со вздохом спросила:

— Стоит ли нам в этом копаться?

— По-моему, не мешало бы. Разнообразия ради.

Она смолчала.

— Но вот ты скажи, Маргарет, просто мне интересно. Что ты имеешь против Митьки?

— Против этого ребенка? Да я его толком и не разглядела.

— Этого ребенка? — передразнивая ее тон. — Да ты, кажется, рисуешься, моя радость?

— Ну, может быть, разве что чуточку, — она улыбалась. — Но ей-богу, я же ничего абсолютно не говорю против... Митьки, да? Какое милое имя.

— Очень. То есть ты считаешь, что такие вещи всегда обречены на провал?

— Нет, почему. Не всегда. — Она запнулась. — Не для всех.

— Но для меня?

— Да, Эдвард, признаться, я так считаю.

Повисла пауза. Он осторожно прочистил горло; спросил уже другим, примиренным тоном:

— Почему?

— Ну, не знаю. Не твой стиль. Это так... — вдруг она осеклась, против воли усмехнулась. — Ой, Эдвард, прости, но я просто себе не представляю — ты и...

— Давай-давай, уж выкладывай свою остроту.

— Какие остроты. Или по крайней мере... ой, нет, не могу, это так смешно, это как...

— Ну?

— Как няня при ребеночке. Или гувернер в благородном семействе.

— Спасибо большое.

— Прости, Эдвард. Ты же сам меня к стенке припер, знаешь ли. Но все так и есть. По-моему, тут бы надо абсолютно не иметь чувства юмора. А у тебя его слишком много.

— Может, не так много все же, как тебе кажется.

— Милый, но ты не сердишься, нет?

— Нет.

— Сердишься.

— С чего бы. Мне исключительно интересно.

Снова она вздохнула.

— Ох Господи, поздно уже. Я пойду.

Он проводил ее вниз на несколько маршей.

— Милый, — она вдруг сказала, — знаешь, я очень надеюсь, что ошибаюсь.

— Уверен, ты надеешься, что ты права.

Прощались с улыбками. Осклабясь, он отвесил свой фирменный легкий поклон. Но он ее ненавидел. По-настоящему ненавидел. Взяв себя в руки, сжав волю в крепкий кулак, сам весь сжавшись — сплошное упрямство, ненависть, — медленно побрел по лестнице наверх, в мастерскую, — ждать Митьку.

* * *

Как-то вечером, месяцев семь спустя, Митька ушел из мастерской. В кафе, сказал, сбегаю, за пачкой сигарет. Он не слишком удивился, когда Митька не пришел и через три часа. Но заснуть не мог. Вообще, последнее время насчет сна дело обстояло из рук вон, если только в доску не напиться. Так что сидел чуть ли не до утра, надирался.

И наутро Митьки не дождался. В тот вечер решил закатиться на рю де Лапп. И назавтра до вечера в мастерскую не возвращался.

На третий день позвонил в полицию, обзвонил больницы. Ни среди задержанных, ни среди жертв несчастного случая Митьки не оказалось. Просто он ушел.

Ушел. Вот оно, вот наконец и случилось — так мелькнуло в последний миг перед тем, как сознание погасло тогда, после катастрофы во Фландрии. Слава Богу!

* * *

Меньше недели спустя он выходил из поезда на Виктории, зверски пьяный. "Больше в жизни не протрезвлюсь, — было объявлено Маргарет. — Никогда, никогда, хватит". Она, кажется, испугалась. Все, кажется, были слегка испуганы. Кролики. Да не обижу я вас, очень надо. Что за комичный городок, этот Лондон. Ну и таскался по их кроличьим вечеринкам, сам из себя разыгрывал кролика — самого большого из всех. Незнакомые были в восторге. Друзья — исключительно приветливы и милы, но чуть-чуть испуганы.

Но все это временно, временно. Не может такое тянуться вечно. Понятно же, чем дело кончится. И хватит, и надо остаться с самим собой, один на один. Но только не здесь. И не в Париже. Кто-то помянул в разговоре Берлин. Принял за знак свыше. И через сорок восемь часов был в пути.

* * *

И было все это год назад.

Блестящие, сирые глаза Эдварда смотрели из теплого, озаренного вагона-ресторана на холодный, быстро вечереющий мир. Сумерки собирались на громадном вертящемся диске равнины. Пассажиры расходились по своим купе. Ждать осталось недолго. Рот дернуло нервной усмешкой. Вдруг он схватился за карандаш. Вдруг кое-что смешное пришло в голову, надо Маргарет написать.

IV

Мэри позвонила. Лили сама открыла дверь.

— Ой, Мэри! Какой сюрприз!

— Привет, Лили. Ты как?

После минутной заминки — поцеловались.

— Все хорошо, спасибо. Входи.

Мэри вошла вслед за Лили в серую и серебряную гостиную, восхищаясь чистотой и порядком.

— Присаживайся, — Лили придвинула стул.

— Можно, я сперва осмотрюсь?

— Ну конечно. Ой, ты же никогда этой квартиры не видела, да?

— Не видела — можно?

Улыбнулись друг дружке. Лили, вдруг по-детски просияв, отворила дверь.

— Тут моя спальня.

Над кроватью — акварель: Холл, вид из глубины сада.

— Никогда раньше не видала, — сказала Мэри.

— Ричарда работа.

Постояли рядышком, помолчали, глядя на картину. Потом Лили тихо двинулась дальше.

— А тут у меня ванная.

— О, какой у тебя формы ванна — я такую всегда хотела.

— Да, удобно очень.

— И абажурчик миленький.

— А знаешь, кто на днях прислал? Миссис Беддоуз.

— Да ну? И где же она теперь?

— Вернулась к замужней дочери в Честер. У зятя магазин, она говорит, светильники разные продает.

Вошли в тесную кухню.

— Знать бы, что ты придешь, — сказала Лили. — Я бы прислугу не отпустила. Понимаешь, когда я одна, ей, в общем, и незачем тут торчать. Обхожусь, как правило, чашкой чаю.

— Ну и прекрасно. Может, вместе и попьем.

— О, конечно! Как мило!

— Давай-ка, я разоблачусь и тебе помогу?

— Замечательно.

Улыбаясь, Лили взяла с сушки тарелочки. Мэри нарезала хлеб, мазала маслом. Лили вскипятила на конфорке воду. Мэри занялась заварочным чайником. Лили смотрела.

— Это ты его так подогреваешь?

— Ну да. Чтоб не лопнул.

— О! Прекрасная мысль. В жизни бы не додумалась. Возьму на вооружение.

Уселись. Мэри блаженно потягивала чай. Изумительный, не каждому по карману. Если б Лили еще умела его заваривать!

— Я, между прочим, — она сказала, — пришла тебя поблагодарить за свадебный подарок для Энн. Она и сама, конечно, зайдет, как только будет в Лондоне, сейчас она пока у Рэмсботтэмов.

— Да, она мне написала.

— Нет, ну правда, Лили, это так безумно мило с твоей стороны. На свадьбе оно будет предметом всеобщей зависти и восторга. Придется детектива нанять, чтоб глаз не спускал.

Лили улыбнулась:

— Еще из тетиного приданого.

— Один наш знакомый, он из Британского музея, на днях смотрел. Говорит — эпоха Якова.

— Ну да.

— Знаешь, а может, ты зря...

Лили улыбнулась. И вдруг как-то сразу она состарилась. Эти гусиные лапки вокруг глаз. И шея какая-то тощая, и жилистая, что ли.

— Я подумала, Энн, наверно, будет приятно.

— Может, тебе бы стоило его приберечь для Эрика.

Лили улыбнулась:

— Знаешь, я иногда думаю, он вообще никогда не женится.

— Вот и Морис говорит, — Мэри засмеялась.

Но обсуждать с Лили Эрика как-то было всегда неловко.

— Ты лучше насчет свадьбы расскажи.

— Ну... это будет в Чейпл-бридж.

Глаза у Лили загорелись.

— Ой, как я рада!

— Морис — шафером. Всё в семье, словом, в своем кругу.

— И день уже назначили?

— Не совсем. Где-то в феврале, в общем.

— И в чем будет Энн?

Мэри пустилась в детали. Лили расцвела.

— Я так рада, что все честь честью и на широкую ногу. А то теперь сплошь да рядом такие куцые свадьбы пошли.

Мэри не сдержала улыбки: вспомнила собственный церемониал. Сказала:

— Но ты-то будешь, конечно?

— Я? Ты думаешь?

— Ну конечно, должна же ты меня поддержать. Одна я не выстою против второй миссис Рэмсботтэм.

Лили хохотала, как ребенок.

— Да, получается, надо будет прийти.

* * *

— Но знаешь, — Мэри сказала после паузы, — мне на самом деле пора.

— Ну, неужели? — У Лили опало лицо. — Да, конечно, ты же такой занятой человек.

— С Рождеством дикие хлопоты. Дети, оба, остаются дома.

В дверях помедлила. Прибавила:

— Знаешь, Лили, мы будем ужасно рады, если ты к нам выберешься — в любое время.

Лили улыбнулась:

— Спасибо тебе большое. Но ведь я понимаю, у тебя вечно куча дел.

— В доме, конечно, у меня кавардак. Но — знаешь что? Ты же никогда не была в Галерее, правда? Выберись как-нибудь, только не откладывай в долгий ящик. В четыре уже почти темно, и мы спокойненько посидим за чашечкой чаю — никто лезть не будет. И топят наконец-то прилично.

— Я бы с удовольствием.

— Так смотри, не забудь. Вот, на тебе адрес.

— Сразу после Рождества и зайду.

— Ну, счастливо тебе. Чай был дивный, спасибо.

— Спасибо, что пришла.

— До свиданья, Лили.

— До свиданья, Мэри.

Поцеловались.

* * *

Трясясь в автобусе по дороге домой, Мэри так и видела перед глазами Лили — худая, бледная, белокурая женщина храбро улыбалась в дверях своей одинокой квартиры. Бедняга Лили. И что она на Рождестве будет делать?

Вечером вдруг осенила идея. Почему б, например, не устроить в Галерее выставку акварелей Ричарда и Лили? Люди теперь падки на такие штуки, десятые годы в моде, и вообще — почему бы нет, ну, просто разнообразия ради? Хотя — Лили, скорей всего, и слушать не захочет. Не будет она ничего продавать. Не стоит и заикаться.

Странно, сегодня из головы не идет Десмонд. Иной раз неделями не вспоминаешь. Может, я заболела? Да нет, здоровье в полном порядке. И глубинное какое-то появилось ощущение собственной силы. Сильна — и стара. Будущее не пугает, с прошлым покончены счеты. Теперь уж оно не саднит душу, не ранит, прошлое. И все же, все же только подумать — Дик, мама, папа, Десмонд — столько всего было, случилось, и так, кажется, немыслимо много всего, и так все неимоверно сложно, запутано, что, если бы мне, семнадцатилетней девчонке, принес кто-то книгу, сказал: на, смотри: вот что тебе предстоит — как перед экзаменом с кошмарно трудной программой, заартачилась бы: нет, нет, не могу я, мне такого не одолеть! А ведь ничего, одолела, до самого до последнего пунктика. И в конце концов все гладко сошло, и, в общем, ничего такого особенного, ничего потрясающего. И так все быстро кончилось!

* * *

— Мэри — королева Виктория! — кричали все хором у Гауэров после концерта.

— Но вы все уже, наверно, видели!

— И мы все снова горим желанием посмотреть!

— Ну ладно, — сказала Мэри с улыбкой, — раз уж вы такие милые-хорошие. Но только это самое распоследнее представление на какой бы то ни было сцене.

— Врушка! — крикнул Морис.

V

Эдвард сидел за столом в своей комнате, у окна, глядящего на вязы, на черный канал, на трамваи, потренькивающие вокруг громадного, холодого фонтана на Лютцовплатц. Смерклось почти совсем. Настольная лампа выхватывала белый блеск изразцов, а сверху присел на печь металлический ангел, державший в руках венок. Эдвард зажег сигарету, вскрыл оба письма, доставленные вечерней почтой.

Начал с того, что от Маргарет:

Никакого "исключительно изящного" предлога я изобрести не смогла, а потому выложила Мэри все начистоту. Сошло, кстати, куда благополучней, чем я ожидала. Собственно, она, по-моему, не так уж безумно и опечалилась. Я сказала: ты же знаешь, какой он у нас, Эдвард, — и она согласилась, что да, все мы знаем, какой он. Скажи спасибо, мой дорогой, что мы этого не знаем.

Ну вот, вовсю наступают праздники, так что это мое тебе поздравление с Рождеством. У меня сегодня совсем рождественское настроение, несмотря на гнусную морось. Так что пожелаю тебе (и себе), чтобы этот год был самый прекрасный и оба мы чтобы побольше радовались, каждый как хочет и как умеет.

Милый мой, ты сегодня как-то особенно близко. И так у меня хорошо на душе, даже странно. (Если честно, я была на коктейле в мастерской у Билла. Но это в скобках.) Почему-то такое, я чувствую себя невероятно уверенно. То есть относительно нас с тобой. Все наши мелкие эскапады и завихрения сейчас вдруг мне кажутся такой дребеденью по сравнению с тем фактом, что мы друг у друга есть. Да, Эдвард, что бы там ни случилось, а это — незыблемо. И все остальное не в счет. И я теперь совершенно уверена, что по мере того как мы будем стареть, эта связь между нами будет все крепче и крепче, а то, другое, все больше и больше будет сходить на нет. Оглядываюсь на этот год и ясно вижу, как все это получалось. И, поверь мне, еще будет получаться.

Счастливого тебе Рождества, любовь моя, и спокойной ночи, мой милый.

Взялся за другое письмо:

Дорогой Эдвард,

пишу, чтобы поблагодарить Вас за щедрое участие в подписке на пользу Клуба. Жаль, что Вас самого здесь нет, помогли бы нам с нашим рождественским вечером. Надеюсь, он удачно у нас пройдет.

Есть одна вещь, о которой я бы Вам непосредственно сообщил, если б только узнал, что Вы собираетесь уехать из Лондона. Скоро я стану католиком. Вас это, может быть, удивит. Меня и самого даже еще больше, наверно, бы удивило, если б мне год назад вдруг такое сказали. Точно не знаю, когда именно приму первое причастие, но скоро. А до той поры я решил ничего не говорить ни Мэри, ни маме, но вот захотелось Вам сообщить. Распространяться на эту тему для меня невозможно. У меня вовсе нет намерения Вас обращать, расписывая, как это со мной случилось. Просто — у меня такое немыслимое чувство покоя. А Вы меня знаете и поймете, что для меня это значит. Стоит ли упоминать о том, что я по-прежнему буду здесь работать.

Примите мои самые лучшие пожелания и поздравления с Рождеством и Новым годом.

Эрик.

* * *

Долгий свист прорезал тьму под вязами на берегу канала. Он встал со стула, открыл окно, выглянул:

— Франц?

— Эдвард?

— Держи.

Достал из кармана ключ, бросил.

— Есть. Поймал.

Еще минута — и распахнулась дверь.

— Ну, Эдвард, как дела, старикан?

Франц скинул пальто, пиджак, шарф. Потом привычно двинулся к зеркалу, подробно расчесал волосы карманой расческой. Налил в раковину воды, вымыл руки.

— Как делишки? — спросил Эдвард.

— Погано.

— Опять с отчимом разругался?

Франц кивнул, потом не то рыкнул, как зверь, не то хохотнул, быстро, тремя перехватами, прошелся на руках по диванной спинке.

— Роскошно, — усмехнулся Эдвард. Взял со стола разрезальный нож, спросил: — А так умеешь?

— Нет. И как у тебя только получается? Покажи!

— Просто же, как апельсин.

— Нет. Ты покажи. Покажи еще разок.

— Что это? — он спросил, чтоб переменить тему, показывая на длинный шрам на предплечье у Франца.

— А это на прошлый май. У сестренки. Полиция нам окно расколошматила автоматной очередью.

— Так ты что — коммунист?

— Ну еще чего.

Франц расхохотался. Спросил вдруг:

— А у самого тоже шрам? — Он даже вздрогнул. И не думал, что видно. — И откуда это у тебя?

— Пулю в себя пустил.

— Несчастный случай, что ли?

— Нет. Умышленно.

— Где?

— Здесь, в Берлине.

— Когда?

— Прошлой зимой.

— Так чего ж ты не умер?

— Потому что врачи ваши немецкие такой дошлый народ. Отсюда вот пулю и вытащили.

Франц рассмеялся. Эдвард спросил:

— Не веришь?

— Ясное дело, не верю.

— Почему?

— С чего тебе стреляться-то? С такими деньгами.

Невнимательный взгляд порхнул по комнате, застрял на письмах. Франц вдумчиво их разглядывал.

— Эрик? Твой друг, что ли, в Лондоне?

— Да.

— И то и то по-английски?

— Да.

— Почитай оттуда чего-нибудь. Как звучит, послушать охота.

Бледно улыбаясь, он стал читать:

Собственно, она, по-моему, не так уж безумно и опечалилась. Я сказала: ты же знаешь, какой он у нас, Эдвард, — и она согласилась, что да, все мы знаем, какой он. Скажи спасибо, мой дорогой, что мы этого не знаем.

Помолчал, спросил:

— Ну как, понял?

— Местами.

— Например?

— В общем, что-то тут насчет ценности вроде какой-то. "Дорогой" — это ж ценный, да?

— Да.

— Ну. Выходит, я по-английски понимаю! — Франц улыбнулся самодовольно, угостился сигаретой: — Нет, ты расскажи мне все ж-таки. Откуда он у тебя, по правде, шрам этот?

— Я сказал уже.

— Нет. По правде. Это на войне, да?

— Ну, если тебе так хочется.

— Ты был на войне?

— Был.

— И много немцев поубивал?

— Порядочно.

— Тогда я тебя убью. — Франц схватил его за горло. Но почти сразу посерьезнел. — Жуть, наверно, была.

— Было чудовищно, — он сказал.

— А знаешь, — Франц заговорил очень серьезно и явно повторял то, что слышал от старших, — эта война... лучше бы никогда ее не было.

Джон Бетджемен
Стихи

Перевод и вступление О. Мишутина

Уистен Хью Оден, анализируя свои впечатления от чтения строк Бетджемена, писал: "Откровенно говоря, я раздражаюсь, оттого что они не мои. Примерно такое же чувство испытывает путник, когда наконец достигает места долгожданного пикника в лесу и вдруг обнаруживает, что оно занято"[1]. В сущности, это едва ли не самый лестный отзыв, которым поэт может одарить поэта.

Джон Бетджемен (1906—1984) родился в семье состоятельного лондонского торговца голландского происхождения, учился в колледже Магдалины в Оксфорде. После университета работал секретарем, учителем, кинокритиком, помощником редактора журнала "Архитектурное обозрение", а во время Второй мировой войны служил пресс-атташе Великобритании в нейтральной Ирландии. Вернувшись на родину в 1943 году, он получил место в Министерстве информации, работу в котором совмещал с активной литературной деятельностью.

Первые поэтические публикации Бетджемена появились в начале 1930-х в журналах. В 1931 году вышел его сборник "Гора Сион", оставшийся почти незамеченным. За ним последовали другие: "Непреходящая свежесть" (1937), "Новые тараканы в старых головах" (1945), "Несколько поздних хризантем" (1954). Известность поэта росла и достигла своего апогея с выходом книги "Сборник стихотворений" (1958). Позже появилась написанная белым стихом автобиография "Призванный колоколами" (1960) и книги "Высоко и низко" (1966) и "Пробежка на воздухе" (1974).

Однако Бетджемен для англичан не только поэт. Параллельно со стихами, начиная с 1930-х, он пишет множество журнальных статей, труды, посвященные архитектуре ("Страшно хороший вкус", 1934; "Старый Лондон", 1942; "Первая и последняя любовь", 1952 и др.), путеводители по Корнуоллу и Девону, описания пригородов Лондона — так называемой Метроландии. Он активно выступает за сохранение исторических зданий, является одним из основателей "Викторианского общества", занимающегося изучением и защитой архитектуры времен правления Виктории и Эдуарда VII. Росту популярности Бетджемена в немалой степени способствовали его выступления на радио и телевидении. Так, в 1964 году по его сценариям компанией Random Film Productions была снята серия короткометражных документальных фильмов под общим названием "Открывая Британию с

© John Betjeman 1945, 1954
© О. Мишутин. Перевод, вступление, 2011

1 Цитируется вступительная статья У. Х. Одена к книге Д. Бетджемена "Отшлифованный, но не выпрямленный. Стихи и очерки" (1947).

Джоном Бетджеменом", в 1969-м на канале "Би-би-си" вышла программа "С высоты птичьего полета", в 1974-м — фильм, посвященный храмовой архитектуре — "Страсти по церквам". Используя возможности телерадиовещания, Бетджемен вел борьбу за спасение оказавшейся под угрозой сноса церкви Святой Троицы на Слоун-стрит в Лондоне, возглавлял энергичную, но в конечном счете неудачную кампанию по сохранению Пропилей, известных как арка столичного Юстонского вокзала, ратовал за бережное отношение к архитектурным памятникам Лидса. Одной из его главных побед стало сохранение готического фасада здания лондонской железнодорожной станции Сент-Панкрас. Сегодня пассажиров, прибывающих на Сент-Панкрас, встречает статуя знаменитого ревнителя старины.

Эта вторая ипостась Бетджемена оказала сильнейшее влияние на его поэзию. Настороженное, а подчас почти враждебное отношение к современности в сочетании с тяготением к прошлому создают характерный общий фон многих его стихотворений. Бетджемен — поэт ностальгии. В эпатирующем стихотворении "Слау" (город в графстве Беркшир, переживавший в 1930-х период индустриализации) есть обращение к бомбам, которые должны разрушить это, ставшее "непригодным для жилья", место, причем городу вменяются в вину "ярко освещенные столовые", "кондиционированный воздух", "консервированные фрукты", "консервированное мясо", "консервированное молоко", "консервированные бобы", "консервированные умы" и "консервированное дыхание".

Зато все уводящее от ненавистной современности наделяется в стихах Бетджемена особым очарованием. Вот, например, придорожные огни, сопровождающие пассажира, уезжающего из столицы:

Они, устроив перекличку,
К вокзалу Ватерлоо льнут,
Они проводят электричку
На серый Суррей и вспорхнут
На неподвижные почти
Кристаллы сосен вдоль пути.

Раскаяние

Кстати, из приведенного отрывка видно, что исторические реалии привлекали поэта не только per se[1], но даже фонетически: в оригинале "серый Суррей" выглядит как sorry Surrey.

По всей видимости, с историко-архитектурными занятиями Бетджемена связана и другая характерная черта его поэзии — любовь к конкретике. Скажем, он редко употребляет такие обобщающие понятия, как "побережье", "район" или "дорога" — зато любит вводить в текст топонимы: мыс Степпер, лондонский Патни или трасса A30. Столь же конкретен поэт и во всем остальном. Всевозможные бисквиты "Фуллерз", конфитюры "Робертсон", абажуры "Либерти" служат для точного воссоздания местного антуража и характеристики персонажей. Джослин Брук, прозаик и поэт, автор эссе о Бетджемене, иронизировал: "Если бы ему случилось писать о лопатах, весьма вероятно, что каждая из них носила бы имя своего производителя".

1. Сами по себе (*лат.*).

Важной особенностью поэтического метода Бетджемена является амбивалентность отношения ко многим явлениям. Религия, патриотизм, прогресс рассматриваются им стереоскопически, в перекрестных лучах любви и ненависти. Иногда из такого подхода рождается специфический юмор, прекрасный образчик которого можно найти в "Дневнике церковной мыши". Вместе с тем ошибкой было бы считать Бетджемена "легким" поэтом, он ничуть не более "легок", чем, скажем, Оден или Йейтс. О бренности человеческого существования рассуждает он в стихотворениях "Смерть в Лимингтоне", "Вариации на тему Т. Роллестона", "Провинциальная больница", проделкам Амура удивляется в "Любовной песне подчиненного", "Senex", "В батской кофейне", откликается на злобу дня в "Смерти короля Георга V", "Перед вторжением, 1940", "Внутреннем водном пути".

В 1969 году поэт получил рыцарское звание и стал сэром Джоном Бетджеменом, а в 1972-м, после смерти Сесила Дэй-Льюиса, был назначен поэтом-лауреатом. В последние годы жизни общественная и литературная деятельность Бетджемена была практически сведена на нет болезнью Паркинсона.

Могила поэта находится на кладбище церкви Святого Энодока в деревне Требетерик, графство Корнуолл. Празднование столетия со дня рождения Бетджемена в 2006 году показало, что на сегодняшний день он понятен и близок англичанам как мало кто из современных литераторов.

Дневник церковной мыши
Строки, написанные на заданную тему для чтения по радио

Меж потерявших счет летам
Сутан, подушек, стульев — там,
Куда викарий — ни ногой,
Грызу я требник всеблагой.
Я одинока и бедна
Средь англиканского сукна.
А впрочем, здесь вполне милы
Два ночника и полметлы.
Прислуга, избегая склок,
Блюдет мой скромный файф-о-клок.
Мой хлеб — солома из углов,
Мой джем — мастика для полов.
На Пасху и на Рождество
В приход приходит торжество,
Но много ль в этом проку мне,
Когда живот прилип к спине?
По мне — все праздники худы,
Я чту лишь День конца страды,
Когда в церквах у англичан
Колосья под крестильный чан

Кладут. Воздав Творцу хвалу,
По меднолобому орлу
Я подбираюсь к алтарю
И норки в хлебушке бурю.
О, наслажденье — втихаря
Не дать пропасть продукту зря!
Но как обидно встретить тут
Мышей, которые не чтут
Христовы таинства — в ночи
Их манят лишь мои харчи.
Чета полевок-дикарей
Владеет частью галерей.
Большая крыса иногда
Зачем-то лазает сюда
И, хоть не верит во Христа,
Не шкодит... это неспроста.
Недавно кто-то узелок
Ржаных колосьев уволок...
Один хвостатый меломан
Пустился на такой обман:
Пока гудел орган, вовсю
Он отпускал грехи овсу.
Мышь-пуританка папский дух,
Как некий гибельный недуг,
Во мне находит (о, услышь
Меня, Творец!), и только лишь
Одно паршивке не грешно —
Под звук вечерни грызть зерно.
А я, смиренная, зерном
Делюсь с последним грызуном.
Конечно, человечий род
Не мог бы впасть в такой разброд.
Ведь люди усмиряют плоть,
Постятся, как велел Господь,
Молиться ходят в Божий храм
По вечерам и по утрам
И от своих обетов вспять
Не отступают ни на пядь.
Одно мне странно: почему
Я их не вижу в сем дому
Помимо дня, когда плоды
Приносят в честь конца страды?

Провинциальная больница

В красном глухом городке по садовой тропинке
Выйдешь к шелковице с охристо-бурой корой,
Ляжешь на землю и станешь смотреть на крупинки
Тутовых ягод, нагретых вечерней жарой.

Сливы подставят лучам загорелые спинки;
Воздух наполнится мошками и детворой.

Musca domestica (муха домашняя), ради
Тутовой тени оставив качели лучей,
Недоуменно повиснет на липкой преграде,
Сотканной в кроне одним из туземных ткачей.
Ни безнадежной борьбы, ни по жертве-награде
Сшитого савана взгляд не оценит ничей.

Кто мне расскажет, в какой захолустной больнице
Ждет меня койка над гулкой паркетной корой,
Что под ногами дежурных сиделок лоснится?
Стану ли, на простыне извиваясь сырой,
Криком кричать, или мне напоследок приснится
Воздух, наполненный мошками и детворой?

В *батской кофейне*

“Во имя наших чувств — ни звука, будем молча
Сидеть, в руке рука”.
Она — весьма обыкновенная особа,
Он — плут наверняка.
А кажется — два тихих ангела пригрелись
В кафе у камелька.

Среди книг

с Михаилом Ясновым

Принцип игры и принцип любви

Григорий Кружков. *Избранные переводы.* В 2-х тт. — М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2009. — (Серия "Мастера перевода)

Григорий Кружков любит и умеет рассуждать об искусстве перевода. "Перевод стихов, — написал он однажды, — довольно загадочный процесс. Что делается при этом в голове поэта-переводчика — это, так сказать, вещь в себе. Мы только знаем, что на входе был оригинал, а на выходе получился перевод. Посередине — классический "черный ящик", то есть неизвестный механизм перехода из начального состояния в конечное".

Физики, как мы знаем, с большой любовью и знанием дела относятся к высокой литературе, в частности к поэзии. Со стороны литераторов отношение к физике, может быть, не менее трепетное, но оно, как правило, лишено необходимого знания, а потому пребывает в состоянии дилетантской восторженности.

Достаточно редкий случай произошел с Григорием Кружковым, многие годы отдавшим физике, а затем навсегда ушедшим в литературу, чтобы, зарувшись опытом точных наук, стать высоким профессионалом не только в самом искусстве поэзии и поэтического перевода, но и в требующем не меньшей точности искусстве составителя антологий и исследователя литературы. В Колумбийском университете он защитил докторскую диссертацию по русскому и ирландскому символизму, и вся эта научная подоплека в сочетании с непосредственной литературной практикой превратила Кружкова-поэта, Кружкова-переводчика и Кружкова-литературоведа в мощное, на мой взгляд, явление нашей сегодняшней литературной жизни. Причем основополагающий опыт переводчика снова вывел его на круги физики и математики: в блестящем эссе "Перевод и квантовая механика" он с победительной легкостью доказал, что в основе искусства перевода лежат все те же фундаментальные законы сохранения — в данном случае, законы сохранения энергии и импульса оригинала, и закон соотношения неопределенностей, аналогичный физическому.

Не нужно семи пядей во лбу, чтобы разобраться в этих теоретических постулатах: достаточно внимательно прочитать (это чтение — само по себе нелегкий, но увлекательный труд) те внушительные антоло-

гии англоязычной поэзии, которые за последние годы сложил и опубликовал Кружков, — "Единорог" и "Англасахаб", "Лекарство от фортуны" и "Пироскаф", не говоря об отдельных авторских сборниках от Донна и Китса до Йейтса, Стивенса и Хини. Огромная работа Григория Кружкова сводится, как мне кажется, к главному: построению авторского контекста англоязычной поэзии. На том уровне реминисценций и аллюзий, на котором находится сегодня культура поэзии, без такого контекста не обойтись, хотя построить его в одиночку — дело почти безумное, и если Кружкову оно хотя бы частично удается, то благодаря не только таланту, трудолюбию и знаниям, но и тому феноменальному энтузиазму, что пробивает стены равнодушия и цинизма.

Двухтомник, который предлагает нашему вниманию Григорий Кружков, вмещает в себя отбор наиболее любимых и наиболее "показательных" для переводчика авторов: в первом томе — это поэзия Англии с XV века по наши дни, это живой перечень превосходных английских поэтов, среди них и знаменитый Томас Уайетт, соперничавший с Генрихом VIII из-за Анны Болейн, и "английский Петрарка" Филип Сидни, и столь уже прославленный Кружковым по-русски Джон Донн, и вся блистательная плеяда англичан XVII века, а что до XIX и XX, то вровень с классиками здесь встают и малоизвестные в России имена, но композиция тома такова, что каждый поэт вписывается в общий контекст и от этого переводы обретают дыхание и цельность.

И если второй том, открывающийся новой интерпретацией шекспировской "Бури", более раздерган и разномастен, то прежде всего из-за того живейшего интереса, который переводчик и составитель всегда выказывал не только по отношению к англичанам, но и к ирландцам, и к американцам, и к лирике других стран и народов, здесь собранной (я, например, остаюсь убежденным поклонником небольшого корпуса переводов Кружкова из французских поэтов), а что до поэзии нонсенса, представленной в этом томе в разделе под названием "Из английской комической поэзии", то трудно найти другого такого мастера, который умеет так "доигрывать" и "переигрывать" авторов этого виртуозного поэтического жанра.

Вообще принцип игры и принцип любви — вот два, как мне кажется, основных механизма работы Кружкова-переводчика. В другом своем эссе — "Перевод и Эрос" — он как раз и писал (процитирую объемный, но важный пассаж) о переводе как акте любви:

> Первое переведенное стихотворение запоминается на всю жизнь, как первая любовь. Это и приходит в том же возрасте, что первая любовь. И так же внезапно, непроизвольно. Манит не только чужая мысль, но и чужой ритм, интонация. Так ставят голос, так настраивают внутренние лирические струны...
>
> Какую сторону ни возьми, любовное это дело — перевод, и только. Подумаем, в какие близ-

кие, интимные отношения вступает переводчик с оригиналом. Никакой литературовед так пристально не вглядится в каждое слово, не прочувствует все его нюансы. Не зря говорится, что перевод — высшая форма прочтения.

Так знать — до родинки, до малейшего жеста, — так ощущать можно только любя, только сроднившись с любимым существом...

Существует и другая темная сторона Эроса — близость Любви к Смерти, рождения к уничтожению... Не отсюда ли страх, отвращение многих русских поэтов к переводу как форме самоуничтожения: "Для чего я лучшие годы / Продал за чужие слова? / Ах, восточные переводы, / Как болит от вас голова", — писал Арсений Тарковский. И он же однажды в разговоре бросил: "Опять со всех сторон умилительно: ах, русская переводческая школа, такая уникальная... Заткнули рты поэтам, а потом удивляются, откуда столько прекрасных переводчиков!"

Это тоже надо учитывать — во многом сублимированный характер переводной поэзии (и для читателей, и для авторов) в эпоху политического, цензурного, полицейского и какого угодно гнета. Тут широкий простор для фрейдовских толкований.

К этим работающим механизмам я бы прибавил еще один, в высшей степени определяющий труд переводчика, — культуру компенсаций. Тут уместно напомнить формулу, которую приписывают Михаилу Леонидовичу Лозинскому: "Перевод — это искусство потерь". Если я правильно толкую, это означает вот что: переводчик должен точно понимать, чем и во имя чего он жертвует, берясь за перевод. Если я опять же правильно толкую, это означает, что задача безусловно выполнима при наличии определенных помыслов и действий: жертва необходима, ты приносишь ее сознательно, выбираешь наиболее приемлемый для тебя вариант и способы компенсации. И тогда перевод стремится стать явлением современной поэзии.

Возможно, уже набивший оскомину пример — пастернаковский Верлен (но вспоминается он неслучайно: насколько мне известно, Пастернак был и остается для Кружкова принципиальным ориентиром в поэзии и поэтическом переводе). На профессиональном уровне трудно вообразить более далекие от оригинала стихи — и более близкие, родственные ему. Пастернак — я отнюдь не уверен, что в данном случае сознательно, скорее всего, интуитивно — принес в жертву целый ряд значимых формальных факторов подлинника и создал несколько стихотворений высочайшей поэтической пробы, соответствующих оригиналу и ставших явлением русской лирики. История нашего отечественного перевода (от Василия Жуковского до Анатолия Гелескула) богата подобными примерами. Хочу еще вспомнить один из парадоксальных, но понятных выводов Ефима Эткинда, утверждавшего, что при возможной непереводимости каждой отдельной фразы, текст целиком в принципе доступен адекватному переводу.

Механизмы работают: кто же выигрывает от перевода стихов — читатель, переводчик или же переведенный поэт?

Переведенный поэт, конечно, выигрывает. Причем при любом раскладе. Если он переведен хорошо, поэт занимает подобающее место в иноязычной поэтической культуре. Если переведен средне, то есть выполнен ознакомительный перевод, его, поэта, по крайней мере начинают знать. Если переведен плохо, это заставляет других переводчиков возместить упущенное. В любом случае, имя поэта оказывается известным его современникам или потомкам из другой языковой среды.

Выигрывает ли переводчик? Когда разговор заходит о сути поэтического творчества, я не вижу существенной разницы между переводчиком стихов и оригинальным поэтом: здесь пораженья и победы действительно не отличимы друг от друга. Если мы читаем переведенное стихотворение как явление собственной поэтической культуры, то вряд ли разговор может идти о проигрыше, наоборот: как бы высоко ни стояла планка, победители найдутся. Но подлинная оценка перевода (как и творчества поэта) может находиться вне компетенции современников.

С читателем сложнее всего, особенно сегодня, когда мы поколение за поколением теряем любителя книги, умеющего и любящего читать. Ориентируясь на классический образ читателя, понимающего поэзию и следящего за бытованием поэтического текста как такового, можно сказать, что читатель тоже отнюдь не проигрывает, и даже если он встречается с переводами, которые его не устраивают, он раздражается, и такая досада становится плодотворной, поскольку подвигает его на новые поиски и стремления к удовлетворению читательского голода. Это, как ни странно, относится в первую очередь к тем, кто знает язык переведенного автора и мог бы, кажется, просто прочитать его в оригинале: мои собственные наблюдения свидетельствуют в пользу того, что такие читатели больше всего сочувствуют и стихам, и делу поэтического перевода в целом.

Обращаясь к работе Григория Кружкова, мы отмечаем его победы на всех этих уровнях. То есть на уровне культуры в целом. “Подобно тому, как душа не гибнет, — сказал он однажды, — но ‘переводится’ с одного языка на другой (с земного на ангельский), так и стихотворение при переводе не гибнет, но перевоплощается”.

Собственно, содумниками и сострадателями высокого искусства перевоплощения мы и становимся, когда открываем очередные книги Григория Кружкова.

У книжной витрины

с Михаилом Визелем

Джефф Дайер *Влюбиться в Венеции, умереть в Варанаси* / Пер. с англ. Александра Осипова; Под ред. Ирины Мелдрис. — М.: Классик, 2010. — 432 с. — 5000 экз.

Двусложная книга, первая часть которой откровенным языком рассказывает о страстном, но краткосрочном романе британского арт-критика посреди "суеты сует" венецианского биеннале, а вторая часть — о его же (или все-таки не его? Прямо об этом не говорится) как бы случайной поездке в индийский город, обернувшейся неспешным погружением — в прямом и переносном смысле — в священные воды Ганга.

Если не знать заранее, что эта книга получила премию Вудхауса как "лучшее юмористическое произведение 2009 года", догадаться об этом довольно сложно. Во всяком случае российскому читателю, знакомому с английским юмором по его лучшим образцам — но столетней или в лучшем случае тридцатилетней давности. И русский перевод этой необычной книги задачи, увы, не облегчает.

Мэри Энн Шеффер, Энни Бэрроуз *Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков* / Пер. с англ. Марии Спивак. — М.: Фантом-пресс, 2010. — 295 с. — 4000 экз.

Под экстравагантным названием скрывается вполне классический роман о маленьких людях, застигнутых врасплох большой историей, но нашедших в себе силы оставаться людьми. В данном случае — о жителях расположенного в Ла-Манше маленького островка Гернси, находящегося под юрисдикцией английской короны, но не являющегося частью самой Великобритании. В годы Второй мировой войны остров был оккупирован немцами, и однажды группе сельчан, засидевшихся на вечеринке, пришлось соврать, что они нарушили комендантский час, потому что увлеклись... обсуждением невинной книги о садоводстве. Выдуманный для отвода глаз книжный клуб постепенно становится реальным, более того — единственно реальным очагом жизни в замершей деревне. И молодой писательнице Джулиет, вскоре после войны случайно узнавшей об этой истории, остается только ею восхищаться.

Зэди Смит *О красоте* / Пер. с англ. Олеси Качановой и Анастасии Власовой. — М.: Издательство Ольги Морозовой, 2010. — 560 с. — 4000 экз.

Третий роман 30-летней (на момент выхода книги в 2005 году) Зэди Смит, подобно прославившему ее дебютному роману "Бе-

лые зубы", посвящен проблемам мультикультуральности и мультиэтничности. Звучит удручающе, но для самой Смит, чей отец британец, а мать родом с Ямайки, это не отвлеченная академическая тема, а жгучая проблема ее собственной жизни. Впрочем, разворачивается действие романа как раз в академической среде — в двух респектабельных с виду профессорских семействах, в Новой Англии и в Великобритании. Одно из них ультралиберально, другое — ультраконсервативно, и по ходу того, как затейливо сплетенная интрига толстого романа разворачивается, членам обоих семейств придется пересмотреть свои убеждения. Зэди Смит этот роман принес попадание в шорт-лист Букера и престижную премию "Оранж".

Ален де Боттон *Радости и печали работы* / Пер. с англ. Владимира Бабкова. — М.: Юнайтед пресс, 2010. — 331 с. — 3000 экз.

Кундера заметил в одном из своих романов, что во времена Гёте любой образованный человек хорошо знал, как изготовлены и функционируют все предметы, его окружающие, а мы не имеем об этого ни малейшего понятия и ничуть этого не стыдимся. И речь идет не только о сотовых телефонах и компьютерах, но и о простейших вещах. Где производится печенье к завтраку? Откуда и как доставляется свежая рыба к обеду? Ален де Боттон берется исправить это упущение — и скрупулезнейше описывает эти и другие подобные производственные процессы современной цивилизации. Причем не шутливым непринужденным тоном журналистского очерка, а изысканным и меланхоличным языком философского эссе (прекрасно отраженным в переводе). Тон этот очень уместен, ведь сама идея о том, что работа за деньги может приносить радость и выступать объектом философской рефлексии не так уж давно возникла. Для Аристотеля, напоминает автор, человек, вынужденный добывать свой хлеб работой, ничем не отличался от зверя и раба — а радости и философия были привилегией человека, от такой необходимости навсегда избавленного.

Стивен Фрай *В Америке* / Пер. с англ. Сергея Ильина. — М.: Фантом-пресс, 2010. — 312 с. — 3000 экз.

Литературный травелог знаменитого актера, телеведущего и писателя был задуман достаточно остроумно. По идее Фрая, он едет по всем пятидесяти штатам в поисках своего воображаемого американского брата-близнеца, а такой двойник у него действительно вполне мог бы быть, прими его отец предложение перебраться на работу в Принстон. Но телевизионщик во Фрае явно берет верх над экзистенциалистом. Щедро иллюстрированный прекрасными видовыми фотографиями том в основном посвящен комическим ситуациям и недоразумениям, в которые Фрай попадал при съемках одноименного телесериала. Только изредка из-под балагурства проступает язвительная социальная критика. И лишь однажды

добродушный Фрай не на шутку свирепеет: когда массачусетский актер, изображающий отца-пилигрима, пытается говорить с ним на архаичном английском, безбожно его коверкая.

Сэмюэл Пипс *Домой, ужинать и в постель*: Из дневника / Пер. с англ. Александра Ливерганта. — М.: Текст, 2010. — 189 с. — 2000 экз.

Спустя десять лет и вдвое большим тиражом (хотя в данном случае это звучит скорее как грустная шутка) по-русски переизданы фрагменты одного из самых объемных и колоритных памятников английской письменности — тайных записок крупного чиновника адмиралтейства, философа-дилетанта и бонвивана-практика времен Реставрации. Слово "тайные" обозначает в данном случае не роковые тайны, а всего лишь то, что Пипс вел их, как выражался Пушкин, "спустя рукава", не заботясь ни о том, как он выглядит в глазах жены, ни в глазах короля. Крупный чиновник, зрелый мужчина, готов простоять полдня на ветру, чтобы поглазеть на въезд русского посольства, а молоденькая горничная, к которой он не всегда относится по-отечески, занимает его не меньше Кристофера Рена или кометы Галлея. Конечно, небольшие, тематически упорядоченные (с нарушениями хронологии) извлечения из десятитомного опуса не дают полного представления об этом своеобразном памятнике английской литературы XVII века, особенно в современном переводе — но красноречиво напоминают нам о древности и укорененности литературы в английской жизни.

Джон Леннон *Пишу как пишется* / Пер. с англ. Алексея Курбановского. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. — 176 с. — 3000 экз.

Трудно представить, но оставшемуся навеки сорокалетним Леннону в 2010 году должно было бы исполниться семьдесят. По этому — вполне вескому — поводу издательство деловой литературы "Манн, Иванов и Фербер" издало в виде двуязычного твердого тома сборник абсурдистских чернушных рассказиков, выпущенных Ленноном во время наибольшего бума битломании — в 1964 году. Тогда он неожиданно снискал горячее одобрение не только фанов, но и литературных критиков, увидевших в издевательской велеречивости и парадоксальных каламбурах рок-бунтаря воплощение настоящего английского духа и достойный ответ тем, кто жаловался на "оскудение выразительных средств английского языка". Успеху книги у современных московских читателей удивляешься в меньшей степени. Ведь для многих из них английский язык и английская, точнее говоря, британская культура и литература стали в свое время чем-то бóльшим, чем просто школьный предмет, именно с подачи Леннона сотоварищи. Автор этого обзора исключением здесь не является.

Информация к размышлению

Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Издательство "Амфора" в своей этнографическо-культурологической серии "АМФОРА TRAVEL" выпустило сразу две книги, посвященные Англии. Одна из них – *Англия: Портрет народа* – написана англичанином **Джереми Паксманом** в 1999 году, а по-русски вышла только сейчас (перевод **И. Егорова**. – СПб., 2010. – 380 с.). Другая – *Гуляния с Чеширским котом: Мемуар-эссе об английской душе* (СПб., 2010. – 415 с.) российского (а точнее – советского) разведчика **Михаила Любимова** – впервые появилась

еще в 2001-м и уже успела выдержать несколько переизданий. А поскольку Любимов (переквалифицировавшийся в писатели после завершения "шпионской" карьеры) достаточно часто обращается к книге Паксмана, то двойной взгляд на Англию – изнутри и снаружи – создает своего рода стереоскопическую картинку.

Англия (а если быть точнее – Британия) в сопоставлении с Россией обнаруживает как фундаментальные сходства, так и кардинальные различия. Сходство можно констатировать скорее во внешних признаках, в некоем совпадении исторических "траекторий": от небольшого национального государства – через завоевание и освоение новых территорий – к последующему распаду имперских структур. Впрочем, и здесь есть принципиальная "геополитическая" разница: Россия, страна материковая, росла, расширяя свои "земные" границы, в отличие от Англии, которая, занимая островное положение, стала всемирной морской империей.

Вообще ощущение своей страны именно как "острова" является одним из ключевых для британского национального самосознания. На своем острове все устроено традиционно, разумно и "правильно", а все нежелательные новации, беды и несчастья идут с материка (*...лучшее из того, что есть между Англией и Францией, – это море*, – читаем в эпиграфе к одной из глав книги Паксмана, которая называется *Смешные иностранцы*). Еще один достаточно неожиданный момент: при осознании ведущего (то

есть в некоем отношении "столичного") положения своей страны по отношению к остальному миру, "изнутри" настоящая Англия воспринимается ее жителями как "большая деревня": именно традиционный деревенский уклад жизни англичане считают для себя наиболее естественным, органичным и адекватным.

По двум этим книгам можно сделать вывод, что один из важнейших концептов британской культуры — это "игра": в данном понятии особым образом взаимодействуют разнонаправленные, по сути, векторы "традиции" и "свободы". Любая игра ведется по строгим, давно установленным и практически неизменным правилам (нарушение которых строго карается), однако в рамках этих правил допускается максимальная свобода; впрочем, за пределами данной конкретной "игры" правила теряют силу и могут (при переходе к другого рода "игре") меняться на противоположные. Не случайно такой классический английский вид спорта, как бокс, считается "игрой джентльменов": допустимо сломать нос сопернику в честной борьбе, но недопустим "удар ниже пояса", а предельная жесткость на ринге не исключает (и, напротив, даже подразумевает) предельную вежливость за его пределами.

То, что в терминах "игры" могут быть хорошо описаны разные стороны британского социального уклада, как раз отличает эту страну от нашей, где всё "всерьез", где бокс на ринге оборачивается мордобоем за его пределами, а соблюдение правил неизбежно превращает любого "игрока" в аутсайдера, "лузера": чтобы выиграть, в России принято правила нарушать (хотя это, впрочем, тоже можно рассматривать как своего рода правило). И в этом ракурсе особый интерес представляет книга Михаила Любимова. Будучи разведчиком, он работал (под легальным прикрытием советского посольства), конечно же, против Англии — что не помешало ему после завершения карьеры не только запросто возвращаться в эту страну, но и делиться ироничными и слегка циничными воспоминаниями и со своими друзьями, и со случайными знакомыми, получая в ответ что-нибудь типа: "Значит, вы собирали информацию против консерваторов? Так им и надо, никогда их не любил!"

Все очень по-английски: человек успешно выполнял свою функцию, дрался по определенным правилам на "геополитическом ринге", а теперь, когда игра закончена, можно с бывшим "врагом" светски об этом поговорить, потягивая хороший шотландский виски. Кроме того, шпионаж, похоже, не так сильно ассоциируется в

английском сознании (в отличие от российского) с понятиями "предательство" и "измена": это всего лишь еще одна игра — исключительно сложная, требующая развитого интеллекта, а потому уважаемая. При этом самыми успешными (хотя при этом и самыми рисковыми) "игроками" становятся высокопоставленные двойные и тройные агенты — как это было в случае знаменитой "кембриджской пятерки" во главе с Кимом Филби (Любимов вспоминает в этой связи и таких известных англичан, как Уолтэр Рэли и Лоуренс Аравийский).

Еще один специфически английский парадокс: сочетание консервативности (как максимально строгого следования правилам) с регулярной (то есть вполне одобряемой и порой даже поощряемой) эксцентричностью (как формой проявления независимости и индивидуальной свободы). То есть в ситуации, когда обязателен темный костюм, будет приветствоваться треугольник яркого платка, якобы небрежно торчащий из нагрудного пиджачного кармашка. Хотя, конечно, нарушение правил, будучи предписываемым, тоже неизбежно превращается в жесткое правило — когда в свое свободное время, будучи формально не связанным какими-либо социальными нормами, англичанин тем не менее обязательно копается на своем участке в старом свитере и потертых штанах, после чего идет в местный паб, где выпивает с друзьями, ни в коем случае не отклоняясь от сценария поочередного угощения "по кругу".

Одним из ярких персонифицированных британских символов является Уинстон Черчилль: консерватор и успешный "глобальный игрок" с легкой (и осознанно-ироничной) эксцентричностью облика, стиля поведения и образа мышления. Издательство "Текст" выпустило книгу **Хельге Хессе** *Принцип Черчилля: Стань личностью – добьешься успеха* (пер. с нем. **Е. Зись**. — М., 2010. — 221 с.). Хотя формальным каркасом является здесь биографический очерк, тем не менее написана книга с ярко выраженным прагматическим посылом (о чем недвусмысленно свидетельствует подзаголовок). Даже странно, что выпущена она во Франкфурте, поскольку ближайшими ее "соседями" можно считать выпускаемые в сериях "деловой" литературы американские пособия типа "Как сделать карьеру". Эффектные афоризмы самого Черчилля (*Оптимист в любой ситуации видит шанс, пессимист в любом шансе – опасность*) чередуются здесь с банальными авторскими врезками (*К борьбе Черчилль относился исключительно положительно*). Что ж, даже Черчиллю не удалось предугадать, как его слово отзовется.

Английская литература на страницах "ИЛ" 1995—2010

1995

Вудхаус Пэлем Гренвилл — *Рассказы.* Переводы И. Бернштейн, В. Ряполовой, Н. Трауберг, В. Сербина. Вступление В. Сербина [11]

Китс Джон — *Кузнечик и сверчок. К Одиночеству.* Сонеты. К 200-летию со дня рождения. Переводы. Вступление А. Зверева [11]

Грей Аласдер — *Бедные-несчастные.* Роман. Перевод Л. Мотылева [12]

Оден Уистен Хью — *Кавафис.* Перевод Бориса Дубина [12]

Свифт Джонатан — *Когда я состарюсь...* К 250-летию со дня смерти. Перевод и вступление А. Ливерганта [12]

1996

Стоппард Том — *Аркадия.* Пьеса в двух действиях. Перевод Ольги Варшавер [2]

Бартон Энн — *На прогулку еще раз.* Перевод Г. Шульги [2]

Голдинг Уильям — *Пирамида.* Роман. Перевод Е. Суриц [3]

Стивенсон Энн — *Стихи.* Перевод и вступление А. Кудрявицкого [3]

Ридли Филип — *Башни веры.* Рассказ. Перевод Л. Ю. Мотылева [6]

Устинов Питер — *Старик и мистер Смит.* Притча. Перевод Григория Чхартишвили [7]

Тревор Уильям — *Еще два рыцаря.* Рассказ. Перевод и вступление А. Ливерганта [8]

Грей Аласдер — *Рассказы.* Перевод Л. Ю. Мотылева [9]

1997

Льюис Клайв Стейплз — *Пока мы лиц не обрели.* Пересказанный миф. Перевод И. Кормильцева [1]

Акройд Питер — *Процесс Элизабет Кри.* Роман об убийствах в Лаймхаусе. Перевод Л. Ю. Мотылева [5]

Блейк Уильям — *Муха. Тигр. Лондон. Лилия.* Переводы. Вступление Алексея Зверева [5]

Свифт Грэм — *Химия. Антилопа Хоффмейера.* Рассказы. Перевод В. Бабкова [12]

1998

Деркан Пол — *Стихи.* Перевод и вступление Г. Агафонова [1]

Свифт Грэм — *Последние распоряжения.* Роман. Перевод Владимира Бабкова [1]

Хьюитт Карен — *О Грэме Свифте: современный английский романист. Семьи, наваждения и "Последние распоряжения".* Перевод Владимира Бабкова [1]

Дженкинс Найджел — *Дракон с двумя языками: литература Уэльса.* Перевод и вступление Ольги Кельберт [3]

Конрад Джозеф — *Размышления, навеянные гибелью "Титаника".* Перевод А. Ливерганта [7]

Барнс Джулиан — *Три рассказа из книги "Через Ла-Манш".* Перевод Инны Стам [11]

Макьюэн Иэн — *Невинный, или Особые отношения.* Роман. Перевод В. Бабкова [12]

1999

Во Ивлин — *Коронация 1930 года.* Перевод А. Михайлина [2]

Лоуренс Т. Э. — *Перемены на Востоке.* Перевод А. Нестерова [3]

Грин Грэм — *Еретик от марксизма.* Перевод В. Горностаевой [6]

Эмис Мартин — *Джон Леннон: от "битла" до "домохозяйки".* Перевод В. Горностаевой [6]

Фишер Тибор — *Коллекционная вещь.* Роман. Перевод А. Ливерганта [8]

Барнс Джулиан — *Краткая история парикмахерского дела.* Рассказ. Перевод Л. Мотылева [10]

Томас Дилан — *Рассказы.* Перевод и вступление Е. Суриц [12]

2000

Тревор Уильям — *Рассказы.* Перевод Инны Стам [2]

Коукер Кристофер — *Сумерки Запада.* Главы из книги. Перевод А. Арзуманова [5]

Хьюз Тед — *Стихи из книги "Письма ко дню рождения".* Перевод и вступление Глеба Шульпякова [6]

Бейнбридж Берил — *Мастер Джорджи.* Роман. Перевод Е. Суриц [7]

Конрад Джозеф — *Зверюга.* Перевод И. Бернштейн [7]

Конрад Джозеф — *Караин: воспоминание.* Перевод Л. Мотылева [7]

Конрад Джозеф — *Письма.* Перевод М. Красновского [7]

Конрад Джозеф — *Традиционное предисловие.* Перевод А. Ливерганта [7]

Рассел Бертран — *Джозеф Конрад.* Перевод М. Красновского [7]

Хьюитт Карен — *Джозеф Конрад: проблема двойственности.* Перевод Д. Иванова [7]

Даррелл Джеральд — *Мой брат Ларри.* Перевод М. Мушинской [11]

Даррелл Лоренс — *Горькие лимоны.* Фрагменты книги. Перевод Вадима Михайлина [11]

Даррелл Лоренс — *Письма к Генри Миллеру.* Перевод Вадима Михайлина [11]

Даррелл Лоренс — *Рассказы из сборника "Sauve qui peut".* Перевод А. Ливерганта [11]

Даррелл Лоренс — *Стихи.* Перевод К. Медведева [11]

Два интервью Лоренса Даррелла. Перевод Н. Кулиш и М. Мушинской [11]

Рассел Бертран — *Автобиография.* Перевод Т. Казавчинской, Н. Цыркун [12]

Стоппард Том — *Травести, или Комедия с переодеваниями в двух действиях.* Пьеса. Мел Гассоу. *Из книги "Беседы со Стоппардом".* Перевод И. Кормильцева [12]

2001

Кёстлер Артур — *Анатомия снобизма.* Перевод М. Наумова [4]

Стивенсон Роберт Льюис — *Стихи.* Перевод и вступление Евгении Славороссовой [1]

Байетт А. С. — *Китайский омар.* Рассказ. Перевод Ольги Варшавер [2]

Робертс Джон — *"Говорите прямо в канделябр". Культурная политика Британии и России в 1973–2000 годах.* Отрывки из книги. Перевод Л. Ю. Столяровой [2]

Адэр Гилберт — *Закрытая книга.* Роман. Перевод Инны Стам [6]

Шелли Перси Биши — *Стихи любви и восторга.* Перевод и вступление Виктора Лунина [6]

Акройд Питер — *Повесть о Платоне.* Роман. Перевод Л. Мотылева [9]

Вулф Вирджиния — *Волны.* Роман. Перевод Е. Суриц [10]

Милн Алан Александр — *Плюшевый медвежонок.* Баллада. Перевод и вступление Евгении Славороссовой [11]

Уинтерсон Дженет — *Рассказы.* Перевод Ольги Варшавер [11]

Лодж Дэвид — *Разные жизни Грэма Грина.* Перевод О. Макаровой [12]

2002

Гаскойн Джордж — *Колыбельная. Приятная повесть о Фердинандо Джероними и Леоноре де Валаско.* Перевод и вступление Г. Кружкова [1]

Остин Джейн — *Леди Сьюзен.* Роман в письмах. Перевод А. Ливерганта. Вступление И. Васильевой [2]

Пик Мервин — *Титус Гроанский.* Главы из романа. Перевод С. Ильина. Вступление Э. Бёрджесса [3]

Барнс Джулиан — *Как все было (обсуждение).* Роман. Перевод И. Бернштейн [7]

Лимберг Джоанн — *Стихи из книги "Femenismo".* Перевод и вступление Анатолия Кудрявицкого [7]

Кёстлер Артур — *Автобиография.* Фрагменты книги. Перевод и вступление Л. Сумм [7, 8]

Хьюз Ричард — *В опасности.* Роман. Перевод В. Голышева [8]

Акройд Питер — *Биография Лондона.* Фрагменты книги. Перевод и вступление Л. Мотылева [10]

Макс Бирбом и его современники. Эссе. Переводы А. Ливерганта, А. Власовой [11]

Фаулз Джон — *Кротовые норы.* Фрагменты книги. Переводы Ирины Бессмертной, Ирины Тогоевой [1]

Брэдбери Малькольм — *Сокращения.* Роман. Перевод А. Ливерганта [12]

Брэдбери Малькольм — *Три эссе: Тут вам звонили, а вы... "Язык для своих": карманный справочник структуралиста.* Перевод А. Нестерова [12]

Брэдбери Малькольм — *Вирджиния Вулф.* Переводы Е. Зиминой [12]

2003

Лир Эдвард — *The was a Young Lady of Russia.* Переводы. Составление и вступительная статья Бориса Архипцева [3]

Фэйнлайт Рут — *Цвет сахарной бумаги.* Поэма. Перевод М. Бородицкой [4]

Кэй Джеки — *Стихи.* Перевод и вступление Анатолия Кудрявицкого [6]

Моушен Эндрю — *Стихи.* Перевод и вступление М. Калинина [7]

Эмис Кингсли — *Мемуары.* Фрагменты книги. Перевод и вступление А. Ливерганта [10]

Берньер Луи де — *Клад Мамаситы.* Рассказ. Перевод Ильи Кормильцева [12]

Грэм Грин — *Мой Собственный Мир.* Фрагменты книги. Перевод Е. Зиминой [12]

2004

Бёрджесс Энтони — *Железо, ржавое железо.* Роман. Перевод А. Пинского и Е. Домбаян [1—3]

Пик Мервин — *Стихи.* Перевод и вступление Максима Калинина [1]

Хаксли Олдос — *Искренность в искусстве и другие эссе.* Переводы А. Власовой и С. Нещеретова [1]

Вулф Вирджиния — *Между актов.* Роман. Перевод и вступление Е. Суриц [6]

Тревор Уильям — *Рассказы о любви.* Перевод А. Ливерганта [6]

Свифт Грэм — *Свет дня.* Роман. Перевод Л. Мотылева [8]

Бейнбридж Берил — *Согласно Куини.* Роман. Перевод Е. Суриц. Вступление А. Ливерганта [12]

2005

Клэр Джон — *Стихи.* Перевод и вступительная статья Григория Кружкова [4]

Чатвин Брюс — *Утц.* Роман. Перевод и вступление Дм. Веденяпина [4]

Фейбер Мишель — *Рассказы.* Перевод Ильи Кормильцева [6]

Россетти Кристина — *"Я отдала бы слово".* Стихи. Перевод и вступление Маши Лукашкиной [9]

Спарк Мюриел — *Пир.* Роман. Перевод Е. Суриц [12]

2006

Байетт Антония С. — *Два эссе.* Перевод Ольги Новицкой, О. Исаевой [1]

Браунинг Роберт — *Пестрый дудочник.* Баллада. Перевод Марины Бородицкой [1]

Грин Грэм — *Беатрикс Поттер: критический очерк.* Перевод А. Борисенко [1]

Карпентьер Хамфри — *"Джейн Остин детской": Беатрикс Поттер как мастер стиля.* Перевод А. Борисенко и В. Сонькина [1]

Поттер Беатрикс — *Четыре сказки.* Перевод И. Бернштейн, Н. Демуровой [1]

Пристли Дж. Б. — *Заметки о Шалтае-Болтае.* Перевод Н. Демуровой [1]

Тейлор Джуди — *Жизнь Беатрикс Поттер.* Перевод В. Кулагиной-Ярцевой [1]

Шеффер Питер — *Соглядатай (Ионадав).* Трагедия в двух частях. Перевод и вступление Сергея Таска [4]

"Тебе больше никогда не придется работать!" Беседа с британским писателем Аланом Силлитоу и его женой Рут Фэйнлайт. Запись беседы и перевод Е. Тиновицкой [5]

Теннисон Альфред — *"Я слышу голос, говорящий в ветре!"* Стихи. Перевод и вступительная статья Григория Кружкова [5]

Фаулз Джон — *Дневники.* Фрагменты книги. Перевод и вступление В. Бернацкой [4]

Хаусман Альфред Эдуард — *Четыре стихотворения.* Переводы. Вступление Григория Кружкова [6]

Исигуро Кадзуо — *Не отпускай меня.* Роман. Перевод Л. Мотылева [7]

Фрай Стивен — *Неполная, но окончательная история классической музыки.* Фрагменты книги. Перевод С. Ильина [7]

Барнс Джулиан — *Рассказы.* Перевод И. Стам [12]

Хопкинс Джерард Мэнли — *"Проснусь – и вижу ту же темноту..."* Стихи. Перевод и вступительная статья Григория Кружкова [12]

2007

Черчилл Кэрил — *Там вдали.* Пьеса. Перевод и вступление Анны Гениной [1]

Барнс Джулиан — *Педант на кухне.* Перевод Веры Пророковой [2]

Геррик Роберт — *Стихи.* Перевод и вступление Марины Бородицкой [2]

"Но я не изменял твоей душе, Кинара". Поэты английского декаданса. Перевод и вступительная статья Григория Кружкова [4]

Спарк Мюриэл — *Curriculum vitae.* Автобиографические заметки. Перевод Светланы Силаковой [4]

Хэйр Дэвид — *Поцелуй Иуды.* Пьеса. Перевод Сергея Таска [5]

Трэверс Памела — *Главное – соединять.* Перевод Е. Скрылевой [6]

Акройд Питер — *Лондонские сочинители.* Роман. Перевод Инны Стам. Вступление Питера Рэя [7]

Национальные предрассудки. Перевод Т. Казавчинской, А. Ливерганта. Вступление А. Ливерганта [8]

Даррелл Лоренс — *Сицилийская карусель.* Фрагмент книги. Перевод Ю. Михайлина [12]

Кэрролл Льюис — *Дневник путешествия в Россию в 1867.* Фрагменты книги. Перевод и вступление Н. Демуровой [12]

Смоллет Т. Дж. — *Путешествие по Франции и Италии.* Перевод и вступление А. Ливерганта [12]

2008

Андерсон Роберт — *Шерлок Холмс: детектив с точки зрения Скотленд-Ярда.* Перевод Степана Поберовского [1]

Дойл Артур Конан — *Автопародии.* Перевод Даниила Дубшина и Светланы Семиной. Публикация Даниила Дубшина [1]

Дойл Артур Конан — *Долина страха.* Повесть. Перевод И. Бернштейн. Вступление Антона Лапудева [1]

Дойл Артур Конан — *Подлинная история о привидениях Горсторпской усадьбы.* Рассказ. Перевод Ольги Новицкой. Публикация и вступление Антона Лапудева [1]

Дойл Артур Конан — *Стихи.* Перевод Марины Бородицкой. Публикация и комментарии Даниила Дубшина [1]

Томас Роналд Р. — *"Негативные" образы в рассказе "Скандал в Богемии".* Перевод Александры Борисенко

Фримен Ричард Остин — *Послание со дна моря.* Рассказ. Перевод Игоря Мокина [1]

Стихи английской поэтов-кавалеров и "Краткие жизнеописания" Джона Обри. Перевод и вступление Марины Бородицкой [3]

Во Ивлин — *Письма Джорджу Оруэллу и Грэму Грину.* Из записных книжек, 1960—1964 годы. Перевод А. Ливерганта [5]

Макьюэн Иэн — *Чизил-Бич.* Роман. Перевод В. Голышева [7]

Оден Уистен Хью — *"Антоний и Клеопатра".* Перевод Марка Дадяна [8]

Спарк Мюриэл — *Не беспокоить.* Роман. Перевод и вступление Е. Суриц [9]

Киплинг Редьярд — *Письма из путешествий.* Фрагменты книги. Перевод и послесловие Светланы Силаковой [11]

2009

Дагдейл Саша — *Подобия.* Монолог. Перевод М. Фаликман [1]

Кэрролл Льюис — *Стишки на случай и не только.* Перевод и вступление Марины Бородицкой [1]

Рескин Джон — *Современные художники.* Фрагменты книги. Перевод и вступление Игоря Мокина [1]

Уинтерсон Дженет — *Рассказы.* Перевод и вступление Н. Поваляевой [2]

Грин Грэм — *Револьвер в буфете.* Перевод А. Ливерганта. *Торжествующее невежество.* Перевод Т. Казавчинской [3]

Грин Грэм — *Часть жизни. Пути спасения.* Фрагменты автобиографий. Перевод А. Бураковской [3]

Элтон Бен — *Слепая вера.* Роман. Перевод В. Бабкова [4]

Торп Адам — *Правила перспективы.* Роман. Перевод Н. Гайдаш, С. Соколова [5—6]

Лир Эдвард — *Из писем и путевых дневников.* Перевод и вступление Г. Кружкова [6]

Най Роберт — *Миссис Шекспир. Собрание сочинений.* Перевод Е. Суриц [6]

Лодж Дэвид — *Горькая правда.* Повесть. Перевод Т. Казавчинской [7]

Беннетт Алан — *Непростой читатель.* Роман. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой [12]

Уинтерсон Дженет — *Рождественские рассказы.* Перевод Н. Поваляевой [12]

2010

Богард Дирк — *Особая дружба.* Фрагменты книги. Перевод Анны Парра [2]

Барнс Джулиан — *Ничего страшного.* Фрагменты автобиографии. Перевод Инны Стам [3]

Макьюэн Иэн — *На смерть Джона Апдайка.* Перевод Ольги Варшавер [3]

Каван Анна — *Лед.* Роман. Перевод и вступление Д. Симановского [6]

Киплинг Редьярд — *Soldier, soldier.* Переводы. Вступление В. Скороденко [8]

Честертон Г. К. — *Критик.* Фрагмент книги "Джордж Бернард Шоу". Перевод Т. Казавчинской [8]

Дагдейл Саша — *Уильям Блейк в России.* Опыт одного семинара. Перевод Лидии Хесед [12]

Уинтерсон Дженет — *Пес на 24 часа.* Рассказ. Перевод А. Орловой [12]

Алексей Петрович Цветков
[р. 1947]. Поэт, прозаик, переводчик. Редактор газеты *Русская жизнь* в Сан-Франциско [1976–1977], редактор и ведущий программ *Седьмой континент* и *Атлантический дневник* на радио *Свобода* в Мюнхене и Праге. Лауреат премии Андрея Белого [2007].

В американском издательстве *Ардис* вышли три книги его стихов: *Сборник пьес для жизни соло* [1978], *Состояние сна* [1981], *Эдем* [1985]. Книги *Стихотворения* [1996], *Дивно молвить* [2001], *Просто голос* [2002], *Шекспир отдыхает* [2006], *Имена любви* [2007], *Ровный ветер* [2008], *Детектор смысла* [2010] изданы в России. Публиковался в *ИЛ* [1993, № 12; 1996, № 1; 2002, № 5; 2004, № 4].

Алексей Вадимович Бартошевич
[р. 1939]. Театровед, историк театра, театральный критик, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель науки. Лауреат премии К. С. Станиславского [театрального сезона 1995–1996], премии Москвы [2004] и др.

Автор книг *Шекспир на английской сцене конца XIX – середины XX вв.* [М., 1985], *Поэтика раннего Шекспира* [М., 1987], *Шекспир. Англия XX век* [М., 1994], *Мирозданью современный. Шекспир в театре XX века* [М., 2004].

Галина Смоленская
Журналист, театровед. Ведущая рубрики *Театральный разъезд* в журнале "Культура и время".

Автор публикаций в журналах "Культура и время", "Сцена", "Театр". В *ИЛ* публикуется впервые.

Анна Герцевна Генина
Переводчик с английского, культуролог.

В *ИЛ* в ее переводе напечатана пьеса *Там вдали* К. Черчилл [2007, № 1], новелла *Рябиновая ночь* К. Киган [2007, № 6] и рассказы Д. Макгахерна [2010, № 5].

Питер Акройд
Peter Ackroyd
[р. 1949]. Английский прозаик и поэт, литературный критик, лауреат Уитбредской премии [1984, 1985] и др., кавалер ордена Британской империи [2003].

Автор сборников стихов *Лондонский скряга* [*London Lickpenny*, 1973], *Сельская жизнь* [*Country Life*, 1978], *Развлечения Перли* [*The Diversions of Purley*, 1987], романов *Большой лондонский пожар* [*The Great Fire of London*, 1982], *Чаттертон* [*Chatterton*, 1987; рус. перев. 2000], *Английская музыка* [*English Music*, 1992] и др., биографических книг о Т. С. Элиоте [1984], Ч. Диккенсе [1991]. В *ИЛ* были напечатаны переводы его романов *Завещание Оскара Уайльда* [1993, № 11], *Дом доктора Ди* [1995, № 10], *Процесс Элизабет Кри* [1997, № 5], *Повесть о Платоне* [2001, № 9], *Лондонские сочинители* [2007, № 7].
Статья публикуется по изданию *Уильям Блейк* [*William Blake*. Edited by Robin Hamlyn and Mihael Phillips. Tate Publishing, 2000].

Филип Пуллман
Philip Pullman
[р. 1946]. Английский прозаик и драматург, член Королевского литературного общества, председатель Блейковского общества. Кавалер ордена Британской империи. Лауреат премий имени Астрид Линдгрен [2005], Карнеги [2007] и др.

Автор трилогии *Тёмные начала* [*His Dark Materials*, 1995–2000], тетралогии *Удивительные приключения Салли Локхарт* [*Sally Lockhart*, 1985–1994] и др., многих повестей, рассказов, сказок и пьес.
Эссе *My Debt to William Blake* написано по заказу Британского совета специально для *ИЛ*.

Саша Дагдейл
Sasha Dugdale
Английский поэт, драматург, переводчик. Лауреат премии Грегори [2003] и премии фонда Стивена Спендера [за перевод стихов Елены Шварц]. С 1995 по 2000 гг. жила в России, работала в Британском совете.

Автор поэтических сборников *Блокнот* [*Notebook*, 2003] и *<Это>* [*<The>*, 2007]. Переводила пьесы *Пластилин* Василия Сигарева, *Терроризм* братьев Пресняковых и др., стихи Бориса Рыжего, Татьяны Щербины и др.
Публикуемая пьеса предоставлена редакции журнала в рукописи.

Елена Владимировна Халтрин-Халтурина
Литературовед, кандидат филологических наук, доктор философии [PhD in English, USA], старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, ученый секретарь редколлегии серии *Литературные памятники*.

Автор многих работ по истории англоязычных литератур и сравнительному литературоведению, в том числе книги *Поэтика "озарений" в литературе английского романтизма: Романтические суждения о воображении и художественная практика* [М.: Наука, 2009].

Михаил Давидович Яснов
[р.1946]. Поэт, переводчик классической и современной французской поэзии. Обладатель многих литературных премий, в том числе премии имени Ваксмахера [2002] и *Мастер* [2008], Почетного диплома Международного совета по детской и юношеской книге [2002].

Автор шести книг лирики, сборников стихов для детей, а также статей о русской и французской поэзии. Составитель и комментатор сборников произведений Сирано де Бержерака, П. Верлена, Г. Аполлинера, П. Валери, Ж. Превера, Ж. Кокто, Э. Ионеско, А. Рембо, книги *Про́клятые поэты: Тристан Корбьер, Шарль Кро, Жермен Нуво, Жюль Лафорг* и др. В *ИЛ* в его переводах печатались стихи Ж. Шарпантро [1994, № 12], Г. Аполлинера [1998, № 4], Ж. Рубо [1999, № 8], М. Уэльбека [2003, № 3], С. П. Тибодо [2008, № 11], Э. Дорион [2008, № 11], Ж.-Э. Риопеля [2008, № 11], Ю. Киискинена [2009, № 9], Й. Инкалы [2009, № 9], стихи французских сюрреалистов [2002, № 5], поэма В. Равалека *Апельсин на автостоянке* [2006, № 9], *Поэтические тексты* П. Пикассо [2007, № 10] и др.

Михаил Яковлевич Визель
[р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, издатель, переводчик с итальянского.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города on-line* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru]. В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко. В *ИЛ* напечатан его перевод рассказа П. В. Тонделли *Тоже либертины* [2008, № 10].

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Переводчики

Мария Вячеславовна Фаликман
Поэт, переводчик с английского, немецкого, польского и испанского языков. Кандидат психологических наук, доцент *МГУ*. Лауреат конкурса Британского Совета по переводу британской поэзии [2005].

Автор книги стихов *Mezzo Forte* [2001]. В *ИЛ* публиковались ее переводы стихотворения А. Э. Хаусмана [2006, № 6], новеллы Д. Болджера *Улицы Марты* [2007, № 6], рассказа К. Карсон *Выгодная сделка* [2007, № 6] и пьесы С. Дагдейл *Подобия* [2009, № 1].

Валентина Сергеевна Сергеева
Переводчик с английского, французского и польского языков, кандидат филологических наук.

Переводила английские и шотландские народные баллады, произведения А. Теннисона, В. Скотта и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Алексей Николаевич Круглов
[р. 1959]. Поэт, переводчик с английского и французского языков. Кандидат физико-математических наук. Член Союза писателей России. Лауреат премии *Зеркало* [2007].

В его переводе с английского издавались романы П. Г. Вудхауса, У. Голдинга, Ф. Дика, У. Берроуза, Д. Керуака, П. Ди Филиппо, Х. Кобена, М. Флинна, Ч. Шеффилда, М. Резника и др., стихи У. Блейка, А. Тейта, Ф. Б. Янга, Р. Брука, Р. Грейвза, Д. Герберта, С. В. Бене, У. Торнбери и др. Переводил с французского художественные фильмы для телеканала *Культура*.

Светлана Борисовна Лихачева
Преподаватель, переводчик с английского, французского, испанского языков. Лауреат премии *Зеркало* за лучший перевод фантастики [2003], конкурса Британского совета по переводу британской поэзии [2005].

В ее переводе изданы письма Дж. Р. Р. Толкина [2004], *Песнь об альбигойском крестовом походе* Г. Тудельского [со старокситанского, 2010], а также произведения Д. Дефо, Дж. Г. Байрона, Т. Харди, У. Морриса, М. Стюарт и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликовано стихотворение А. Э. Хаусмана [2006, № 6].

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат премии *ИЛлюминатор* [2002], Государственной премии по литературе [2003], премии *Мастер* [2010].

Автор шести сборников стихов [последний — *Новые стихи*, 2008]. В его переводах вышли книги Льюиса Кэрролла *Охота на Снарка* [1991], У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], Джона Китса *Гиперион и другие стихотворения* [2004], Джона Донна *Алхимия любви* [2005], Уоллеса Стивенса *Сова в саркофаге* [2008], Эмили Дикинсон *Стихи из комода* [2010], сборники *Книга NONсенса* [2000], *Единорог: Английские и ирландские стихи и сказки* [2003], *Поэты английского Возрождения* [2006], *Англасахаб* [2003] и др. Статьи

и эссе собраны в сборниках *Ностальгия обелисков* [2001], *Лекарство от Фортуны* [2002], *Пироскаф. Из английской поэзии XIX века* [2008] и *У.Б. Йейтс: Исследования и переводы* [2008]. В 2009 г. вышли "Избранные переводы" в 2-х тт. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Татьяна Стамова
Поэт, переводчик с английского и итальянского языков.

Автор двух стихотворных сборников *Профиль в небе* и *Ягоды снов* [1996], стихов и прозы для детей. Переводила Э. Дикинсон, Дж. Чосера, Дж. М. Хопкинса, Дж. Мильтона, Дж. Леопарди и др.

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта и Д. Китса, дневники С. Пипса и Г. Джеймса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Елена Суриц [Елена Александровна Богатырева]
Переводчик с английского, немецкого, французского и скандинавских языков. Лауреат премии *Инолит* [1994, 2009], премии *Единорог и Лев* [2006], премии *Мастер* [2007].

В ее переводе издавались романы Дж. Остин, У. Голдинга, Дж. Стейнбека, С. Беллоу, Д. Томаса, Р. М. Рильке, К. Гамсуна, пьесы А. Стринберга, Э. Ионеско, сценарии И. Бергмана и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались романы *Я в замке король* С. Хилл [1978, № 1—2], *Миссис Дэллоуэй* [1984, № 4], *Орландо. Биография* [1994, № 11], *Волны* [2001, № 10] и *Между актами* [2004, № 6] В. Вулф, *Мастер Джорджи* [2001, № 7] и *Согласно Куини* [2004, № 12] Б. Бейнбридж, *Пир* М. Спарк [2005, № 12], *Море* Дж. Бэнвилла [2006, № 10], *Не беспокоить* М. Спарк [2008, № 9], *Миссис Шекспир* Р. Ная [2009, № 6] и др.

Олег Валерьевич Мишутин
[р. 1975]. Переводчик с английского. Выпускник Литературного института имени А. М. Горького.

Его переводы опубликованы в антологии *В двух измерениях. Современная британская поэзия в русских переводах* [М.: Новое литературное обозрение, 2009]. В *ИЛ* публикуется впервые.

[4] 2011

НЕМЕЦКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ: СТИХИ, ПРОЗА И ЭССЕ АЛЬФРЕДА ЛИХТЕНШТЕЙНА, АУГУСТА ШТРАММА, ПАУЛЯ БОЛЬДТА, ГОТФРИДА БЕННА, ЭЛЬЗЫ ЛАСКЕР-ШЮЛЕР / РОМАН "БЕБЮКИН, ИЛИ ДИЛЕТАНТЫ ЧУДА" КАРЛА ЭЙНШТЕЙНА / РАССКАЗЫ АЛЬБЕРТА ЭРЕНШТЕЙНА, ВАЛЬТЕРА РАЙНЕРА, АЛЬФРЕДА ДЁБЛИНА

В оформлении обложки использованы фрагменты картин английского поэта и художника Уильяма Блейка [1757–1827] *Исаак Ньютон* [1795], *Симония Папы* [1827], *Сострадание* [1794], *Давид, извлекаемый из вод многих* [ок. 1805].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.02.2011
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 29.
Тираж 7100 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

ISSN 0130-6545 11003
9 770130 654770 >

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА". 2011, №3, 1-288

ИНДЕКС 70394